БОРИС СЕМЕНОВ

БОРИС СЕМЕНОВ

Воспоминания



ВРЕМЯ МОИХ ДРУЗЕЙ

БОРИС СЕМЕНОВ

ВРЕМЯ МОИХ ДРУЗЕЙ

Воспоминания



ЛЕНИЗДАТ 1982

84.3(2)7
С 30

Рисунки автора

С $\frac{4702010200-106}{М171(03)-82}$ 170-82

КНИГА О ДРУЗЬЯХ ИСТИННОГО ДРУГА

Любить искусство — это не профессия, а врожденная черта характера, и этой редкостной чертой счастливо обладает автор этой оригинальной и по форме, и по содержанию книги Борис Федорович Семенов.

По специальности он художник-график, иллюстратор книг, но это только небольшая часть его деятельности. Я знаю его давно. Нашей дружбе с первого взгляда минуло сорок лет. И чего-чего только мы не затевали за это время. И, как это ни странно, многие из наших затей совместными усилиями с нашими друзьями нам удавалось превратить в живое дело.

Мой друг обладает удивительной способностью видеть в каждом человеке изюминку и превращать ее, иногда вопреки самому обладателю этой изюминки, в живой цветок творчества, в радость.

Мой друг там, где среди его друзей возникает нечто интересное, и он незаметно в это интересное вкладывает запас дрожжей своей заинтересованности, своего отменного вкуса и настойчивой трудоспособности.

Не без его энтузиазма еще во время войны возник журнал «Костер». Не без его влюбленности «Ленинградский альманах» превратился в журнал «Нева», не без его практических советов стала выходить «Аврора».

Я бы мог при желании продлить список его подключений к начинаниям своих друзей и его собственных затей, от авторства которых он поразительно незаметно

умеет уходить в сторону. Да и эту книгу, написанную с величайшим трудом и любовью к каждой запятой, он, если его спросить, наверняка поставит в заслугу настойчивости своих друзей, заставивших его, Бориса Федоровича Семенова, взяться за перо. Он писал эту книгу долго и увлеченно.

Он не может жить без увлеченности.

Эта книга о друзьях истинного друга. И портрет этого истинного и прекрасного друга возникает из мозаики характеров его друзей, как чудо.

И мне остается только позавидовать вашей возможности войти через эту книгу в круг влюбленных в мастерство своего дела людей.

Михаил Дудин

В эту слишком дождливую и поэтому особенно памятную осень 1918 года мне исполнилось восемь лет, я часто хворал и, пожалуй, мог бы сейчас по памяти нарисовать сам себя — тонконогого, давно не стриженного, с косицей на затылке, в заштопанных на коленках чулках. Помню, что был я туго перепоясан маминой косынкой, как ополченец русско-турецкой войны, а мое больное горло стягивал бинт с вылезающей оттуда ватой.

Однако запомнилась мне эта пора особенно потому, что горше всякой болезни было тоскливое чувство одиночества.

Ожидая возвращения матери с работы, я часами просиживал, поджав ногу, на широком подоконнике и сквозь ползущие по стеклу струйки дождя разглядывал видимый мне кусок нашего двора: полукруглую пещеру подворотни, откуда могла появиться мама, поверхность асфальта, покрытого паутиной трещин, да шныряющих взад-вперед бездомных кошек.

Мы с мамой хозяйничали вдвоем в большой пустой квартире. Нас называли — семья фронтовика и квартиру дали по распределению домкомбеда, или, точнее, комитета домовой бедноты.

Отец уже четвертый год колесил по далеким фронтам на своем трясучем броневике, мама работала в типографии, и мне приходилось одному коротать время, заперев хорошенько дверь на тяжелый крюк, засов и цепочку.

Никто в нашем большом пятиэтажном доме не запирал дверь на ключ. В этом не было никакого смысла. Стоило вспомнить вечно небритого и как бы глухонемого мужика, который сидел у ворот Клинского рынка, разложив на вытертом одеяле весь свой товар. У него были в богатейшем выборе не только замки всех размеров, но и тяжелые связки ржавых ключей, замысловатых крючков и отмычек.

Нет, толстый дверной крюк был всего надежней.

Можно себе представить, каких только страхов не мерещилось моей матери там, в типографии, в долгие часы вечерней смены. Все кругом только и говорили что о зверских грабежах, о налетчиках да еще о «живых покойниках» с Митрофаньевского кладбища... Трудно было отделаться от предчувствий и опасений — а вдруг лопнет ламповое стекло? Или, не дай бог, вспыхнет керосин? А спички? Удалось ли убрать их подальше? Да, наконец, достаточно было припомнить жуткую нашу лестницу, лишенную окон и вообще всяческого освещения. На ней было темно даже днем, как в заброшенной шахте.

Тем, кто поднимался по ступеням в этой кромешной тьме, приходилось все время покашливать или насвистывать, чтобы не налететь на встречного, а если говорить честно, то больше затем, чтобы подбодрить себя. Бывало, в тишину квартиры врывался торопливый град ударов.

— Кто там? — спрашивал я издалека, опасаясь подойти к содрогающейся двери.

— Это я, Вадимих, из чехкви святого Михония...

Ну кто бы мог у нас не узнать быструю речь круглолицего Владимира, человека неопределенного возраста? Он разговаривал торжественным тоном, и дети нашего двора любили задавать ему глупейшие вопросы, чтобы послушать, как он интересно картавит.

Владимир ходил в любую погоду с обнаженной головой, даже когда снег присыпал мелкими звездочками

его черные волосы и залеплял стекла очков. Дом за домом он обходил улицы мелкими шажками в сандалиях на босу ногу. Я так же, как и все, считал Владимира подвижником, разглядывал его натруженные ноги: хотелось увидеть между переплетениями ремешков следы ран от гвоздей палача. Ведь даже бог-отец изображен на потолке под куполом храма в таких скороходовских сандалиях с ремешками.

— Пехедайте взхосвым,— напевал за дверью Владимир,— завтха большая свужба, всех пхигвашаем...— и направлял стопы к другой квартире.

Стучались к нам и другие нежданные посетители. Робко стучали, тихонечко. Жалостную просьбу о куске хлеба прерывал плач ребенка.

— Пода-а-айте, ради христа...

Страшно было подумать об изголодавшихся, почерневших от невзгод скитальцах. Откуда взялись они? Из каких краев приходят и когда вернутся к своим разоренным гнездам?.. Да и чем могла помочь этим беднягам моя мать или другая хозяйка по соседству? Откуда было взять хлеба и денег, ведь в карманах всех жителей нашего дома разгуливал ветер...

Иногда в дверь барабанили сразу две или три руки, при этом на лестнице стоял бестолковый шум и бесполезно было задавать вопрос — кто там?.. Сквозь шарканье ног и шуршание юбок слышалась гортанная речь и хныканье младенца...

Несмотря на предупреждения, что цыгане похищают детей, мы их не очень-то боялись. Здесь рядом, на развалинах извозчичьего двора, тоже обитали цыгане. Они жгли костры, лудили и паяли кастрюли, а их босоногая детвора скакала вокруг полыхающего огня.

А тем временем цыганка за дверью говорила, что если нет молока или хлебца, то пустите хоть ребеночка перепеленать.



И я потихоньку отходил от двери, стыдясь своей трусости.

Но все это пустяки, а случалось иногда и по-настоящему страшное, когда все происходило, как бывает в ночном кошмаре.

Стук в дверь не сильный, но настойчивый. И сколько ни спрашивай, кто там, никакого ответа, словно стука и не было. Только едва слышно, как за дверью в лестничной тишине скрипнет подошва, и опять ни дыхания, ни шороха...

Кто-то чутко вслушивается в тишину, словно хочет уловить — не донесется ли голос или какое-нибудь движение из глубины квартиры... Моментально пересыхает в горле, начинает жутко стучать сердце. Должно быть, как раз в это мгновение моя мать, стоящая на мостике своей печатной машины, вздрогнет, пронзенная предчувствием, и я, получив от нее в ту же минуту ответный сигнал, постараюсь дышать спокойней. Отстояв в неподвижности минуту-другую, пробираюсь на цыпочках в свою комнату...

А там притаишься за шторой и глядишь во двор. Наконец в сумеречном свете вильнет в подворотню чья-то сутулая крысиная спина... И тут вздохнешь с облегчением: ушел... снята осада.

Вот почему мне было запрещено близко подходить к двери на любой стук, кроме условленного: «Там-та-там!

(пауза). Там-там!» Подделать этот наш секретный шифр не удалось бы никому — ни музыканту на каких-нибудь литаврах, ни даже закоренелому грабителю. Тут ведь подлинность определялась не только точностью ритма или продолжительностью паузы, но главным образом силой удара маминой, а не чьей-то чужой руки.

— Там-та-там! Там-там!

И я мчался на этот призыв, летел в одной рубашке по темному коридору, в два счета расправлялся со всеми запорами — и обратно бегом, скорей влетал под одеяло. А мама, едва скинув пальто, с брызгами дождя в волосах, счастливая, что дома все в порядке, спешила сунуть в мою одеяльную нору холодное антоновское яблоко или мятную конфету.

Сладости и лакомства были тогда порядочной редкостью, может быть, из-за всеобщего поголовного безденежья.

Соседские пронырливые ребята — чуть постарше меня, братья Солуяновы-Ямщиковы,— обшарившие кругом все цейхгаузы и пустующие склады, обнаружили на Обводном канале неработающий маслозавод. Они проникали в щель под воротами, расплющиваясь в лепешку, и вылезали, набив карманы кусочками тускло-желтой кокосовой кожуры. Эти вкуснейшие квадратики надо было целый час размягчать во рту, впиваться, грызть, сосать жирную сладость.

Церковные праздники тоже имели сладкую приманку. Службу у Мирония исполнял старенький священник, похожий на Деда Мороза. Когда кончалась заутреня, на амвон выходили батюшка и дьякон с золоченой чашей. Обряд, как известно, несложен. Подходивший к причастию, крестясь, называл имя, священник подносил к его губам серебряный черпак и вливал глоток церковного вина. Это называлось христовой кровью.

Наступал миг восторга: в животе становилось горячо и сладко, хотелось получить еще глоточек... Надо было,

сделав круг, снова приблизиться к священнику, который вопрошал:

— Имя?

— Борис.

Дьякон косил глазом и гудел:

— Ступай, сыне, с богом!..

Помню, что в этой уютной церкви сильное впечатление вызывало написанное прямо на стене жертвоприношение Авраама. Жутко было рассматривать эту картину, где старик отец пытается зарезать собственного сына. А тот, голый, связанный по рукам и ногам, корчится в отчаянии. Может быть, кричит: «Помогите!»

Это было недоступно детскому разумению и казалось жестоким издевательством. Для чего понадобилось господу испытывать старика Авраама? А что, если кривой нож, повисший в воздухе, вонзится в тело мальчика? А эти сучья — они же для костра?

Бабушка прерывала мои вопросы толчком между лопаток и указывала в потолок, где парила стайка херувимов: дети не дети, а просто курчавые головки с крылышками, вроде амуров...

* * *

Мы жили, как живут городские воробьи, знающие пределы одного своего двора, только одну свою улицу. Наша Серпуховская была частью района, который назывался «Семенцы». Сюда входила вся обойма параллельно расположенных улиц, что идут от Технологического института к Обводному каналу: Бронницкая, Серпуховская, Подольская, Верейская, Можайская и Рузовская. Все интересы жителей «Семенцов» ограничивались своим районом, тут были свои достопримечательности: увеселительный сад «Олимпия», ипподром на Семеновском плацу... А Палата мер и весов с башней, где громадные часы — самые точные в мире,— это было гор-

достью нашего района. Жителям «Семенцов» был чужд уклад жизни населения буржуазного Невского проспекта, с его гостиницами, кафе и ресторанами; Троицкой улицы, с ее десятком шляпных и цветочных магазинов; каких-то там жителей Песков...

А где-то еще проживали «васинцы» — василеостровские люди — островитяне, а на отдаленной Малой Охте обитали уж совсем какие-то иностранцы.

Название «Семенцы» произошло в давние годы от казарм лейб-гвардии Семеновского полка. Эти некрасивые двухэтажные строения грязно-бурого цвета тянулись по Загородному проспекту от Звенигородской до Царскосельского (ныне Витебский) вокзала. Они окружали Семеновский плац и занимали левую сторону Рузовской улицы. Когда-то здесь были деревянные домики, где квартировали у частных владельцев офицеры Семеновского полка, сообщая знакомым, что поселились в «Семенцах».

Я не любил этого названия, так же как не любил и грязноватую свою улицу; не нравился мне и Клинский проспект, посредине которого после дождей устанавливался водораздел — длинная, как речка, непроходимая лужа. Повсюду — и на Серпуховской, Подольской и прочих улицах — зияли похожие на свалки мусора пустыри на месте уничтоженных деревянных домишек. На каждой улице возвышались мрачные каменные руины. Они назывались «ломаные дома». Не сломанные, а именно «ломаные». Эти не до конца разрушенные каменные коробки, из которых жители окрестных домов вытащили на топливо полы, двери, оконные рамы — словом, все деревянное, были приметной чертой разрухи.

Вторгаясь во время игр в эти ободранные стены, мы наталкивались случайно на признаки скрытной, потайной жизни... Оказывается, здесь кто-то обитал!

Не сознавая опасности, не только мы, но и девочки моего возраста перебирались над пропастями этажей,

над провалами лестниц, по шатким переходам и находили в уцелевших комнатах то остатки жалкой еды — хребты вяленой воблы в промасленной бумаге, то разорванные карты... И замирали от ужаса, заметив в полутьме чердачной каморки распластанного на полу человека в лохмотьях... Впрочем, это оказывалось просто кучей грязной одежды.

Ничем не огороженные безобразные развалины с наступлением ночи казались особенно страшными, и прохожие старались обходить их по другой стороне улицы. Рассказывали о жуткой находке, обнаруженной в этих руинах: чемодан, а в нем голова дивной красавицы, с золотыми сережками в ушах.

Мы же исподтишка посмеивались над страхами взрослых...

Иногда мы затевали опасные путешествия. Это бывало в знойные дни, когда раскаляется железо крыш, асфальт под ногами размягчается и по городу ползет едкий дымок горелого торфа.

В компании сверстников от восьми до двенадцати лет, впятером или вчетвером, мы отправлялись купаться на девятую версту. Мы передвигались, тесно сблизившись, кто в тряпочных туфлях, кто стуча сандалиями на деревянной подошве, а кто и босиком, в дальнюю даль по Забалканскому проспекту, минуя Новодевичий монастырь, на самое разбойничье обиталище — Горячее поле... Где-то в районе бойни мы подвергались наскокам голодранцев из «Порт-Артура» — многоэтажного дома за Обводным каналом — или нападениям «москвичей» у Московских ворот. Еще издалека, не видя никакой воды, мы слышали все более усиливающийся многоголосый крик, визжанье, свист и непрерывный хохот огромной детской оравы. Вот где царил всеобщий мир и немыслима была вражда! Все различия на «племена» и породы исчезали, и в одну минуту можно было выбрать кого хочешь из веселой кутерьмы и сразу подружиться.

Всех объединяло слияние с природой, стремление плавать, барахтаться, горланить, кувыркаться, даже тонуть, хотя вряд ли тут это было возможно.

Странное было это купанье в неглубокой канаве, шириной в пять-шесть шагов, с тепловатой вспененной водой. Но зато так остро пахло сыростью, травой, свежим ветром. Вода была коричневатая, но сверкала под солнцем, как настоящая речная.

Обратный путь с Горячего поля по раскаленным булыжным мостовым, да еще на голодный желудок, был страшно изнурителен, и вскоре мы нашли место для купанья намного ближе и безопаснее.

Мы шагали по Загородному, вдоль забора Обуховской больницы, останавливались и заглядывали в продольные щели меж досками. По дорожкам сада бродили раненые солдаты в халатах розоватого цвета: кто вприпрыжку на костылях, а кто с помощью сиделок. Иные с рукой на перевязи или с шарообразно забинтованной головой лежали на щетинистой траве, как будто прямо здесь были сражены вражеской пулей. Мы их жалели, вглядывались в бескровные лица. Ведь у каждого из нас кто-то был на войне. Случалось, какой-нибудь бородач, завидев ребячьи физиономии, нашаривал в кармане кусок сахара в махорочных крошках и совал сквозь щель:



— Бери-бери, не стесняйся!..

Так приближались мы к грязно-охристому Царскосель-

скому вокзалу, и зайти сюда было необходимо. Надо было только поменьше обращать внимания на едкий запах креозота и на транспаранты, предупреждавшие население об угрозе заболевания сыпным и брюшным тифом.

Перед входом в вокзал и внутри, в залах, все было завалено и забито узлами, сундуками, фанерными чемоданами.

Переселенцы, или беженцы, как их чаще называли, дни и ночи дежурили в очередях у железнодорожных касс, здесь они питались, нянчили детишек и ночевали среди своего имущества.

Перепрыгивая через спящие тела, мы торопились наверх по широким ступеням лестницы, чтобы насладиться картинами, которые можно рассматривать без конца. Эти стенные росписи показывали исторические моменты первой в России железной дороги, например отправление первого поезда из Петербурга в Царское Село. Однажды, переходя из одного зала в другой, мы очутились перед спинами толпящихся зевак. Раздавался дружный смех, слышались различные восклицания, а в чем там дело — ничего не было видно. Многие старики и женщины плевались и уходили прочь, бормоча ругательства.

— Коммунисты агитируют,— проговорил какой-то почтенный старикан дрожащим от негодования голосом.

С трудом просочились мы в первые ряды зрителей. Здесь была открыта выставка, каких я никогда не видывал. Она называлась «Находки со всего света из истории Старого и Нового Завета». На щитах, обтянутых холстиной, были укреплены самые обыкновенные предметы: огрызок яблока, небольшой булыжник, расплющенная и погнутая монета, пара заржавленных ключей, бутылка из-под мадеры, наполненная водой...

Оформление выставки было выполнено с тщательностью, всерьез, как в настоящем музее. Была даже таб-

личка: «Экспонаты трогать руками воспрещается». Этикетки, напечатанные четким шрифтом, поясняли: «Яблоко, которым Ева угостила Адама; камень Каина, которым он убил Авеля; один из сребреников, полученных Иудой; ключи от райских врат (утеряны св. Петром); слезы Марии Магдалины...» и прочее, в таком же богохульном духе.

Впрочем, досмотреть нам все до конца так и не удалось.

— А что вам, бездельникам, тут надо? — завизжала, появившись из-за угла, тетка с ведром и метелкой.

Не успев опомниться от потрясающего запретного зрелища, мы долго еще рассуждали: что за отчаянные люди придумали эту насмешливую выставку? Кто они, эти безбожники?..

Дальнейший наш путь продолжался по Гороховой улице, прямой и тенистой, к светящемуся вдалеке Адмиралтейскому шпилю...

И вот мы идем мимо высокого дома, где жил, как известно, чертовски загадочный Гришка Распутин. Интересно бы узнать — был Гришка колдуном или просто гипнотизером? У ворот на лавочке сидит важный дворник — борода лопатой, — вот бы кого расспросить... Но вид у дворника генеральски неприступный...

Наконец мы выходим к широкому спуску к Неве между двумя темно-серыми яшмовыми вазами.

Здесь, почти что у подножия Медного всадника, в жаркую погоду с утра и до заката купалось множество мальчишек различного возраста. Невдалеке для порядка прогуливался милиционер в ослепительно белой гимнастерке и в белых перчатках — совершеннейший ангел-хранитель.

Детишки, что помладше, плескались у самых ступеней, не пытаясь двинуться даже на шаг вперед — там уж можно было погрузиться с головой. Отдельные чересчур смелые ныряльщики предпочитали прыгать в



воду «солдатиком» со второго пролета моста и плыть потом по середине реки по течению к Медному всаднику.

Кто хоть раз купался в Неве, на всю жизнь должен запомнить ни с чем не сравнимое ощущение обжигающей свежести. Его почувствуешь много-много лет спустя, закрыв глаза и потянув слегка носом: сразу припомнишь и вкус воды и властную силу невского течения. Тут ведь не требуется усилий, только держись на поверхности и подгребай к берегу, чтоб не проскочить гранитный спуск, где ждет тебя твой загорелый голый приятель, прыгая и размахивая руками...

Накупавшись до полного посинения, стукоча зубами, мы подсчитываем припасенную мелочь и решительно направляемся к Исаакию.

Всякий раз приходилось удивляться, какую малость надо платить за сильнейшее, ни с чем не сравнимое удовольствие — подъем на самую макушку — под «фонарик» Исаакиевского собора. Вручив билеты контролеру, мы устремлялись вперед и мчались, ловко обгоняя на ходу взрослых, цепляясь за тонкие перила, все выше по спирали в полумраке скудно освещенных лестниц. Дух захватывало и замирало сердце, когда приходилось перебирать коченеющими ногами ступеньки винтовой лесенки вокруг исполинской колонны, приближаясь к завиткам ее коринфской капители. Ледяной ветер свистит в ушах, пронизывает, рвет рубашку... На какое-то мгнове-

ние ты повисаешь, как беззащитное насекомое на тонкой паутинке и... лучше пока вниз не смотреть.

Наконец, последнее испытание — путь по лестнице внутри купола. Она не так страшна, хотя почти вертикальна. И когда вылезаешь в узенькую дверцу на самую верхнюю площадку, где выше тебя только золотая маковка с крестом, а над ней сияющее солнце, то простор открывается, как будто глядишь с воздушного шара.

Голова кружится, становится страшно. Но страх быстро сменяется восторженным упоением. Сверху все кажется иным, еще более прекрасным. Наш чудо-город, есть ли что-нибудь красивее в мире... Не видно его границ, он плывет в зелени пышных садов, весь пронизан живой ртутью каналов и рек, стрелами проспектов, всюду вздымаются купола, башенки, островерхие колокольни... И где-то там, за Фонтанкой, можно распознать крышу родного дома.

— Смотрите, смотрите — Кронштадт!

— Да не может быть, где же, где?

— Да вон же, купол Андреевского собора отлично виден! А здесь-то справа — Петропавловский собор, весь целиком, как на ладони, ангел на шпиле совсем близко — игрушечка!..

* * *

Шатания мои по городу пресекались решительным образом. Мать ужасалась, как много времени я провожу бог знает где в компании старших мальчишек...

Сославшись на сверхурочную работу в вечернюю смену, она посылала меня под бабушкино крыло. Забрав с собой две-три любимые книжки, я отправлялся в Технологический институт. Там за высокой оградой, за безликими стенами укрывался своеобразный городок, совершенно обособленный от городской жизни. Здесь, на Загородном, могли сколько угодно завывать на поворотах трамваи, грохотать по мостовой ломовые телеги... Все

равно этот шум не мог проникнуть за стены Технологического.

Да и вообще проникнуть туда было не просто. В воротах на Загородном стоял крошечный домик с трубой, где днем и ночью дежурил вахтер, проверявший пропуска.

Одним боком домик-малыш врос в толстый ствол гигантской липы, стоявшей на страже ворот, пожалуй что с самого основания института. Раскидистая вершина могучего дерева давала пристанище многочисленным семействам птиц, а необъятный ствол, похожий на мощный торс великана, был изборожден глубокими складками, в глубине которых, как по улицам, сновали вереницы муравьев и разных букашек.

Где-то вверху в переплетении сучьев жил наш знакомый воробей, которого бабушка называла «георгиевский кавалер» за его необычайно яркие оранжевые с черным перышки. Этого свистуна и забияку мы выделяли и подкармливали зимой на своем подоконнике...

«Своих» детей вахтеры знали в лицо и пропускали в Технологический беспрепятственно. Про меня говорили: «Это антоновский мальчик». Попадая сюда, я сразу же забывал наш угрюмый сырой двор, выщербленный булыжник, зловонные подворотни...

Никто ведь не знал, как был хорош этот городок, сколько было здесь радостей. Да и жили здесь бабушка, двоюродный брат Митя, друг Санька, тетушка Маруся — все самые близкие люди. Ну и, конечно, дядя Саша, со своим дивным ящиком красок, мольбертом, подрамниками...

Как весело тут поблескивали чисто вымытые окна, сиял на солнце, точно меловая скала, фасад химической лаборатории, а в саду у ворот Забалканского дорожки светились золотистым песком. И если на дворе стояла ненастная погода, все равно здесь все выглядело чище, чем там, на улице.

Весь этот уютный городок, все вместе взятое называлось по-свойски ласково и шутливо: Техноложка.

В любой миг здесь можно было повернуть выключатель и в лампочке с маркой «OSRAM» (других бабушка не признавала) вспыхивал ровный свет, свет жизни, словно и не было в городе никакой разрухи. Горячая вода бесперебойно бежала по трубам парового отопления, звонко булькая и пощелкивая в батареях...

Случались вечера в середине лета — безветренные, продолжительные, когда во дворе взрослые начинали играть в рюхи, в «гори-гори ясно», а чаще всего в распространенную тогда лапту.

Длинноногие студенты в белых рубашках-косоворотках и солидные, даже седобородые профессора как будто снова становились мальчишками. Посланный сильнейшим ударом лапты арабский мячик со свистом летел в дальний угол двора, а искусник, пославший так далеко мяч, нарочно громко топоча, бежал гордо, с видом победителя. Да, в игре был арабский — черный, литой мячик, в отличие от светлого — пустотелого. Запятнать арабским мячиком было чувствительно, и это придавало игре особую остроту.

Дружные взрывы смеха и вся атмосфера всеобщего веселья действовали зажигательно даже на ребятишек, сновавших в толпе зрителей. Наслаждались буйным весельем и мы с братом Митей. Игра длилась без конца, но никто думать не хотел о позднем часе. И давно пора уже спать, а высоко в небе все еще стоит золотое курчавое облачко и, кажется, с каждой минутой становится все ярче, светлее...

Но бабушка неумолима. Вот она снова показывается из-за угла и молча грозит нам тряпкой.

Наша бабушка Анисья Тимофеевна была в Технологическом институте человеком известным, хотя и оставалась неграмотной до конца дней своих. Ведь здесь про-



жила она более полувека, со всеми была знакома и чувствовала себя в родной стихии.

В бабушкином подвале всегда было уютно, тепло, чисто прибрано. У нее находили приют и постоянно жили самые разные животные: хромой заяц, кот Матрос, задиристый щегол Унька.

Вот одна из картинок моего раннего детства: я вхожу со двора в комнату и вижу — бабушка лежит врастяжку на полу, на зеленом коврике, а по ней, словно по какому-то пригорку, разгуливает пестрая курица с цыплятами, приговаривая им что-то, видно желая поближе познакомить их со своей кормилицей. А на эту семейную сцену угрюмо глядит со шкафа большеголовый белый кот. Он спасается там от нападения курицы, охраняющей своих малышей.

Совсем я был малышом, когда, укладывая меня спать, бабушка говорила нараспев, очень тихо одну и ту же присказку, какой не слыхал я после никогда и ни от кого.

— Вот, слушай:

Чуть-чуть рассвело,
Три волка тянутся в село:
Один се-е-ерый,
Другой бе-е-е-лый,
А третий — чуть-чуть... *(пауза)* рассвело,
Три волка тянутся в село...

И — с самого начала, все так же монотонно, только с различными интонациями, так что картина плетущихся в предрассветной рани трех волков меняется все время в твоем воображении... Так длится до того мига, пока сон не смежит глаза...

В Петербург бабушка попала еще крепостной девчонкой, ее отдали в няньки в богатую семью. В этом доме бывал Дмитрий Антонов, юноша, окончивший гимназию с золотой медалью. Черноглазая девушка заставила его забыть все на свете. Через год они обвенчались у Спаса на Сенной, хотя из-за этого события деду пришлось порвать со всеми родственниками.

Бабушка рассказывала, что боялась переезжать в Технологический, за решетчатые ворота, где молодых ждала квартирка с бесплатным освещением и дровами, ведь Дмитрий Корнеевич к тому времени работал в канцелярии старшим паспортистом.

Она так и говорила, что не поедет «в эту тюрьму». А уже год спустя Техноложка стала для нее родней отчего дома. Что ни год, рождались дети — Николай, Тоня, Елена, Ольга, Мария.

Жизнь становилась все дороже. Дедушка брался за любую работу: переписывал по ночам деловые бумаги, недосыпал. А денег все равно не хватало. Много лет был он регентом хора в домашней церкви Техноложки, теперь приходилось бегать на спевки в церковь при Литовском замке (так называлась тюрьма напротив Мариинского театра).

Совсем не старым человеком Дмитрий Корнеевич помер от чахотки. В Технологическом прослужил он двадцать шесть лет и оставил на руках вдовы пятерых детей.

И пришлось бабушке сменить квартиру на полуподвал во дворе...

Мне думается, что все те, кто вырос на просторных дворах Технологического института, сохранили на самые

долгие времена бесконечно дорогие впечатления своего детского мира.

И в самом деле, для разнообразных ребячьих игр здесь предоставлялось широчайшее раздолье.

Отодвинув дверь кочегарки, можно было наблюдать, как в таинственной черноте, словно зверь, мечется то оранжевый, то белый огонь. Казалось, что вот тут-то и живет «нечистый дух». Таким условным именем разрешалось заменять в разговоре имя сатаны или дьявола. Ведь даже произносить слово «черт» считалось греховным. Изображать чертей, хотя бы мелом на асфальте, также не разрешалось. Да что там, даже дядюшкина бронзовая пепельница с длиннохвостым чертенком почему-то временами исчезала сама собой с его стола.

А что за темно-зеленые бутыли в корзинках из толстых ивовых прутьев стоят на ступенях высокой каменной лестницы? Что за колдовское варево в этих бутылях, каждая ростом с кувшин,— из сказки про Али-Бабу и сорок разбойников?

Вот как раз тут, в химической лаборатории, работает дядя Саша, он весь день возится с этими сосудами, но нам запрещает даже подходить близко...

Границей Технологического со стороны Загородного был плотный дощатый забор, отделявший нас от Обуховской больницы. Забор поддерживала насыпь, поросшая белыми одуванчиками. Очень хотелось заглянуть вниз в чужие владения. Но едва кто-нибудь высовывал нос за эту грань, как в забор ударялись гнилые картофелины, стрелы из луков и дробь из рогаток, раздавались неистовые вопли... Там кочевала отчаянная обуховская братва — потомство сиделок, нянюшек и уборщиц, что проживали в домиках для служащих больницы.

На Забалканский (ныне Московский) проспект (другая граница Техноложки) выходила решетка тенистого сада, который кончался высокой оградой, а за ней виднелось каменное строение с запыленными зеркаль-

ными окнами. Над входом с улицы хорошо читалась крупная надпись на проволочной сетке: «Братья Ботта», а пониже и мельче — «Скульптурное заведение».

Боттов двор — так называли в Технологическом участок лежащей за решеткой земли, где стоял этот павильон из красного гранита. Первым открыл туда путь мой друг Санька Емельянов, ему было, как и мне, восемь лет.

Однажды, допивая утренний чай, я заметил за окном Санькины ноги в обтрепанных штанах и выскочил из-за стола, кое-как перекрестив лоб: «Благодарим тя, господи...» Не успела бабушка заставить меня как следует прочесть молитву, я уже был за дверьми.

Едва мы поздоровались, как Санька вытащил из кармана... палец. Этот палец был мизинец, раза в два крупнее нормального человеческого. Он был сделан из полированного мрамора. Санька хорошо нагрел его в кармане, и было странно держать в руке этот теплый каменный палец какого-то великана.

Мы побежали в сад и, проскользнув под сводом колючего кустарника, очутились у самой решетки, внизу которой Санька обнаружил лаз, куда могла бы прошмыгнуть собака, а впрочем, и для нас достаточно широкий.

Из-под густо разросшейся сирени было видно, что у задней стены павильона стоят, сидят и полулежат красивые мраморные девушки с распущенными волосами и ангелы в рубашках до пят. Некоторые из них обнимали кресты, заламывали руки — в общем, жестикулировали, как глухонемые. Под навесом валялись отдельные части фигур, венки и даже головы с точеными прямыми носами.

Вот откуда добыл Санька свою драгоценную находку!

Подзадоривая друг друга, мы полезли на чужую территорию, прислушиваясь и озираясь... Очень хотелось утащить целую голову, чтобы потом в саду установить памятник. Кому? Это неважно, можно потом придумать.

Просто памятник. А тело слепим из голубой глины, там ее полно в деревянном ящике, рядом с конюшней.

Пятясь на карачках, мы потащили женскую голову с куском длинной шеи к нашей лазейке. Тут почему-то Санька ойкнул, выпустил из рук мраморный обрубок и юркнул в листву. На всякий случай бросился за ним и я.

Сквозь ветки мы увидели, как двери павильона с визгом распахнулись и оттуда вышел краснолицый толстый человек с седой головой, точно припудренной мраморной пылью. Он потянулся, посмотрел на солнце и вдруг оглушительно раскатисто зевнул... Вот так, должно быть, лев, царь пустыни, вылезая из своего логова, дает знать на всю округу о своем пробуждении.

Испугавшись людоедской пасти и звериного рыка, мы понеслись наутек, ломая кусты.

Теперь нам оставалось попробовать вылепить что-нибудь самим...

До чего же приятно было месить податливую глину, подливать воду, мять тугую скользкую массу, звонко



пришлепывать. Вот из комка уже образуется увесистый липкий шар. А вот и нос появился из шара, настоящий римский нос. Эх, кабы не начало темнеть на улице — через часок, смотришь, и вся голова была бы готова...

Дядя Саша, когда мы заваливаемся спать, все еще сидит за мольбертом. Я вижу сквозь синюю ткань полога его бледное лицо, освещенное светом настольной лампы, круглый блик на его лысине, рыжеватые усы, различаю, как он, изящно оттопыривая мизинец, накладывает на холст мелкими движениями кисти мазочки краски.

Днем дядя Саша в лаборатории, а в утренние часы и по вечерам пишет все время святых и великомучеников. Должно быть, это кому-то нужно, ведь работы у дяди Саши хоть отбавляй. Иногда приходится ехать куда-то с ящиком красок подновлять иконы, а иной раз их приносят на дом, прямо в серебряных ризах.

Помнится, по каким-то его делам ходили мы с бабушкой в Афонское подворье. Это серое трехэтажное здание с куполом темно-зеленого цвета помещалось совсем от нас недалеко — на углу 2-й Роты и Забалканского. Здесь жили монахи, здесь же был храм и нечто вроде постоялого двора для паломников. Потому и называлось — подворье.

Бабушка не очень-то жаловала священнослужителей, но в подворье пекли удивительно вкусный хлеб, какого не было даже в булочных Филиппова.

Во дворе и внутри обширного здания бесшумно и молча сновали монахи в темных рясах. В храм приходилось подниматься по неудобной лестнице, придерживаясь правой рукой за шаткие перила. Левая стена была покрыта широкой живописной панорамой. Здесь разгулялась чья-то довольно примитивная кисть, представив в ярких красках картину Страшного суда с подробностями ужасающего характера.

Рассмотреть все, что тут было нарисовано, не было возможности, потому что приходилось на ходу зажмуриваться от леденящего страха. Земля раскалывалась, извергая адское пламя, а ухмыляющиеся черти с гибкими хвостами пронзали голых мужчин и женщин трезубцами, нанизывали их на копья, прокалывали языки и, кажется, жарили на сковородках... В самом центре адских мучений извивалась ехидно скалящая зубы змея с надписью вдоль хребта: «Ложь — мать всех пороков».

Загадочный полумрак церкви, лица монахов, освещенные снизу прыгающими огоньками свечей, басовито гудящий хор певчих — все это заставляло думать, что само Афонское подворье — это преддверье к истинному аду. А то, что намалевано на стене, находится где-то здесь. Может быть, в самом низу этой лестницы, в черноте подвала, есть незаметная дверца, которую услужливо отворяют монахи, вытаскивая из толпы богомольцев не настоящих праведников, а врунов и лицемеров...

Ложась спать, стараешься не думать об этих жутких картинах, но они поминутно всплывают в памяти — изнуренные грешники, взывающие о спасении, и чернобородые лица монахов, озаренные светом желтых свечей.

А утром комната залита веселым солнцем, и дядя Саша уже сидит за своим мольбертом, вытирая кисти большой мягкой тряпкой. Я любил запахи дяди Сашиного хозяйства: терпкий дух скипидара и одуряющий спиртового лака; горьковатый, но вкусный — столярного клея. Знал я названия многих красок: циннобер — моя любимая киноварь... Умбра...

— Тюркиш-блау,— протяжно говорил дядя Саша, и я уже представлял себе синего червячка, выползающего из свинцового тюбика.

Ужасно хотелось подержать в руках его тонкие, как шпаги, длинные кисточки, плоские флейцы, гибкий ножичек мастихин.

Иногда разрешалось (только недолго) постоять за его спиной — не болтать и не кашлять, а наблюдать, как движется острый язычок кисти по холсту, углубляя тени в складках одежды или поправляя волоски бороды какого-нибудь Серафима Саровского...

Дядя Саша писал радостными, чистыми красками, а сюжеты все были печальными. Вот и сейчас он пишет распятие, по бокам которого скорбные фигуры — Мария и Марфа. На них одеяния желтого и красного шелка, а фон картины глубокий синий, такого сказочно синего цвета, какой бывает у нас только небо зимней морозной ночью.

А нам дядя Саша иногда показывал картины совсем другого содержания. Это случалось, когда от дядюшки попахивало чем-то вроде спиртового лака, усы у него обвисали. Загадочно улыбаясь, он доставал из-за шкафа большую папку. Там хранились четыре-пять подлинных (и довольно сусальных) рисунков художника Зичи. Как всегда, Зичи вызывал всеобщее ликование. Затем дядюшка показывал несколько своих пейзажей: березовая роща, вечерние огни, проселочная дорога... По-моему, дядя Саша списал их с открыток, которых у него была полна шкатулка.

А самая драгоценная вещь береглась у дяди Саши в деревянном футляре с бархатной внутренностью. Это было круглое зеркальце в медной оправе — таких мало кто видывал. Оно отражало все с предельной четкостью и, кроме того, в золотистом освещении, какого не бывает в жизни. Чудесная эта вещь выдавалась нам на одну минутку, протиралась лоскутком замши и укладывалась в футляр.

Я долго считал волшебное зеркальце вообразившейся мне в детстве иллюзией, пока не заметил однажды, что на известной картине Ван Эйка за спиной супругов Арнольфини красуется именно такое зеркальце в похожей на шестеренку узорчатой раме...

Подобно дяде Саше, я попробовал изобразить изгнание из рая Адама и Евы. Не помню, чем прельстил меня этот сюжет, может быть, присутствием архангела с пылающим, как паяльная лампа, мечом, но только бабушка рассердилась и чуть не отобрала мои досекинские краски...

* * *

Питались мы плохо, так же, как и все кругом. Суп с разваренным добела пшеном и с селедочными головами, иногда с воблой, которую называли ласково «карие глазки», порой чечевичная, а чаще перловая каша — вот и все, что мы получали в столовой на Бронницкой, куда ходили поочередно с котелками и манерками.

Сахар стал совершенной редкостью, а сахариновые таблетки в зеленой упаковке были противны и вызывали изжогу. Рассказывали, что сахарин вреден и что от него можно ослепнуть. Только бабушка в нашей семье употребляла эту химическую сладость, потому что была заядлая кофейница. Не могла же она лишить себя единственного удовольствия — чашки крепкого кофе, пускай даже из желудей, которые мы собирали для нее в Польском саду...

Ну что ж поделаешь, если даже профессор Яковкин,— а он был самой высокой гордостью бабушки и крестным отцом ее детей,— даже этот столп науки питался тем же самым супом из селедки.

Лакомым блюдом был у нас овсяный кисель. Сейчас это блюдо отменного вкуса известно не каждому деревенскому жителю. А мы, благословляя бабушкину кухню, усаживались за тарелки, полные студня золотистого оттенка, и кто-нибудь повторял строки Жуковского: «Дети, овсяный кисель на столе... Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться...»

И в это самое время, мы хорошо знали, где-то рядом процветала бешеная спекуляция продуктами. Совсем

привычными и обыденными звучали слова, вызывающие слюнотечение: телятина, свинина, яичница. Пока обо всех этих яствах мы могли прочесть только в книжках.

Удивительно, что в городе, где было так много полуголодных, кое-как питающихся людей, существовали дорогие рестораны и открывались увеселительные заведения — кабаре «Би-Ба-Бо», «Павильон де Пари»...

Я помню афиши на обгорелых стенах руин Литовского замка: «Москаль-чаривник», «Шут на троне», Н. Ф. Монахов. «Пожиратель женщин» (оказалось, что так называется оперетта). Наша тетушка Маруся, светловолосая, худенькая девушка, работала в секретариате А. М. Коллонтай на Фонтанке, в бывшем Юсуповском особняке. Дел было по горло, приходилось засиживаться за полночь. Зато домой ее доставлял автомобиль. Выдавались и свободные дни, когда можно было сбегать на «Тетку Чарлея» или с подружками на танцы...

Как хорошо я помню эти круглые коробочки с кружевами из бумаги, в которых были хрупкие лепешки бисквита «Лукоморье», которые наша тетка раздобывала в театральных буфетах.

Откуда-то бабушке стало известно, что родственники наших соседей открыли подпольную домашнюю столовую. Она рассудила, что нужно разведать, как там и что. Вот мы и отправились туда с Марусей как раз в обеденное время.

Над вторым этажом дома на Верейской, где жили сестры-близнецы (и это чудо природы очень хотелось посмотреть), была длинная белая вывеска: «Греческая кухмистерская». Впрочем, поржавелая вывеска уцелела от старого режима и отношения к теперешней столовой не имела.

В прихожей мы были ошарашены восторженным щебетанием и порхающими улыбками. Одна из хозяек, в кокетливом фартучке, повела нас в комнату, другая поскакала, как коза, по длинному коридору.

В комнате стоял стол под белой скатертью и возвышался до потолка буфет... Но какой буфет! Полкомнаты занимало это сооружение из темного дуба — что-то вроде храма чревоугодия. Весь фасад его был изукрашен художественной резьбою — орнаментами, виноградными листьями, а дверцы декорированы объемными натюрмортами: битая дичь и роскошные фрукты. Перед каждым местом расставлены тарелки разной величины, разложены вилки, ложки и ножички. А в середине стола двухэтажная ваза с красивыми яблоками, но добраться до нее мешала толпа соусничков, перечниц и горчичниц с торчащими стержнями ложечек и лопаток.

Мы переговаривались шепотом, и было хорошо слышно, как в кухне обедает шумная компания. Доносилось звяканье ложек, сдержанный смех...

Обед проходил в беспорядочной суете. По коридору сновали разрумянившиеся хозяйки, все делалось как бы по-домашнему, но не просто, а с оттенком опасения унизиться до положения официантки или, не дай бог, кухарки. Бестолковщина была во всем: после супа принесли хлеб, нарезанный тонкими лепестками,— неизвестно, можно ли было съесть его без остатка... Потом появились соленые грибы, такие, как у нас дома. И наконец, застенчиво улыбаясь, хозяйка внесла фаянсовую миску — второе блюдо. Это была тушеная картошка, с лоскутками пупырчатой куриной кожи...

Теперь настал, пожалуй, самый неловкий момент.

— Итак, значит, с вас причитается...— Дама в фартучке, уставясь в потолок, стала шевелить губами и что-то записывать в блокнотик.

— А пиво наконец будет? — вдруг спросил в коридоре громко и отчетливо густой баритон.

Покраснев, хозяйка вылетела из комнаты.

Обед оказался ужасен. От пересоленного супа с лапшой несло все той же селедкой, и главное — хоть какое-нибудь сладкое напоследок, хотя бы ложечку овсяного

киселя... Но ведь овсяный кисель тоже не падал с неба, хотя это лакомство всегда напоминало мне библейскую манну небесную.

И вот с каким видением связано воспоминание, похожее на сладостный сон.

Тот же восемнадцатый или девятнадцатый год, дремотные зимние сумерки, когда уже в четыре меркнет дневной свет. Домашнюю тишину прорезает звонок, и бабушка бежит отворять.

На пороге в окружении падающих снежинок стоит фигура, закутанная в темную шаль с бахромой. За спиной мешок, а возле ног узлы, корзинки.

И разматываются семьдесят одежек: промокшая шаль, вязаная косынка, платок; стягивается полушубок, и перед нами появляется совсем маленькая, жаркая, как из парной бани, тетя Маша — деревенская наша приятельница. Тетя Маша Румяни́стая (ударение на букве «и» обязательно). Так с легкой бабушкиной руки называли эту старушку с постоянно цветущим румяным лицом все жители деревни Малое Верево.

Долго же ей пришлось к нам добираться, да еще с бидонами молока и корзинкой, где (мы уж знаем!) гостинцы к рождеству: и овсянка, и оранжево-зеленая мозаика гороха, и пироги с картошкой. Это были необыкновенно вкусные пироги, где между решетчатых переплетений из темного ржаного теста так и выпирают золотистые квадраты поджаристой картофельной начинки...

— Вот где будет пир-то!..

* * *

И тут я вынужден непременно остановиться. Я должен рассказать о родной земле, о дорогих моей памяти людях, среди которых прожил я четыре прекраснейших лета раннего детства.

В Малом Вереве люди говорили не на моем родном языке. Они назывались ингерманландцы, или чухонцы, коренные жители страны Инкери, пролегавшей исстари на топких просторах невской равнины. Только никакие не «убогие чухонцы», а работящий, добрый народ, населявший берега быстротекущей Ижоры между Тайцами и Гатчиной.

Чухонцы — может быть, это звучит не так красиво, как испанцы, но разве в этом дело? Разноязычье не мешало жить нам в свойских, почти родственных отношениях со всем старым и малым веревским народом.

Придется начать с того, как готовится путешествие в Ижору. Бабушка хлопочет круглые сутки: надо ведь позаботиться и о тех, кто остается. Ей помогают все взрослые, хоть ничего тяжелого и громоздкого мы не везем. Но бабушка полна забот, она отдает последние команды, прощается с соседками. Всего бережнее упаковывает шкатулку с лекарствами. Здесь у нее средства от всех болезней на свете: йод, шалфей, имбирь, нашатырь, капли глазные, датского короля, доктора Иноземцева...

Посадка в трамвай (возле самого Технологического) — волнующее событие.

— Кондуктор, не торопите, дайте войти всем спокойно... Садитесь поближе к вожатому, а вы, мадам, подвиньтесь, не видите — дети!..

На вокзал приезжаем задолго до отхода поезда.

— Ну вот, спешку пороли зачем-то...— говорит бабушка,— даже позавтракать хорошенько не успели.

Бабушка не доверяет ни стрелкам больших часов, ни расписанию (да ведь она и не умеет читать). В третий раз она заглядывает в окошечко кассира:

— Будьте настолько любезны (мы уж знаем это ее излюбленное присловье), когда должен отправиться гатчинский поезд?

— Ровно в двенадцать,— доносится строгий механический ответ.

— Ахти, боже мой, ну и пошехонцы же мы, ведь еще и одиннадцати-то нету.

Она проверяет по очереди, не вспотел ли кто из нас, прикладывает ладонь к нашим лбам, то расстегивает, то застегивает пуговки воротников, затем выводит по одному из вокзала за уголок,в глубь невысокого кустарника... Ну и возня с этими мальчишками.

Наконец долгожданный момент — состав подан. Издалека слышно, как пышет жаром потное черное чудище на огромных красных и зеленых колесах, с каким пренебрежением к людям пускает круглые белые клубы дыма прямо на платформу. И вот уж расселись как надо, рассовали по полкам вещи,— третий удар колокола... Поехали! Подоспевшие к отправлению поезда Маруся и мама, неразличимо похожие, машут платочками и скрываются в облаках налетевшего пара...

Как сладостно долго продолжается наше путешествие, как часто и продолжительно гудит паровоз, тяжко поднимаясь к Пулковским высотам. Первая станция — Александровская. Паровозу необходимо хорошенько отдышаться. Снова бьет станционный колокол. Если высунешься незаметно для бабушки из окна — позади еще виден город. Вернее, в мареве можно разглядеть блещущий слиток золота — купол Исаакия Далматского. Но... свисток, и состав судорожно дергается, так что у дяденьки, сидящего напротив, с носа слетает пенсне.

Дальше поезд бежит куда веселее: так и мелькают телеграфные столбы, домики стрелочников, коровы, цветы на откосах... Бабушка настораживается, как бы не пропустить нашу станцию. Она обращается к кондуктору:

— Будьте настолько любезны...

Дело в том, что место нашего прибытия — Ижора — вообще мало кому известно: это разъезд, даже, вернее,

полустанок, последняя остановка перед Гатчиной, не то что станционного здания, а платформы даже нет, и поезд стоит всего полминуты...

Усатый кондуктор, разумеется, готов помочь, и, пока поезд замирает возле какой-то коричневой будки, он успевает перетащить из вагона и нас и наши пожитки и напоследок легко и грациозно, как балетный танцовщик, переносит с высоких ступенек на землю нашу маленькую, но крепкую, плотно сбитую бабушку.

...Улетел громыхающий поезд в Гатчину. Тишина, легкий ветерок. И только слышно, как заливаются в высоте жаворонки, тихо свищут дрозды и как дивно дышит и сверкает горячий летний день.

— Вам куда? Верево?.. Садитесь, подвезу немного...

Это говорит старенький чухонец, сидящий в своей удобной таратайке. Он остановил лошадку на дороге, как только заметил нашу процессию.

— К Мюллеринам едете? Я сразу вижу — свои люди...— говорит старик, растягивая свои морщины в приветливую улыбку.

Подпрыгивая в трясучей тележке, мы приближаемся к местам радостно знакомым. Впереди справа с каждой минутой растет и все огромнее становится группа деревьев на фоне дальнего леса.

Вот пошли уже овсы, огороды, картофельные поля, и тележка с грохотом въезжает на широкий дощатый настил моста.

Тут жили мы среди людей, библейски простодушных, работящих и честных. Непривычно звучали их имена: Мириам, Исаак, Авраам, Дебора — словно читаешь старинную книгу. Все они по-русски говорили плохо, иной раз вовсе не разберешь, о чем толкует какая-нибудь добрая старушка.

Жили мы на одной половине просторного рубленого дома, очень чистого, с выскобленными до белизны полами, а снаружи бревна были темные, старые, окна с бе-

леными ставнями. Наш хозяин был добродушный исполин по фамилии Мюллеринен. Его детишки всю зиму ждали нашего приезда, ведь мы привозили мячики, игрушки, кегли, сытинские книжки с картинками.

Мой друг и ровесник Пекко был чудесный маленький крепыш. Волосы у него были белые, как сухая солома, и, подстриженные небрежными взмахами ножниц, торчали во все стороны, как соломенная крыша какого-нибудь овина.

В конюшне у нас жила могучая лошадь, рыжая с белой грудью. Иногда разрешалось прокатиться на ее широкой спине. Имелось еще две коровы, одна из них так любила нашу бабушку, что, возвращаясь с поля, перегоняла других коров и, выразительно мыча, совала морду в окно бабушкиной светелки.

Теперь я хотел бы познакомить читателя с наиболее выдающимся явлением природы и украшением этих мест — рекой Ижорой. Хочется верить, что от имени прекрасной этой речки и пошло древнее название — Ижорская земля.

Река щедро поила всех вкуснейшей водой на свете, она потчевала местных жителей превосходной редкостной рыбой, и не она ли одаряла белозубых чухонских девушек хрустально-светлой голубизной глаз и струящимися по плечам шелковистыми волосами...

Река была приманкой для всех детей. Она бежала среди низких берегов совсем поблизости от дома: про-

мчишься, шлепая босыми ступнями по тенистой влажной тропинке,— и вот она, Ижора!

В общем-то речка была не так широка и не очень глубока, в иных местах покрывала человека с головой, она бежала быстро и прямо-таки вскипала среди валунов. Вода была ледяная, прозрачная, но о купании не могло быть и речи. Редкий смельчак, завывая от студеных струй, переплывал с удивительной быстротой на тот берег. Под крутыми откосами ходила стайками красавица форель, делая зигзаги и останавливаясь против течения...

Как было не заглядеться, стоя на шатких мостках над водой, на беспрерывно колеблющиеся волокна изумрудных водорослей. Потом уж я узнал, что у художников этот цвет называется по имени великого живописца — Поль Веронез...

Водоросли шевелились и двигались, не зная покоя, как руки самой реки. Они были совсем живые, не повторявшие дважды свои сложные извивы. Было похоже, что не просто равномерное течение воды управляет движениями этих русалочьих кос — скорее, думалось, они правят загадочным подводным током, то раскидываясь веерообразно, то смыкаясь в извилистые пучки. Хотелось следить и следить за игрой мотающихся зеленых прядей, под которыми ясно различается до последней крупицы все дно реки, устланное разноцветными кругляшами и каменными лепешками, обточенными водой.

— ...Она ничем не дорожит и дальше, дальше все бежит... — напевала моя тетушка, и я сразу вспоминал мостки над бегущей Ижорой и всю ее подводную красоту.

И еще помню, как Маруся держала меня на руках, совсем еще маленького, и указывала вдаль, в сторону очень дальней горы:

— А вон там, видишь, Орловские ключи. От них-то и начинается наша Ижора... Помнишь, как мы туда ездили?

Действительно, вдали можно было разглядеть колеблющуюся в знойном июльском мареве, поросшую лесом Дудергофскую гору. И что-то там неясно розовело среди массы деревьев.

Веревские старики сплетали из ивовых прутьев мережи, вроде маленьких дирижаблей, устанавливали их под вечер на дно реки, а утром приносили добычу. Трудно вообразить что-нибудь красивее этой серебряной рыбы с красными пятнышками на боках. А что за вкуснейшее блюдо — отварная форель с молодой картошкой! «Вот уж действительно царская еда»,— говорила бабушка, и она была права: совсем недалеко, в двух верстах, была царская охота, гатчинский заповедник, полный всяческой живности.

...Их было человек десять — двенадцать на высоких черных лошадях, и одеты все, как один, в длинные черные черкески с газырями. Помню, что в черноте одежды полыхнуло что-то красное, может, подкладка, может быть, отворот... На дорогу они вылетели, как внезапная вспышка молнии. Мы, четверо ребят, так и шарахнулись обратно вверх по откосу, в мелкий березнячок, врассыпную, теряя волнушки из своих корзиночек... Я помню, что звякало какое-то оружие — может быть, карабины. Нет, пожалуй, кривые шашки. Лошади подскакивали как на пружинках, и тот всадник, что был впереди, что-то выкрикнул односложно, и все ринулись за ним, исчезая за поворотом.

Все это явление, похожее на картинку из Лермонтова, длилось едва ли минуту, а впечатление осталось навсегда, как чувство смутной тревоги.

— Вашное дело гонять детишек,— сказал, узнав об этой встрече, дедушка Юсси, попыхтев своей трубкой.— Царский конфой, делать им нечего...— И, подумав немного, сплюнул.

Пожалуй, я так думаю, стояло лето тысяча девятьсот шестнадцатого, и мой отец был уже третий год

на фронте. Изредка приходили от него коротенькие письма.

Лето дышало невыносимым зноем. Раскаленное небо заволакивалось лиловыми тучами, но грозы проходили стороной, и к закату все совершенно очищалось.

Вокруг нас горели торфяные болота, и даже за голубикой детей не пускали одних. Сизая дымка тянулась до самой Гатчины. Это было страшно: никакого огня не заметно, но, нечаянно вступив на кочку, можно было угодить босой ногой в огнедышащую пасть.

По воскресеньям из города привозили что-нибудь вкусное и интересное: поджаренные тыквенные семечки, сушки с маком, пачки журналов «Огонек» и «Солнце России» с картинками исключительно про войну. В ненастную погоду мы собирались на крыльце, играли в шашки, в лото. Журналы рассматривали с особенным рвением, усаживаясь в кружок, голова к голове, возвращались к уже виденным картинкам и находя новые темы для разговоров, мусоля пальцем фотографии. Я, как наиболее опытный грамотей, читал вслух подписи и прибавлял свои объяснения:

— Вот, смотрите, закругленные крылья — это немецкий аэроплан Таубе, что означает — голубь...

Но почему эти «голуби» бросали бомбы на беззащитную Варшаву — вот этого коварства мы никак не могли постигнуть...

Но возвратимся, дорогой друг-читатель, в суровую петроградскую зиму 1919 года, на мою Серпуховскую улицу.

Прощай же, чудесная страна Инкери, прощай, любимая Ижора...

* * *

Нежданно-негаданно в нашем доме появился Арсентьев. Ему была нужна комната для работы в тихой, спокойной квартире, и дворничиха, рыжая Маруся, указа-

ла ему нашу. Он предъявил маме какие-то бумажки с печатями. Из этих документов можно было понять, что «гр. Арсентьев Сергей Кузьмич является уполномоченным одного учреждения по снабжению какого-то другого».

В те годы были распространены сокращения различных названий и наименований. Вспоминаются Викжелдоры, Учкопрофсожи... Попробовали бы вы расшифровать такое, например, действительно существовавшее сокращение: ВОСПР. А оказывалось, что это Вещевой отдел снабжения Петроградского района. Вот и разберись в этих бумажках!

Будущий жилец уплатил за три месяца вперед, а к вечеру привез на ломовике столик, тюфяк и два стула.

Арсентьев понравился мне сразу, хотя бы уже потому, что у нас в доме будет мужчина. Он был поджарый, стройный, похож на фавна — волосы в мелких завитках, зубы как сахар. Сейчас я дал бы ему года двадцать четыре, а тогда он казался мне вполне солидным человеком. Я понял, что мы станем друзьями: я буду заходить к нему, показывать картинки, а он будет мне давать на прочтение свои книги.

— Нет ли у вас чего-нибудь почитать? — это был мой непременный вопрос при каждом новом знакомстве, своего рода проверка — значительный человек передо мной или не стоящий внимания.

У Арсентьева никаких книг пока не было видно, но я объяснил это тем, что наш жилец не успел обзавестись обстановкой, поэтому симпатия к нему не уменьшилась. Даже кровати у Арсентьева еще не было, и спал он, как узник, на брошенном в угол тюфяке.

Подружиться с ним тоже никак не удавалось.

Сергей Кузьмич был страшно занят напряженной деятельностью. Он пропадал где-то неделю, другую, появ-

лялся на рассвете, запирался на ключ и спал сутки подряд...

Дальние поездки в теплушках были тогда затяжными путешествиями. Расписания поездов не соблюдались. Не хватало паровозов, вагонов, топлива. Из недальней Луги нам пришлось ехать однажды зимой двенадцать часов. Пассажиры высаживались, пилили и кололи дрова и сами загружали тендер паровоза...

— Все, знаете ли, в разъездах,— говорил Арсентьев, расхаживая по кухне и озабоченно затягиваясь папиросой.— Вчера — Устюг, завтра — Себеж. Покоя нашему брату ждать не приходится.

Как-то зимой среди ночи он разбудил нас, поминутно извиняясь:



— Уж не сердитесь — прямо с поезда... На шесть часов опоздали!

Со двора доносился шум мотора, какие-то люди стали вносить тяжелые вещи в комнату, и вскорости все утихло.

Наутро он был весел, оживлен, разговорчив. Вынес к чаю что-то плоское, завернутое в газету.

— Это вам за беспокойство.

Я думал, что там книжка, а оказалось — две толстые, лоснящиеся плитки шоколада с орехами.

Мама так и ахнула, стала отказываться, но Арсентьев мотал головой да скалил белые зубы.

Через некоторое время таинственные ящики были вывезены поздним вечером на автомобиле. Укатил и сам Арсентьев. Мама слышала, как он поторапливал грузчиков.

Приближалась весенняя пора. Вот уж скоро месяц, как уехал наш Сергей Кузьмич. Заявлять о его затянувшемся отсутствии нам и в голову не приходило. Да и кому заявлять? Для чего?

Накануне пасхи осталась ночевать у нас мамина подружка, машинистка Вава. Возвращаться в одиночестве к себе на Покровку она боялась и осталась ночевать. Отправилась Вава укладываться спать в маленькую комнату, но сразу же вернулась к нам в смущении. Оказалось, что, принявшись стелить постель, она отодвинула диван и дверь в комнату жильца сама собой растворилась, по-видимому не была заперта с той стороны.

— Давайте свечку, посмотрим, что там у него?

И вот при лунном свете мы двинулись гуськом к Арсентьеву, как в запретную комнату Синей Бороды. Полосатый тюфяк возле печки, столик, на котором стопка писчей бумаги. Ни книг, ни газет, ни писем... А в углу за печкой стоят скособочившись два туго набитых чем-то мешка, высотой почти что с меня.

«Неужели мука? А что, если белая, глетчерно-снежная крупчатка?..»

Нет, в мешках была не мука и даже не крупа. Мешки были наполнены доверху чудесным янтарным изюмом.

После сомнений и колебаний решено было взять одну — только одну чашку на троих, заровнять верх ладонью и тщательным образом завязать мешок, а дверь забить гвоздем и прижать диваном как можно плотнее. Тут уж было не до сна. Мы пили чай с изюмом, сладко тающим во рту.

В какое-то воскресное утро сидели мы втроем (Вава у нас так и прижилась) за чаепитием в хорошо натоп-

ленной кухне. В дверь с лестницы стала барабанить чья-то мощная рука.

— Ну, так и есть, вернулся!

Однако вошли сразу трое: милиционер, квартальный и дворник. Спросили, где комната Арсентьева. Вскрыли с легкостью замок, вынесли мешки, взломали ящик стола...

— Да не может этого быть! Неужели мошенник? — говорила мама.— Какой ужас, совсем еще молодой... И, должно быть, человек добрый, видимо, запутался по неопытности...

— Большая сволочь,— сказал, как бы не расслышав маминых сожалений, милиционер.— Налетчик он, да к тому же спекулянт.— И, покачав в воздухе черной кобурой с пистолетом, которую они добыли из арсентьевского стола, добавил: — Не забудь он дома вот эту вещицу — сразу бы к стенке угодил...

Подметая веничком арсентьевское жилище, я обнаружил в мусоре не замеченную никем круглую печать с лаконичной надписью: «К исполнению!» Вот и пошла гулять в моих руках эта печатка по всем бумагам. По листкам календаря: «С Новым годом!» — К исполнению! На старых рецептах: «...принимать капли три раза в день» — К исполнению! И если бы я читал в те времена газеты, то, наткнувшись на сообщение о решении суда над шайкой спекулянтов, охотно пришлепнул бы свою печать как раз к этой заметке.

* * *

Солнце не заглядывало в наши окна, выходившие в глубокий двор. Как только день шел на убыль, в нашей квартире даже летом начинали сгущаться сумерки.

Там на улице еще золотились в лучах заката окна верхних этажей, и в доме напротив семья Португальских сидела на балконе за вечерним чаем, а у нас дома

уже приходилось начинать возню с большой настольной лампой. Еще портной Дрябкин, сидя возле входа в свое ателье мод, дочитывал вечернюю газету, а я, засучив рукава, осторожно, через узкую воронку наполнял внутренность лампы вонючим керосином.

В зеленоватом небе над Клинским проспектом носились со свистом ласточки, и мальчишки продолжали играть в «попа-загонялу», а я, как Аладдин, все еще горбился над своей лампой.

Эта керосиновая лампа была драгоценным украшением нашего жилища. На солидной колонне из мутно-зеленого камня был укреплен широкий резервуар из матового стекла, покрытый морозным узором. Передвигать по столу это сооружение на бронзовом постаменте можно было только двумя руками. Ни у кого из наших знакомых я не видел такой красивой лампы. Даже у Португальских уж на что была шикарная люстра с львиными головами, с бисером и стеклярусом... даже она рядом с нашей показалась бы базарной дешевкой.

Имелся у нас еще один предмет роскоши. Это было трюмо в темно-вишневой раме. Жаль, что поверхность зеркала подпортил росчерк вверх по дуге: «Люба! Люблю!» Слова эти начертил алмазный перстень завсегдатая ресторана, откуда к нам и прибыло трюмо по воле все того же домкомбеда.

И вот, когда в зеркальной глубине угасали дневные краски, на столе разгорался цветок огня, освещая все кругом теплым светом.

Скоро уже можно было разглядеть китайские пагоды на желтых обоях и портрет усатого капитана Майн Рида над моим столиком. Хлопот с настольной лампой было не меньше, чем у смотрителя маяка: то зазеваешься и не заметишь, что керосин кончается... или вот только что свет был яркий, ровный, как вдруг фитиль сбоку обугливался, копоть покрывала стекло вертикальными полосами... Важно было не растеряться, а уменьшить

язычок огня, обмотать тряпкой стеклянную трубу, снять ее и протереть специальным ежиком, мягкой суконкой, затем срезать ножницами нагар и подровнять тлеющий фитиль.

Оставаясь до самой полуночи в тихой и темной квартире, я старался не поддаваться подлой тоске одиночества. Тишина стояла такая плотная, что словно бы уши заложило. Однако скучать было некогда. На столе появлялись клей, ножницы, кисти, краски... Я рисовал цветными карандашами индейцев, богатырей, а на листах покрупнее закатывал многофигурные сражения. У воинов под красными знаменами из ран струилась алая кровь, а у противников она была зеленого цвета.

Я клеил из бумаги четырехгранные домики, круглые башни, а на полу выстраивались улицы разноцветных домиков со всевозможными вывесками, я их вырезал из журнальных объявлений: аптека... моды... часы...

Надоело клеить,— я принимался раскрашивать и вырезать картинки из «Нивы», «Огонька» и «Родины»... А не то играл в куклы, довольно искусно сделанные мамой.

Еще я устраивал сам для себя представления, появляясь в зеркале то в тюрбане из полосатой шали, то в колпаке чародея с ватной бородой, или в облике полуголого татуированного индейца.

И все эти забавы в конце концов надоедали.

Тогда раскрывались недра старинного дедушкиного шкафа. Он был огромен и страшно скрипел. Если медленно тянуть дверцы, можно услышать бормотанье, что-то вроде: крра-ка-тау-у-у!..

Читать я научился давно, лет, должно быть, с четырех, а то и раньше, и хорошо помню, как, лежа на полу на расстеленных газетных листах рядом с отцом, я сложил крупные заголовочные буквы и прочел вслух: зубы! Потом сложил четыре других и получилось: де-по!

(Это было депо табаков и сигар.) Помню просветлевшие глаза отца и возглас:

— Мать, нет, ты только посмотри!..

После этого он занялся моим обучением; оставшись в типографии после работы, набрал и оттиснул всю азбуку. Буквы были большие, хорошо было играть в эту игру — составлять разные новые слова.

Однако пора вернуться к книжному шкафу и заглянуть в него. На нижних полках выстроились мои собственные книги, а на внутренней стороне дверцы я наклеил полный список этих сокровищ и количеством звездочек (совсем, как звездочками на погонах) обозначил достоинства каждой книги. Приблизительно так это выглядело:

1. Лермонтов. Собрание сочинений в одном томе. (Пять звездочек, даже с плюсом.)

2. Книга Ветхаго и Новаго завета. (Никаких отметок. Должно быть, из суеверия: а вдруг бог накажет?)

3. Лажечников. Ледяной дом. (Две звездочки.)

4. Путешествие вокруг света без гроша в кармане. (Четыре звездочки.)

5. Лидия Чарская. Княжна Джаваха. (Пять крупных звездочек.)

6. Э. Сетон-Томпсон. Рассказы о животных. (Тоже пять...)

Думаю, что нет надобности продолжать перечень ныне забытых книг начисто забытых авторов. Припоминаю, что в списке было немало книг, отмеченных одной, двумя звездочками: сочинения Кармен-Сильвы, какие-то песенники, анекдоты о шуте Балакиреве... А главной книгой, которая становилась с каждым днем все дороже, был тяжеловесный однотомник Лермонтова. На желтоватых страницах «голландской слоновой бумаги» проплывали сказочные горы, летели скакуны черкесов, вспыхивали выстрелы испанских разбойников, сливаясь с канонадой Бородинской битвы. Был тут и лютый кра-

савец Кирибеевич, и морская царевна с дельфиньим хвостом...

Что за дивная была это книга! Где ни раскрой ее — всюду поразительные чудеса: «Под ним Казбек, как грань алмаза...» Грань алмаза! Ну не чудо ли эта ослепительно сверкающая горная вершина, хоть ты Кавказ-то видел всего лишь на картинке.

Или образ коня, навсегда впечатавшийся в память: «...горяч и статен конь твой вороной, как красный угль его сверкает око, и лóснится хребет его высокой, как черный камень, сглаженный волной...» Может быть, много лет спустя у Делакруа или Жерико мог я встретиться с таким великолепно изображенным конем...

А сколько было в той книге иллюстраций! Они казались мне достоверными картинами, и образы героев — живыми лицами, списанными с натуры, в этом я был уверен.

Под каждым рисунком стояла строка, соответствующая моменту: «Колена его дрожали, он целил мне прямо в лоб» (Это из «Героя нашего времени».); «Выстрел раздался у меня над самым ухом, пуля сорвала эполет», (Из «Фаталиста»...) Все это запомнилось навсегда.

И вот вкратце сведения о некоторых книгах из моего списка.

«Книга Ветхаго и Новаго завета». Это было пособие для школьников, где библейские сюжеты подавались в сжатом виде. Чтение некоторых глав вызывало у меня ужас перед событиями, вроде всемирного потопа или избиения младенцев и распаляло желание разузнать об этом побольше...

«Ледяной дом». Читать рекомендовалось только отчеркнутое маминой рукой описание ледяного дома, Впрочем, остальное, посвященное амурным делам Артемия Волынского, не представляло интереса.

«Путешествие вокруг света без гроша в кармане». Захватанная книжка была оценена так

высоко за то, что ее можно было перечитывать много раз подряд. Не хватало последней страницы. Пришлось придумать и дописать окончание печатными буквами на отдельном листочке.

«Княжна Джаваха». Книги Чарской заставляли читателя изумляться роскошью издания. Сверкающие цветной фольгой крышки переплета, словно золотые ворота, вводили в чарующий мир. За произведениями Чарской охотились, выменивали на другие ценности, а если владелец книги давал ее кому-нибудь на прочтение, то уж под самое расчестное слово. Все ее повести создавались по одной проверенной схеме. Юный читатель с первых страниц влюблялся в героиню, пленялся ее красотой, благородством души... По твердому расчету писательницы на странице такой-то глаза читателя наполнялись горючими слезами и удержаться от них было невозможно. И уж точно эта страница в каждой книге была покороблена струйками пролитых на нее детских слез.

Я упивался чувствительными ее книгами, гордился собственной «Княжной Джавахой»... пока однажды лечившая мою ангину доктор Шестакова, похожая на композитора Листа (седые волосы до плеч и золотые очки), не узнала о моем увлечении.

— И охота тебе глотать этот розовый сахарин? — сказала она, смешно уставясь на меня большими, как у совы, глазами.— Ведь есть же на свете Гоголь, Марк Твен, Вальтер Скотт...

И после этого я стал более критично смотреть на мою княжну, а потом обменял ее без сожаления на «Питера Марица — молодого бура из Трансвааля»...

В моем шкафу, как ни удивительно, отсутствовал Пушкин.

Знакомство с ним началось для меня крайне неудачно, и думаю, что не я в этом виноват.

Мне не было и пяти лет, стало быть, году в 1914-м, я попал в клуб, устроенный для рабочих экспедиции,

где уже тогда работала мама. Там была елка до потолка и веселое представление «Кот в сапогах». После спектакля детей стали оделять конфетами и книжками. Я получил «Царя Салтана». До сих пор помню чувство разочарования. Книжка, как говорил дядя Саша, была полна роскошной скуки.

В рисунках замечательного художника Билибина не было жизни, движения, юмора. Тоску наводили расшитые узорами боярские костюмы, занавесы... Тонко стилизованные, обведенные проволочным контуром рисунки не действовали на воображение и не заражали пушкинским весельем. И может быть, даже хорошо, что Пушкин, никем не навязанный, как сокровище, ждущее открытия, был еще впереди. А пока любимейшим был Лермонтов — его книга, из которой я узнал столько неожиданного и понял, что значат настоящие стихи.

Я читал и перечитывал «Купца Калашникова», «Беглеца», «Хаджи Абрека». Оставаясь один, я читал вслух как можно громче, чтобы разогнать гнетущую тишину слабоосвещенной комнаты.

— «Месяц плывет, тих и спокоен, а юноша воин на битву идет...»

Сила стихов Лермонтова меня захватывала и увлекала, я, что называется, заходился: хватал расстроенную гитару и, сильно ударяя по всем струнам, начинал завывать под бурный аккомпанемент: «Мой милый, смелее вверяйся ты року, будь верен пророку...»

Однажды после того, как я дундел на гитаре, а пожалуй, и приплясывал, Агафьюшка, соседка из верхней квартиры, сказала матери на следующее утро:

— А знаешь, мил-моя, кто-то вечор в нашем доме уж так отчаянно плясал... Да всё в три ноги, да в три ноги!..

Привычка читать вслух со временем все развивалась, скоро она стала потребностью. Мне хотелось тут же де-

литься с окружающими всем прекрасным, что открывали мне книги.

В Технологическом покорной слушательницей была бабушка, и мы часто коротали с ней зимние вечера над книжкой.

И вот нет уж вокруг нас никакой кухни, не слышно бульканья парового отопления, настойчивого стука маятника... Под шорох страниц мы движемся вровень с отважным Дубровским,— вот уже огромный медведь, поднявшись на задние ноги, пошел на него...

— Бабушка! Ты что же это, спишь, да?

— Да ты что, как можно! Читай, читай дальше...

А у самой голова так и клонится набок, и черные глазки становятся все у́же, и по лицу растекается благостная улыбка, никак не соответствующая страшному моменту в книге.

Нет, бабушка решительно не была способна понять мои переживания.

То ли дело — мама. Зимними вечерами, когда она почему-либо не работала и мы были вдвоем, а печка была натоплена и лампа горела особенно ясно, вот тут-то и начиналось счастье! Мать что-то шила или гладила не торопясь, а я мог долго читать вслух, и понимание между нами было полное. Дойдя до какого-нибудь чувствительного момента, я отрывал глаза от книжки и видел растроганное лицо матери.

Мы читали с одинаковым упоением Андерсена и Диккенса, Гоголя, «Принца и нищего», «Гулливера»...

* * *

Вдруг в нашей монотонной жизни произошло радостное и невероятное событие: целехоньким и невредимым вернулся с фронта отец. А ведь до этого долго не было никаких известий, да и нам писать было некуда.



Отец явился домой на рассвете. Его худощавое, гладко выбритое лицо с лупоглазыми очками-консервами казалось маленьким под широким козырьком фуражки. Я осторожно трогал его короткое кожаное пальто все в мелких трещинках, словно от невыносимого жара войны. Оно пропахло сложной смесью табака, пота и бензина. Я всматривался в его прозрачные серые глаза, такие светлые на загорелом лице, стараясь найти в них отблеск бесстрашия и отваги. Иначе и быть не могло, ведь не каждому было дано переправляться под артиллерийским огнем через бурные кавказские реки, отражать ночные налеты турецких башибузуков и медленно катить в раскаленной машине по солончакам Перекопа.

На ногах у отца были странные, шнурованные до колен сапоги на толстых подошвах. Таких я еще ни у кого не видел. «Венгерки» — так они назывались.

В рассказах о войне, спалившей, кажется, полземли, звучали неслыханные названия дальних городов и местностей. Эрзерум... Снеговые вершины гор, турецкие минареты. Тифлис — тоже дикие горы, башни и удивительные бани — серные. Эривань — приторно-сладкое имя,

что-то вроде шербета или варенья из роз, которого никто даже не нюхал.

А чего стоило страшноватое Гуляй-Поле, где со свистом гуляет ветер. Оно мне представлялось пустыней с грудой черепов, как на картине Верещагина... Или — Белая Церковь — одинокий белый силуэт залитой лунным светом колокольни в ночном пространстве. Чертомлык, Хортица, Таганаш... Как мне запомнились все эти непривычные имена, которые отец произносил запросто!..

Впервые я услышал слово, похожее на волосатого черного тарантула — Махно. И другое, весело-звонкое, кованное из меди — Буденный. И в отцовских рассказах, порой просто фантастических, мчались, стреляя и подпрыгивая на резиновом ходу, неуязвимые броневики, летела с быстротой ветра легендарная конница, которая называлась не иначе, как конная Буденного...

Но вместе с тем былинники речистые из песни «Мы красная кавалерия, и про нас...» воспринимались совсем в ином значении. Былинники — так я считал — было название каких-то трав, вроде камышей (татарник, тальник, былинник), а речистые — производил я не от слова речь, а от слова речка. Ведь не зря же у Пушкина такое сходство: «А как речь-то говорит, словно реченька журчит...» В общем, я воспринимал эту строчку как деталь следующей картины: красные кавалеристы промчались на лихих конях, и вот утих топот копыт, и на берегу речки, в которой отразились летящие всадники,— былинники речистые (то есть тростники прибрежные), шурша и перешептываясь, ведут рассказ... о том, как в ночи ясные... Ну, и так далее.

Теперь у нас дома с утра до ночи хлопали двери, толклись веселые гости — фронтовые друзья отца. И все это были совсем еще молодые люди, ведь отцу только-только стукнуло тридцать лет. Все они жаждали домашнего тепла, мирного пристанища, хорошей работы. Кто-то из них подарил мне феску красного сукна, настоя-

кую, турецкую, и коробку французских цветных мелков. Вчерашние вояки играли на гитарах и мандолинах, все время кого-то встречали, чествовали, пили горькую брагу, пели негромкие печальные песни: «...Меня вот так же провожа-али, махали так же мне платком... И так же слезы утира-али своим кисейным рукавом...»

Однажды во двор въехала повозка и какой-то ловкий белозубый красавец стал вносить в прихожую плоские ящики с отборными крымскими яблоками. Над козырьком его фуражки была приколота роза. Это был известный клоун и прыгун Виталий Лазаренко, он оказался старинным знакомцем и другом нашей семьи. Я не мог поверить, что у нас дома такая знаменитость, пока весельчак не прошелся на руках по коридору. Запомнилось еще, что за накрытым столом Лазаренко читал так, что было слышно во дворе, какие-то стихи, и все дружно хохотали и били в ладоши...

Через некоторое время отец сдал свои очки-консервы в автоброneотряд; после некоторых раздумий отнес туда же широкий кинжал-бебут, который полагалось у них носить вместо огнестрельного оружия, и окончательно сделался домашним, родным человеком. Теперь можно было, ухватив его за руку, гулять с ним по городу не расставаясь...

Все было бы прекрасно, если бы не «венгерки».

— Что это твой батька ходит в дамских ботинках?

— Да ты что! Это же «венгерки». Венгерские сапоги, в Австро-Венгрии сделаны!

— Ну да, «венгерки», ври больше. Скажи просто, что денег нету нормальные сапоги купить.

Да, мальчишки с Серпуховской не давали мне проходу из-за этих необычных ботинок...

Я часто задумывался — какое множество бездельников повсюду так бездарно тратит драгоценное время. В хорошую погоду жильцы верхних этажей часами глазели из раскрытых окон, развалившись на объ-

емистых подушках. Они громко обсуждали домашние новости, толковали о прохожих, поддевая на зубок чью-нибудь *неправильную* походку или *не такую, как надо*, шляпку.

Газетами тоже интересовались немногие. Приходилось только удивляться: как это люди жалуются на скуку, имея столько свободного времени?

Не выделяться — было каким-то всеобщим правилом. Какой-то закон стадности. Кто хотел выйти за черту — подвергался осуждению.

— Так-так-так... Значит, у вас это называется «*венгерки*»?..

Красиво подстриженная брюнетка в белой блузке с широким кожаным поясом, приезжавшая на велосипеде к низкорослому юноше из соседнего дома, считалась «психопомешанной» и была излюбленной мишенью злой ребятни. Когда молодой человек выходил провожать свою велосипедистку, мальчишки бежали сзади и поддавали ногами вослед юной паре консервную банку...

А если бы они узнали, чем занимается наша соседка Евгения Поволит — бледная высокая девушка с пепельными волосами, — затравили бы без всякого сожаления. Я-то знал, кто в действительности эта скромница. Она была дунканистка! Моя мама дружила со старенькой мамой Поволит из шестой квартиры. Однажды добрая старушка передала для меня билет на театральное представление, где будет выступать ее дочь.

Молчаливая, с опущенными глазами и быстрой бесшумной походкой — вот уж кто совсем не был похож на артистку.

На спектакль я пришел раньше всех. На площади, сбоку от Александринского театра, я нашел дом, облицованный серым гранитом. На третьем его этаже помещался светлый просторный зал с зеркалами до потолка, и по четырем сторонам стояли стулья, открывая площадку посередине.

Было пасмурное зимнее утро, и от высоких окон несло пронзительным холодом. Зрителей собралось немного, пожалуй, человек тридцать взрослых, а из детей один только я.

Наконец вышел пианист. Приблизившись к публике, он объявил, что хореографическая студия-школа современного танца учебно-экспериментального театра покажет ритуальные игры и пляски «Празднества Диониса». Название этой танцевальной труппы я передаю сейчас, конечно, не совсем точно, однако за слова «современный» и «экспериментальный» я готов поручиться.

Итак, после первых аккордов на площадку с криками «Эвоэ!» выскочили молодые люди и девушки, одетые в блекло-розовые и голубые туники. Все они гонялись босиком по навощенному паркету, кружились в хороводе, сплетались в объятиях...

Единственный, кто занял место в первом ряду, был я, и все лезло мне прямо в глаза: неуклюжая жеманность подпрыгивающих мужчин, их безобразные ступни, острые локти и колени и притворные улыбки накрашенных девиц. У самого моего носа проносилось трепыхание одежд и учащенное дыхание танцовщиков...

И опять выбегали наскоро переодевшиеся девушки с гирляндами бумажных цветов и юноши с флейтами, сделанными из картонки. Я заставлял себя не смотреть на Женю Поволит, на ее размалеванные щеки, посиневшие от холода плечи и ноги.

Наверху все еще продолжала греметь музыка, а я уже совал руки в рукава курточки в гардеробе и наконец выбрался на улицу.

Босоножка Поволит могла жить спокойно. Об ее участии в «Празднествах Диониса» я рассказывать не собирался. Что же касается отцовских «венгерок», то тут мальчишки были правы — денег у нас не было. Ведь работала пока одна мать.

Безработица стала повальным бедствием. На Петроградской стороне у Ситного рынка стоял высоченный дом с круглой башней вроде каланчи — Биржа труда. В залах и коридорах томились в ожидании работы сотни людей всяческих специальностей. Были среди них и товарищи отца — наборщики, такие же обладатели карточки безработного. Там велась ежедневно возрастающая запись, перекличка по утрам; надо было дежурить на месте — а вдруг откроется окошечко и оттуда голос: «Требуются наборщики на постоянную работу...» Но проходили дни и недели, окошечко не отворялось. А вокруг открывались различные временные промыслы: кто варил дома постный сахар, кто мастерил вязаные галстуки, кто-то жарил пирожки из смеси отрубей и затхлой «крупчатки».

У одной хитроумной бабки в полупустой квартире на углу Можайской был снят пол и под ногами валялись клочья сена, ветки с листьями, капустные ошметки, лопухи... Старушка содержала пару косматых коз, торговала свежим молоком и своих кормилиц показывала ребятам, разрешая угощать животных корками хлеба с солью.

Существовала еще категория «лиц свободной профессии». Биржа труда была не для них. Так именовались не только артисты и художники, но и разные кустари: парикмахеры, фотографы, портные...

Здесь, в нашем окружении, не проживали какие-нибудь выдающиеся люди или знаменитости. Попробую дать несколько набросков, сохранившихся в памяти с тогдашних времен.

Маркевич — безногий польский пан, в инженерской фуражке с молоточками, владелец лавочки напротив наших ворот. Он был хорош за прилавком: крахмальные манжеты и мефистофельская бородка. А по улице передвигался на костылях, волоча ноги в черных крагах, похожих на пустые железные доспехи. Лавочка не давала дохода и превратилась в жилую комнату

с запыленным окном. На стекле виднелись потускневшие буквы «Канцелярские принадлежности», и когда вечером зажигался свет, то в мутной глубине можно было разглядеть дочку Маркевича — грустное лицо, склоненное над керосинкой.

Саша Чепцов. Одинокий юноша, механик паровозных мастерских. Я пришел одолжить плоскогубцы и увидел, что его комната настоящая мастерская, где был токарный станочек, множество инструментов и на полке модель «Авроры». Саша был знаток джиу-джитсу, и говорили, что кого хочешь мог загипнотизировать.

Повар Игнатов — широкогрудый коренастый человек, отец троих мальчишек, приехавших из Рязани. Горластые рыжие сорванцы вечно лезли в драку с кем попало и постоянно дрались между собой.

Прохоров — лохматый учитель в очках, и жена его, тоже учительница и тоже очкарик. Дома — полная неустроенность и пренебрежение к быту. Отрицание каких-либо удобств. Вместо скатерти — газета, окна без занавесок. Повсюду разбросанные вперемешку книжки, полотенца, стопки тетрадей...

Новорожденный Демьян, завернутый с головой в одеяло, орет во всю глотку, лежа на подоконнике, а они хоть бы что — целуются и никакого внимания. Они иначе и не звали малыша, как полным именем: «Не голоси, Демьян! Демьян, спать сейчас же!..»

Вскоре Прохоровы вместе с Демьяном отправились учительствовать куда-то на Крайний Север.

Семья Тер-Микаэлян. Глава дома, ответственный работник, вечно отсутствовал. Хозяйничали его матица, старушка с глубокими блестящими очами, и жена, бледнолицая красавица Елена Андреевна — Елена Прекрасная, такой она мне казалась. Из-за такой, по моему мнению, древние греки и начали убивать друг друга. Впрочем, Елена Андреевна была поглощена воспитанием двух дочерей и появлялась на улице редко...

Жили еще в нашем доме всякие трудовые пчелы: фельдшерица, кровельщик, кучер с Петропочтамта... Отлично уживались тут граждане без трудовой книжки: мороженщик, маркер и гробовщик Потемкин, изготовлявший на заказ табуретки, стульчаки и детские колясочки...

На единообразном фоне серенькой бедности одна лишь семья Португальских заметно выделялась постоянным благополучием и довольством. Квартира на четвертом этаже с окнами на улицу, широкий балкон с балюстрадой. Глава семейства — очень сильный человек (в тени прихожей поблескивали черные шары гантелей), ему было, я думаю, около сорока пяти лет: небольшая лысина, красиво подстриженные усы. В фас он был очень представительный, похож на какого-то царского министра. Но посмотрев сзади на подбритый затылок с характерной складкой, я понял — борец! Конечно же, он мог бы выступать в чемпионате французской борьбы, я даже стал мысленно примерять к его груди муаровую ленту, усеянную борцовскими звездами и медалями... Дочери Португальского выходили на балкон в соломенных шляпках, пускали мыльные пузыри, бросали по ветру бумажные ленты; они могли уставить весь балкон кадушками с цветущи-



ми растениями и сидели там, отгородившись от мира, читая толстые интересные книги...

Сын Мишка был драчуном и обжорой, сестры называли его «жирный пончик». Младшая сестра Зоя напоминала большую розовую куклу. Муся была года на два старше меня, она не походила ни на кого из Португальских: рыжеватые пушистые волосы, светлые зеленоватые глаза... Верхняя губка была чуть короче нижней, и виднелись белые зубки, но это не портило ее миловидности. Муся — это я сознавал — с болезненным чувством воспринимала пошлость домашнего быта. Я заметил, что она не расстается с книгой: выходит из подъезда с прижатой к груди книжечкой или перелистывает на ходу страницы, стараясь не забыть важное место.

Из-за общей любви к книгам мы и познакомились.

Книжный спекулянт и меняла, Адольф Букша, злой и нелюдимый, стоял в подворотне с брезентовой сумкой, из которой виднелись корешки книг. Занятная личность был этот Букша — коммерсант по натуре. Мансарда на Серпуховской, дом 9, где жил он, была завалена не только любопытными книгами, но и всякими настольными играми. Были у него еще паровые машины, коньки для скетинг-ринка... И все это можно было получить напрокат или на что-нибудь обменять.

— Что это за книжища в ситцевом переплете?

— «Синий журнал» за тысяча девятьсот тринадцатый год.

— Дай почитать?

На это у Букши всегда был один ответ:

— А что дашь? — Он был согласен получить какую-нибудь безделушку: бронзовую собачку, мячик, поющую раковину...

Завидишь Букшу издалека и готовишься услышать: «А что дашь?»

Итак, Муся выбирала какую-то книгу из букшинской сумки, а я взял у него «Рыцарей круглого стола». Тут

мы разговорились, и я узнал, что Лидия Чарская вовсе не богачка и не роскошная красавица... И что она сейчас обеднела и умерла бы с голодухи, если бы не друзья...

— Хотите,— сказала Муся доверительно и тихо,— завтра вечером пойдем к ней, я знаю, она будет очень-очень рада...

Но я застеснялся, наверное даже покраснел — как это я пойду куда-то вдвоем с Мусей Португальской...

* * *

Может быть, как раз тут пора вспомнить, что уже тогда я легко поддавался очарованию женской красоты, был постоянно (и кратковременно) в кого-то влюблен.

Впервые в жизни испытал я чувство восторга до слез в пятилетнем возрасте к Верочке Юшкевич. Необыкновенно прелестная танцовщица, бабочка и фея, она летала по сцене в сверкании люстр и бенгальских огней, одаряя всех нежными улыбками. Было это на рождественском празднике для детей Технологического института.



Затем предметом поклонения стала Агуся — так ее звали дома. Она была дочерью артиста Денисова и дебютировала на сцене Малого театра. Даже в самом ее имени — Агния — звучали магия и обаяние, какой-то магнит или магнетизм. Хрупкая и стройная, глаза опу-

шены густыми ресницами, а голос — звучный, как флейта, высокий, манящий (немножко в нос). Был я младше ее лет на пятнадцать, но казалось, что именно я могу понять ее лучше других. Я влюбился во все ее вещи: в длинные черные перчатки, в ее флакончик с духами «Вера-Виолетт», в серебристый мех ее шубейки, в папиросницу со всеми ее папиросами; мне были дороги даже ее папиросные окурки...

Денисов привел меня однажды днем на репетицию драмы Гюго «Марион Делорм». Помню пустой холодный зал, жалкое освещение сцены, грубые занозистые доски половиц, похожие на доски эшафота... Все это составляло дикое несоответствие с шелковым очарованием Агуси. Приближаясь в длинном белом платье к суфлерской будке, она повторяла на все лады одну фразу: «Прочь алебарду, должна пройти я к герцогу Белльгарду!..» Но, как видно, роль не шла, и Агуся плакала, опустившись в «готическое» кресло. Она прижимала к глазам кружевной платочек, и я, заметив, как дрожат высокие каблучки ее черных туфелек, тоже заплакал.

Кто-то лохматый, в широкой блузе, бросился ее утешать, пытался обнять за плечи...

Тут уж я не вытерпел, сорвался со стула с криком:

— Оставьте, оставьте, не смейте ее трогать!..

Так же, как все дети, я был способен влюбиться в какой-нибудь портрет, в мраморную статую или в банальнейшую мелодию.

Не мог понять я, как это дядя Саша расточает похвалы «Незнакомке» Крамского с ее колючим взглядом, когда в его коллекции хранится такая дивная вещь — «Царевна-лебедь» Врубеля.

Помню, с каким изумлением я разглядывал облик загадочной и болезненной красавицы, не мог оторваться от ее глаз, вызывающих чувство смутной тревоги...

«Баркаролла» Шуберта также была одним из сладостных впечатлений детства, она и сегодня навевает

грусть и размышления, вызывает в памяти желтый дом с балконами на Измайловском проспекте, где жил Ростислав Фивейский.

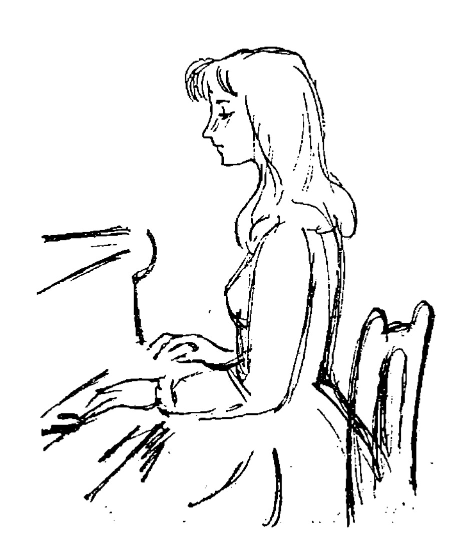
Это был мой одноклассник, отчаянный сорви-голова. Бывало, он подходил в классе к девочке, которая ему нравилась, хватал ее чернильницу, и, запрокинув голову, отправлял содержимое в рот. Затем пускал вверх тонкую струйку лилового фонтанчика и, вытерев платком губы, гордо удалялся...

Дома у них было комнат шесть, и все с окнами на две улицы. Кожаные кресла и диваны, стеллажи, забитые книгами.

Оказалось, у Славки есть сестра Милица, немного старше меня. Она была нетороплива, говорила немного в нос, растягивая окончания слов. («Ростисла-ав, переста-ань, что за шу-утки»...) Чем-то она мне напоминала (может быть, густой гривкой спадающих на плечи волос) Жанну д'Арк с французской иллюстрации в моей книжке.

Рояль у них был сливочно-белый, он стоял на некотором возвышении, как на эстраде. Милица играла много прекраснейшей музыки, а мы занимались в соседней комнате, и так хотелось вслушаться, но Славка мешал своими глупостями, фальшиво свистел, дурачился.

Иногда я заходил к ним, и дверь слегка приоткрывала Мила.



— А Славик еще не приходи-ил...— И каким-то чутьем угадывая, говорила: — А хотите, я вам поигра-аю?

Усаживаясь за рояль, она быстро преображалась на глазах, словно у нее внутри разгорался какой-то огонек. Меня волновало это превращение, и становилось неловко смотреть в ее посветлевшее лицо.

Но... может быть (я думаю теперь), все это было осознанным женским притворством?

Сперва Мила перебирала клавиши медленно, она подыскивала подходящую для меня музыку и вскоре начинала как раз то, чего я ожидал,— мою любимую «Баркароллу».

— Час незаметно по часу проходит, тихо скользим мы по зеркалу вод...— напевала она негромко своим домашним голоском.

Другой, более звучный, мог бы все испортить.

— О, как на сердце легко и спокойно... Нет и следа в нем минувших забот...

Необыкновенно приятно становилось на душе, и было удивительно, что эта сладостная музыка звучит для одного слушателя — для меня, и сам я вовлекаюсь в действие музыкальной пьесы...

Блеск паркета, в котором отражен белый рояль, как белый парус, синее небо за окном. Вслед за упоительной мелодией медленно плывем мы по зеркалу вод...

— ...Ах, неужели за гранью туманной...

Только самую малость беспокоила тень тревоги, чтобы ничто не помешало длиться наслаждению — сидеть и слушать, слушать, хоть до самой темноты... И как назло — наглый звонок в дверь — и другой, третий... Выстроившийся в воздухе хрустальный дворец обрушивался в один момент и рассыпался на мельчайшие кусочки.

Вместо загульного Славки в прихожую влетала стайка Милициных подружек с папками «MUSIQUE» на длинных шнурках.

Сразу мое присутствие становилось тут неуместным, я оттеснялся к дверям. Уже ничем не похожая на мечтательницу из «Баркароллы», Милица прыгала, фыркала от смеха, мелькала среди своих девчонок...

Я плелся домой с не утихающей внутри музыкой Шуберта.

Что же касается дружбы с Мусей Португальской, то припоминаю, что, несмотря на сочувствие и симпатию, я избегал с ней встречаться.

Впрочем, к Португальским я все-таки заходил — интересно было порыться в их книжных завалах.

Можно было заметить, как тут любят говорить про еду, сколько вкладывают озабоченности, что готовить на завтра: форшмак (да нет, вчера был форшмак) или драчёну (опять драчёна, неужели нельзя сделать шнельклопс!)... Надо борщ скорей доедать — завтра он испортится!..

— Мальчик, может, поужинаете с нами? — говорила, входя в комнату, хозяйка дома, вся в кружевах.— У нас сегодня печень со шкварками и вареники.

Я сразу же отговаривался, уверял, что только что пообедал.

— Ну, тогда я вам пришлю сюда чаю с сухариками...

А я уже нашел нужную мне книгу, зачитанную, что называется, вдрызг, и погрузился в чтение. Что была это за книга, кто знает. Забылось начисто все — и название, и автор... Очарование одной цветной иллюстрации запомнилось навсегда. Там была изображена освещенная солнцем вершина одной из пирамид Майя; группа жрецов в цветных одеяниях и среди них прекрасная девушка, может быть, дочь Монтесумы... А над этой сценой простирается огромное золотистое небо.

Сидя в одиночестве на балконе, я посматривал ввысь, где двигалась череда кудрявых облаков... И наши родные небеса сливались с изображением в книге. Я думал, что, может быть, и сейчас там, над страной ацтеков,

стоит точно такая же розовая пелена с золотистыми облачками в высоте...

Мне не хотелось возвращаться в нашу темную квартиру, было завидно, что живут люди с окнами на улицу и чувствуют себя как на берегу реки, где жизнь пестра и разнообразна. А тут ведь каждый на виду у соседей, и ежедневно повторяется одно и то же. Всем было известно, что у кого на обед, кто и чем болеет, что у Ямщиковых разразилась громогласная ссора, а к электротехнику Георгию приходила новая («между прочим, очень интересная») гостья и что Жундиков-отец высек Жундикова-сына...

Около полуночи можно было высунуться из окна и окинуть взглядом, где что происходит. И вот какая составлялась панорама, словно бы ряд последовательных сцен из жизни городского человека. Если в квартире внизу была видна обнаженная спина склонившегося над раковиной мужчины, то, передвинув взгляд этажом выше, вы видели фыркающего человека, вытирающего полотенцем лицо и шею, а на третьем этаже, как раз напротив вашего окна, кто-то уже встряхивал простыню или подушку. Переведя глаза еще на этаж выше, вы могли заметить чье-то лицо с раздутыми щеками над ламповым стеклом: «Ф-ф-ф-у-у!» — и комната погружалась во мрак.

Все эти картинки показывали, как монотонна и скучна жизнь в нашем дворе. Неужели она такова и во всем мире?..

Благодаря гулкой акустике, особенно в теплые дни, когда все окна раскрыты, можно было слышать диалоги обитателей нашего дома: все одни и те же шутки, споры, перебранки, шум спускаемой воды, надсадный кашель... Но иногда в послеобеденные часы во дворе становилось тихо, словно перед грозой. И в этой неожиданно возникшей тишине, как будто принесенный откуда-то ветром, возникал и плыл в пространстве дуэт мандоли-

ны и гитары. И если встанешь в этот миг у окна, уставясь в кусочек неба над головой, то кажется, что движешься вслед за бегущими облаками.

Музыкальный дуэт замирал, и одинокий тоскующий женский голос заполнял все вокруг:

— Мы сегодня расстались с тобою без ненужных рыданий и слез. Это лето внезапной грозою над моей головой пронеслось...

В центре двора, окруженные толпой ребятишек, стояли уличные музыканты. Весь вид их: небрежно накрашенный рот певицы, переброшенный через плечо шарф, серебряные перстни на желтых пальцах седого гитариста — все выглядело приметами другого мира, далекого от тусклой жизни. Они смотрели перед собой, ни на кого не глядя, как бы находясь на подмостках сцены. Даже в жесте руки, швыряющей медную мелочь в кожаную кондукторскую сумку, было видно пренебрежение к данному моменту. Все как бы говорило: «Да, я унизился до положения нищего, я беден... Но я горд, ведь я артист, и пускай не скоро, но впереди у меня огни рампы и, может быть, даже ослепительная слава...»

Сыграв в заключение «Турецкий марш», музыканты скрывались в подворотне, о чем-то переговариваясь, а через минуту из соседнего двора доносился рефрен все того же теребящего душу романса...

В ту далекую пору люди, безумно уставшие от войн, тянулись к музыке, к интимной песенке. Ведь не только радио не было, даже патефоны — распространители моды — появятся через десять лет.

«Ходить по дворам» не считалось зазорным даже среди хороших музыкантов. Как и в лучшие времена, они собирались на «сыгровки», заботились о свежем репертуаре, раздобывали нотные новинки, дефицитные струны...

Все это, конечно, не означало, что, подготовив несколько номеров, можно было сойти к себе во двор и

отыграть весь репертуар впервые прямо здесь, а затем пуститься дальше по своей же улице. Нет, промысел артистов отличался некоторой скрытностью. Стыдливо пряча под полой инструменты, они отправлялись подальше от родного жилья, намечая отдаленные районы. Даже близкому другу Володьке Куликову я не мог признаться, что мой отец тоже зарабатывает хлеб этим занятием...

Бывало и так, что концерт во дворе принимал чересчур затяжной характер.

Где-то неподалеку от нас жил сморщенный маленький китаец, ходивший в засаленном ватнике. Он усаживался на скамеечке и долго тиранил слух игрой на самодельной скрипке. Хозяйки принимались стучать кастрюлями, переговаривались через двор... А он все играл, не слыша ничего, кроме своей мяукающей скрипки.

И вот наступала тишина. Но ненадолго. На месте китайского скрипача расставлялись со стуком походные стулья — выступало трио известных братьев-цимбалистов Полянских.

Цимбалисты играли виртуозные пьесы, вроде «Чардаша» Монти, или исполняли что-нибудь модное: «Девушку с глазами дикой серны полюбил суровый капитан...» И пока в ушах дрожали звуки последних аккордов, из подворотни выкатывалась чья-то неуклюжая фигура. Это был человек-оркестр! Сразу даже не сообразишь, на скольких инструментах одновременно играл этот феномен. Все у музыканта было налажено и держалось накрепко на своих местах: в барабан били колотушки, привязанные к коленям, тарелки помещались под локтями, баяном были заняты руки, а головой он потряхивал, когда должен был слышаться звон бубенцов...

Чем дольше тянулся такой концерт, тем мизернее было вознаграждение последних исполнителей, все реже летели на асфальт медяки, завернутые в бумажку...

* * *

Поздно вечером, когда все затихало и над домами стояла белая ночь, у ворот собирались небольшие компании жильцов. Они тихо беседовали, вспоминали, кто и где когда-то работал, словно речь шла о древней старине.

Отец мой тоже посиживал у ворот. Вспоминал свои военные дороги, старался заглянуть в будущее — какое оно? На Биржу ходить он закаялся. Не было смысла маячить там с утра до вечера. Очередь наборщиков не сокращалась. Уж лучше стать вольным охотником, поверить в собственные силы и счастливый случай.

— Ни на бога, ни на кóго, а на свой на кислый квас! — как говорил дядя Саша.

Вот тут вскоре и началась пора нашей осенней охоты.

Перед тем как выходить из дому, отец распахивал окно и, сняв рубашку, мгновенно синел от холода. Он делал несколько резких движений руками — вверх, вниз, в стороны, а потом молотил воздух кулаками... В те времена редко кто занимался гимнастикой, и на меня эти упражнения производили впечатление, как если бы отец принял мусульманскую веру и каждое утро совершал странный обряд. Заниматься зарядкой приучил отца на фронте его друг Мягер — могучий швед великанского роста с квадратным подбородком, тоже шофер-механик из бронеотряда. Я надеялся, что гимнастика поможет и когда-нибудь отец сделается таким же, как Мягер, силачом. Наблюдая его, я сам делал для вида несколько приседаний. Попрыгав через скакалку, мы в бодром настроении отправлялись в путь-дорогу.

Мы выходили, как спортсмены, — в любую погоду, не забывая захватить сверток с ломтями хлеба, намазанного «жароваром», — это был суррогат масла. Важнее всего была система и уверенность в успехе. Отец не



хотел оставлять меня одного дома, а может, рассчитывал: если нас двое, то и повезет вдвойне.

Переполненные трамваи, отчаянно звеня, мчались мимо, обвешанные гроздьями безбилетников, а нам торопиться было некуда и всегда находилось о чем поговорить. Отец меня подбадривал шутками и поговорками, вроде: «Кто любит трудиться — тому дома не сидится»... И даже сообщал приметы, представлялся жутко суеверным.

— Вот священник навстречу идет. Прекрасная примета!

Счастливыми приметами считалась у нас и черная кошка, и тетка, попавшаяся навстречу первой, когда выходишь из дома.

Маршруты у нас менялись часто, они были сложны и запутанны, я не переставал удивляться, как это отец находит адреса маленьких типографий (они назывались у наборщиков «типушками»), ведь у него не имелось даже записей в блокноте.

Никаких вывесок или табличек, указывающих, где помещается типографское заведение, не существовало,

так что отыскать предприятие было не просто. Только пройдя через лабиринт проходных дворов, вы могли услышать сквозь зарешеченное окошко полуподвального помещения щелкающий стук «американки» или однообразный, как шум прибоя, накат плоскопечатной «милевской» машины.

Каждый день мы появлялись в новых, еще не виданных местах: то на Гутуевском острове, то в Коломягах... Вот мы проходим над взъерошенной Невой по мосту Петра Великого, как все называли тогда Охтинский мост. Он суживается вдаль, будто глядишь в перевернутый бинокль. Диву даешься, как соорудили такую громадину!

Через какой-нибудь час нам пришлось тем же путем возвращаться домой: типография, куда направили отца, была «временно» закрыта. И опять мы брели через пустынный мост, поглядывая, с какой быстротой несется внизу река.

Добрались мы однажды и до таинственного острова Голодай.

Мне-то думалось: Голодай — это потому, что там на острове пустыня голая, которую облизывают со всех сторон жадные волны. А оказалось, такие же серые дома и булыжные мостовые. В одном из домов помещалась типография с чугунным барельефом над входом. Длиннобородый старик держал в одной руке книгу, в другой — свернутый в трубку манускрипт.

— Ну что, не узнал? Эх ты, да это же Гутенберг! — Отец произнес это с таким укором, словно старец был нашим близким родственником и я должен был узнать его с первого взгляда.

Но даже личное знакомство с Гутенбергом не помогло, в конторе висело объявление, что рабочая сила не требуется.

Вернулись мы снова домой ни с чем. И все-таки не пал духом мой непоседливый отец. Назавтра мы шагали

уже в противоположном направлении, и мое знакомство с городом продолжалось.

Отец, конечно, не мог назвать имена зодчих и ваятелей, великих создателей Петербурга, ведь он же был всего-навсего наборщик. Однако он рассказывал историю создания Медного всадника, показывал, где стояли на Сенатской площади декабристы и где царские пушки...

Бывало в отцовских рассказах много неожиданностей, и что-то, по-моему, он придумывал к подходящему случаю.

— Давай-ка заглянем сюда, ведь в этом доме жил Петрович! — Мы проходили в это время вблизи Никольского сада и свернули во двор домишка на Екатерингофском проспекте.

Мы поднялись по широким ступеням сильно закопченной лестницы. Именно здесь проживал одноглазый портной Петрович, заказчиком у которого был не только Башмачкин, но и сам Гоголь. Так ли это было, кто знает? Может быть, и жил тут в мансарде какой-то портняжка... Но только услышав на лестнице шаркающие шаги, я ни чуточки не удивился, ожидая, что перед нами предстанет сам Акакий Акакиевич в истершейся шинели...

Из темноты появилась бабка, похожая на старую щуку. Она остановилась на площадке и уставилась на нас с подозрением — не собрались ли мы похитить электрическую лампочку, заключенную в проволочную сетку. Вполне обычной в то время была надпись на лампочках, нанесенная несмываемой краской: «Украдена в жакте № ... такого-то района».

Забыв вмиг о Петровиче, мы припустились вниз по лестнице...

Узнавал я от отца многое из жизненных его наблюдений. Вот, помнится, отдыхаем в сквере на Исаакиевской площади.

— Читай вслух,— говорит он, кивая в сторону четкой надписи над гранитной колоннадой Исаакия.

— Храм мой храм молитвы наречется,— читаю я давно уж известную мне фразу.

— Верно. А в конце там что? Точка. Ну и что мы узнаем из этого не мудрого изречения? Да ровно ничего, просто — храм мой называется храмом. Чушь и бессмыслица. А в Евангелии совсем другой коленкор. Там разгневанный Иисус, изгоняя торгашей, восклицает: «Дом мой — храм молитвы наречется, а вы хотите сделать из него вертеп менял и спекулянтов!» Ну, конечно, если бы не точка, такая надпись была бы хорошей оплеухой всем, кто нажил барыши на постройке собора. Храм — и точка!..

Отец мой знал историю книгопечатания, любил свое дело. Однажды он разжег мое воображение рассказом о том, как появилось на свет искусство литографии.

...У молодого человека было причудливое, но запоминающееся имя. Его звали Алоизий Зёнефельдер. Мне не привелось увидеть портрета Зёнефельдера, где отец литографии представлен в достойном виде. Однако в моем воображении личность Алоизия совпадает с известным рисунком Федотова «Юноша с бутербродом». Напомню, что там изображен молодой человек в цилиндре, стоящий возле трактирной стойки. В левой руке у него надкусанный бутерброд, а правая приподнята в пренебрежительном жесте...

Так же, как большинство гениальных открытий, появление литографии началось с пустячного анекдота.

Юный кутила художник Зёнефельдер (1796—1873) сидел вечером в кабачке, окруженный собутыльниками. Лениво дожевывая бутерброд (эта деталь необходима, чтобы подлинная личность Алоизия совместилась с федотовским образом), он рисовал жирным карандашом прямо на скатерти физиономии своих веселых друзей.

— Закрываем! — сказала подавальщица и сдернула со стола испачканную скатерть.

Алоизий тотчас нарисовал на каменной поверхности столика профиль девчонки. Все так и ахнули — шарж был на редкость удачен. Девушка вернулась и мокрой тряпкой стерла рисунок, но жир мягкого графита уже впитался в податливый камень.

Потом гуляки раздобыли еще бутылочку, горланили песни, чьи-то засаленные рукава елозили по столу, и рисунок на камне вдруг ожил, словно его закатали краской. И когда Зёнефельдер случайно прижал к рисунку листок бумаги и сразу отлепил — на листке появился отпечаток изображенной хорошенькой головки! Он повторил опыт — и получил еще один оттиск...

Ну, а там уж начались опыты посложнее, и в скором времени литография, то есть способ печатания с плоского камня, стала достоянием человечества.

После этого рассказа не терпелось побывать в настоящей литографии, взглянуть на чудодейственные плиты, попробовать нарисовать что-нибудь и тут же напечатать...

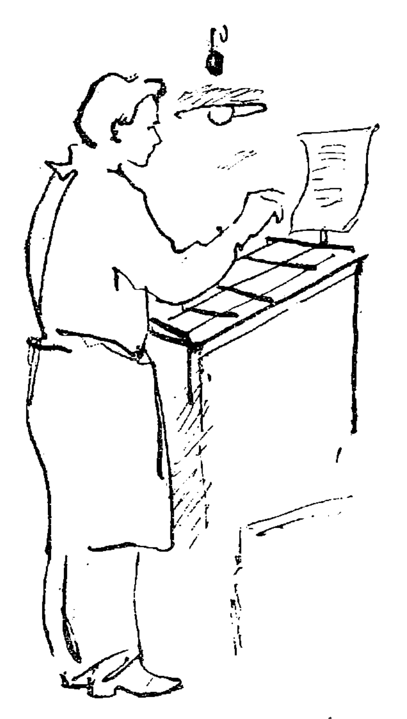
Не могу сказать, что всегда было весело совершать наши длинные и утомительные походы. Очень долгим оказывался обратный путь к дому.

И все-таки я верил — Надежда на широких крыльях, с трубой, приложенной к губам, летела над нами, указывая путь. Иногда мы замечали ее изображения то на фронтоне театра, то на каком-нибудь памятнике.

Порой казалось, что удача вот-вот, рядом. В типографских конторах говорили: «Где же вы были вчера? Как раз утром взяли двух наборщиков...»

Желая сделать передышку, отец заходил вместе со мной в наборный цех. Здесь говорить разрешалось шепотом, а лучше вообще помалкивать. За высокими ящиками реалов стояли наборщики, набирая по буковке в верстатку, зажатую в левой руке. Лица сосредоточенны

и зелены от света изумрудных стеклянных абажуров.



Я уже знал, что наборщики — это Всемирная Свинцовая Армия. Было известно, что наборщиком может стать не всякий, что работа их почетна, хоть и опасна из-за свинцовой пыли, которой они дышат день за днем, наклоняясь над кассами, похожими на соты. Надышатся, а потом умирают в больнице от чахотки.

«Вот вечер вечереет, наборщики идут, а бедную Марусю в больницу отвезут...» Кому не известна была эта унылая уличная песенка? А мне думалось, что Маруся отравилась свинцовой пылью, раз там в песне грустно расходятся по улицам наборщики...

Замечу, что женщин в наборщики не принимали, даже и представить себе такое было невозможно. Работа в наборном цехе считалась чисто мужским делом. А наборщики, хоть и казались строгими, погруженными в молчаливый труд, были в большинстве веселые, душевные люди. К отцу подходил метранпаж:

— Знаешь, Нуждин сегодня не пришел, заболел, должно быть. Поработай за него, а там увидим, может, и завтра не явится.

Отец скидывал пальто и облачался в черный халат Нуждина, настоящая фамилия которого была Вешняков. Нуждиным, или Нуждой, его прозвали за привычку жаловаться на сварливую жену, на плохие заработки, на отсутствие калош...

Клички наборщиков приклеивались накрепко, раз навсегда. Деревнина все называли Крестьянином не только из-за фамилии,— у него за городом имелся домик с козой и капустными грядками. Грубоватый и горластый Жильцов за свою страсть командовать и понукать был окрещен Управдомом и откликался на свое прозвище не обижаясь.

Здесь любили устраивать язвительные розыгрыши придирчивым заказчикам, а чаще всего провинившимся коллегам. Тяжело было бедняге наборщику, прогулявшему два дня по сомнительной причине, возвращаться в свой цех.

Появление заблудшей овцы встречалось заунывным панихидным пением. Откуда-то из дальнего угла затягивал чей-то бас профундо:

— Инок благочинный пропил тулуп овчинный...

Хор подхватывал:

— Огорчительно, огорчительно, о-гор-чительно-о-о!

И снова бас:

— А очнувшись в понедельник, вновь напился наш бездельник...

Опять хор:

— Омерзительно, омерзительно, о-мер-зи-тельно-о-о!

Шуточные молебны и анафемы такого рода были распространенной цеховой традицией.

Мне очень нравилась обстановка типографии. Я вдыхал с удовольствием возбуждающий дух красок, навсегда запомнились круглые банки «Бергер и Вирт» с яркими наклейками всех цветов. А как вкусен крепкий настой запахов олифы, декстрина, машинного масла. Сидя где-нибудь в конторке, я рассматривал толстые каталоги

словолитни Лемана, где было множество книжных украшений, буквиц, фигурных линеек...

Приятна была успокоительная тишина, чистота и сухое тепло наборного цеха. Даже нехитрая работа парнишки-тискальщика, разносившего полотнища свежеоттиснутых гранок, казалась мне важной и ответственной.

Уже тогда узнал я, что такое шпация, марзан и для чего наборщику шило. Так уютно было сидеть где-нибудь на окне за реалом в ожидании, когда отец справится с работой и мы пойдем обедать.

Помнится, выходя однажды из типографии, я нащупал в кармане пальто что-то твердое, оказалось, это маленькая, почти окаменевшая булочка с изюмом, и еще нашлась в конверте записочка: «Как для друга и для брата — вот те булка в 3□!» А вместо подписи — ухмыляющаяся рожица. Кто-то из наборщиков, постеснявшись угостить меня подсохшей булочкой, незаметно подложил ее мне в какой-то момент. А шутка, что булка величиной в три квадрата, была мне вполне понятна. Ведь типографская мера величины — квадрат — равняется почти двум сантиметрам.

Случалось, отец мой попадал в полосу недолговременных удач: то приходилось выручать кого-то и работать в ночную смену, или требовался работник «на полставки». Сегодня в ночь он работал «у Брокгауза» в Прачечном переулке, а через день бежал на Лиговку к «Каспари». Хорошо, если место было поблизости, но ведь случалось мчаться куда-нибудь на Большую Болотную, о существовании которой мы до сей поры и не слыхивали.

* * *

Бродяжничая по городу, мы встречали знакомых отца, таких же озабоченных трудной жизнью. Отойдя в сторону от движения, где нибудь у витрины кафе, они

предавались воспоминаниям, сетовали на безработицу, а мне приходилось томиться у поручня витрины, разглядывая всюду одинаковое убранство: в окне стоял накрытый скатертью маленький столик с игрушечным чайным сервизом и крохотные стульчики вокруг стола.

Неизвестно, по какой причине пооткрывались в те годы не столовые, не закусочные, а кафе. Часто это словечко было написано на стекле витрины латинскими буквами: «CAFE», словно в городе полно иностранцев, рыскающих в поисках, где бы утолить жажду чашечкой ароматного кофе.

Однажды брели мы в туманный день по бесконечной Садовой улице. На углу Екатерингофского сквозь забрызганные дождем витрины светились огни люстр, и в каждом окне стоял миниатюрный столик с игрушечной посудой.

— А давай зайдем! — вдруг сказал отец.— Согреемся, обсохнем, чайку выпьем...

Мы вошли в небольшое чистенькое зало с зеркальными стенами и кафельным полом. Между пальмами в кадушках было возвышение вроде эстрады и стояло пианино.

В кафе попал я впервые и, осмотревшись, не нашел того, чего ожидал. Все здесь нарядно: зеркала, цветы и прочее... Но в общем-то ничего, кроме самой что ни на есть обыденности. Не видно беззаботных прожигателей жизни и роскошных дам в шляпах с перьями, а в пространстве зеркал однообразно повторяются три-четыре стола, за которыми сидят молчаливые люди, бренчат ложечками, прихлебывают чай из липких стаканов.

Я присматривался к обстановке и все надеялся, а вдруг как раз тут и разыграется то самое пари, о котором столько раз я слыхал от знакомых мальчишек.

Но здесь понадобится разъяснение. Ведь совсем недавно в продаже появились пирожные. Это было удовольствие сказочно дорогое. В магазинах Лора стоял

такой одуряющий дух, что ну просто хоть режь этот спрессованный аромат ломтиками и отправляй в рот. Покупатели теснились перед застекленными прилавками, обсуждая достоинства маленьких шедевров.

В продавщицы принимались исключительно хорошенькие девушки. Они двигались за прилавком грациозно, были снисходительно вежливы и все блистали опереточной красотой.

За толстым стеклом поблескивали спинки эклеров, вспучивались клубами крема пирожные с марципаном и ромом, с миндальной стружкой и земляникой...

И вот тут-то возникал вопрос: сколько ароматных эклеров и безэшек можно было поглотить одно за другим? В ресторанах и кондитерских вспыхивали пари на крупные суммы — может ли человек съесть в один присест десять пирожных, и каких именно: сухих или с кремом, с «запивом» или без «запива»?

Ведь только чтобы расплатиться за десяток пирожных, надо было иметь немалые деньги.

Вот я и прикидывал — кто же из сидящих способен затеять такой спор? Посетители входили и выходили, ничего такого не намечалось.

Зато вскоре я заметил кое-что совсем неожиданное. Плюшевая портьера с бомбошками, закрывавшая незаметную дверь, сдвинулась, и в проеме появился человек, одетый как будто для маскарада. Он улыбался, круглые глаза его блестели, как маслины. На нем была полосатая (белая с красным) рубашка, заправленная в узкие синие брюки, а талию опоясывал малиновый кушак. На черных волосах как-то лихо, набекрень, сидела яркая шапочка с шелковыми лентами, которые спускались на плечо.

Удивительный человек приближался к нам, скользя по шоколадным кафельным плиткам, прищелкивая кастаньетами, и все шире улыбался. Отец, заметив мое изумление, обернулся и вскочил.

— Антонио, чтоб тебя...— сказал он тихо.— Вот это сюрприз!

— Феодо́ро, Феодо́ро,— заговорил черноглазый, тряся изо всех сил руку отца. Он хлопал его то по спине, то по щеке, впрочем, добродушно. Поймал взглядом официантку и распорядился, указывая подбородком в мою сторону: «Пирожное для мальчика, только быстро, я угощаю!»

Через минуту он обратился ко мне с усмешкой:

— Ты слышал, как поет маленькая птичка соловей? (Он произносил пити́чка.) Да или нет? Тогда смотри вон туда! — Антонио совершенно серьезно указал на пыльную верхушку пальмы... И тут он вдруг защелкал, засвистел, а потом залился соловьиной трелью, да так натурально, что посетители приподнялись со стульев. Впечатление было такое, словно в помещение впустили голосистых птиц и в прокуренном воздухе на какой-то миг запахло свежестью леса.

Потом я расправлялся с многослойным, как бы многостраничным, осыпающимся на тарелку «наполеоном», а отец и его удивительный приятель были захвачены беседой. Говорили, перебивая друг друга, вспоминали неаполитанский оркестр, где познакомились задолго до войны. Не случайно отец наигрывал «фуникули-фуникула» и другие итальянские песенки...

Стараясь не привлекать внимания, Антонио говорил сдавленным голосом, произнося шипящие с присвистом, что заставляло поневоле прислушиваться к нему с особым интересом. Затем он подхватил отца под локоть и потащил его к пианино. Там в тени пальм они закончили разговор. Было решено: завтра репетиция. Отец будет работать среди блеска зеркал и сияния люстр вместе с этим чудесным итальянцем.

— А ведь мы нашли тебя случайно,— сказал отец.

— Как же? А это разве не заметили? — удивился Антонио, кивая с гордостью на печатную афишу у самой

двери. Там крупными буквами «египетским» шрифтом значилось:

СЕГОДНЯ И ЕЖЕДНЕВНО КОРОЛЬ СВИСТА АНТОНИО. НАЧАЛО В . . . ЧАС. ВЕЧ.

Так отец сделался аккомпаниатором при короле.

Он никогда не был профессиональным музыкантом, но, обладая хорошим слухом, испытывал непреодолимую тягу к музыке. Десятилетним мальчуганом играл по воскресеньям на катке, сидя в раковине оркестра за малым барабаном. Потом выучился играть на мандолине и гитаре, немного на трубе и даже на рояле.

Имелась у нас дома старенькая, много раз клеенная виолончель, называемая в шутку «Виланча́». Она всегда пребывала на шкафу, если не находилась в ломбарде. Ее просторный балахон с крупными костяными пуговицами сильно обтрепался и выглядел, как платье безработного человека.

Помню, с каким упоением отец разыгрывал какой-нибудь отрывок пьесы Тартини. Я смотрел, задремывая, как он водит смычком, раскачиваясь в такт музыке, как прижимает к грифу струны, и кисть руки дрожит от напряжения, скользя сверху вниз... И мне представлялось, что вот я вырасту и мне придется так же сидеть с трясущейся на грифе рукой, обнимая виолончель и прислушиваясь, как поет она почти человеческим голосом.

В стародавние времена дед Фома считал музыку пустой забавой и отдал сына в типографские наборщики. Это было хорошо оплачиваемое ремесло. По праздникам наборщики ходили в шляпах и высоких воротничках, они пили пиво Дурдина и водили подружек в сад «Аквариум».

Однако ничто не могло помешать отцу увлекаться музыкой, он отыскивал любую возможность и свободное время использовал, чтобы научиться играть на чем только возможно.



Кто знает, может быть, из него получился бы неплохой музыкант, если бы не шальной фашистский снаряд, что накрыл внезапно троих или четверых прохожих, среди которых был и отец, на перекрестке у Пяти углов в блокадную зиму 1942 года.

Переходя в этом месте Загородный проспект, я и теперь каждый раз незаметно для всех снимаю шапку, делая вид, что поправляю сбившиеся волосы...

Итак, в зеркальное кафе на выступления Антонио ходить я стеснялся, к тому же надо было держать в секрете от знакомых сомнительное, как мне казалось, место работы отца.

Король свиста был, конечно, великолепен. Его неаполитанский репертуар состоял из эффектных номеров. Все свои песенки — «О, маре кьяре», «О, соле мио» и другие — он исполнял с огнем и восторгом, перемежая слова виртуозным подсвистыванием. Он выбивал дробь каблуками и прищелкивал кастаньетами, исполняя что-нибудь совсем уж не итальянское: «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт...»

Скоропалительная речь Антонио была прослоена итальянскими шутками и пословицами: «Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра», или: «Когда волна в зад хлестнет, сразу плавать научишься».

Вот такой был король, ребячески наивный, развеселый дон Антонио.

* * *

Я провожал отца на работу. Репетировали они там же в кафе, где утром столики щетинились ножками перевернутых стульев.

Мы шли по Первой роте, сворачивали к Фонтанке и, перейдя Измайловский мост, оказывались возле Александровского рынка.

Вот где жизнь кипела ключом, в какую бы погоду вы сюда ни явились! Сплошь заполняя набережную Фонтанки и дальше — весь Малков переулок, с утра и допоздна здесь кишела тьма всякого торгующего люда.

На неустойчивых столах и прилавках вдоль по набережной дымились самовары, жаровни, печурки, прослаивая толчею угарным чадом жареной колбасы, воблы и пирожков на конопляном масле.

Сюда, в этот универмаг под открытым небом, стекались и покупатели, и торговцы со всех концов города. Все здесь дышало надувательством и обманом. И упаси вас боже приобрести на этом торжище хоть что-нибудь за ваши трудовые деньги...

Вот только что вы прикинули на себя, достаточно ли длинны по вашему росту элегантные брюки в полоску, и, вернувшись домой, разворачивали с гордостью свою покупку перед домашними... Но что это? В свертке оказывалась искусно завернутая всего одна, да, да, одна единственная штанина!

А пальто — модное, ворсистое, такое изящное, глубокого черного цвета, ладно сидевшее на фигуре... Попав под первый дождик, оно обвисало на плечах, как мокрая тряпка и вместо черного обретало свой натуральный — седоватый, мутно-розовый цвет...

Трудно сказать, чего только нельзя было здесь купить и чем отвести душу.

В случае, если вы оказывались азартной натурой, то, не покидая Александровского рынка, могли познакомиться с новинками карточной игры. В толпе сновали шулера и их пронырливые помощники. Какой-нибудь простофиля втягивался в игру, где кошка давала выиграть мышке... и иногда весьма значительно. Однако уйти с выигрышем отсюда не удавалось никому.

Если карточная игра была не по душе, можно было попытать счастья в стрелковом тире. Удачное попадание! Вы заглядывали в список на стене и получали соответствующий цифре выигрыш — бумажный китайский веер или пару шнурков для обуви. Главные же выигрыши — бутылка ликера Какао-шуа или ваза с амурами — стояли незыблемо на местах, сколько бы ни продолжался обстрел мишеней.

Всюду были расставлены беспроигрышные «лотереи аллегри» и «колеса счастья». Наконец, за гроши счастье мог вытянуть клювом из коробочки попугай, сидевший на крышке шарманки. Развернув бумажную трубочку, вы узнавали, что вас ожидает большая радость в личной жизни. Особенным развлечением спекулянтов было околпачивание деревенского человека.

С помощью помощников тертый мошенник предлагал («по случаю, по дешевке») золотые, 96-й пробы («вот она, проба, на крышке!») часы на 24 или 36 камнях,— чем больше камней, тем ценнее... Пока шел торг, часы шли исправно, как только покупатель опускал их в карман овчинного полушубка, останавливались навсегда...

Но... скорее прочь из этого жуткого сборища, сквозь глумливую, жующую толпу... Мы выходили на Фонтанку, где дышалось легче.

Книжных развалов на широком пространстве Александровского рынка было два или даже три. Самый обширный располагался как раз со стороны Фонтанки. Было бы правильней называть их книжными разливами.

Это были не огражденные ничем белые озера среди кишмя кишащей толпы.

Книг было невероятно много, и стоили они дешево. Покупателей хватало, они толпились и теснили друг друга со всех сторон, объедая с краев этот громадный бумажный пирог. Книги в большинстве были зачитанные, пострадавшие от жизненных передряг. Не существовало никакой системы в том, как они были разложены на задубелых полотнищах брезента, и найти что-нибудь определенное удавалось случайно, основательно перекопав книжные пласты.

Книгопродавец был дельцом, умеющим заработать, но был и толмачом, консультантом,— разве мог он не знать, что продает?..

— Хм, «Бюг-Жаргаль»...— говорил покупатель с сомнением, взвешивая на ладони книгу.— А из какой это жизни?

И продавец без промедления, в двух-трех словах давал исчерпывающую (и, конечно, одобрительную) характеристику.

— А это что за вещь — без названия? Как же это вы продаете, а что — неизвестно?

— Как неизвестно,— сердился торговец,— вот, сейчас...— и, пропустив через пальцы сотню страниц жестом ловкого картежника, заглядывал в середину потрепанного тома и говорил: — Вот и название «Железный пират», сочинение Пембертона.

— Да она, вдобавок, еще и без конца? — вопрошал покупатель.

— Ну, что ж, десятка страниц не хватает, так ведь и цена ей половинная.

Сделка кончалась тем, что увечная книга отправлялась за пазуху к новому хозяину.

Но радоваться тому, что вот оно — пришло долгожданное времечко, когда мужик не «милорда глупого с базара понесет...», было, конечно, преждевременно.

Кто помнит сейчас в наше время хотя бы одно произведение авторов тех замусоленных книжек, составлявших основную массу книжного рынка? Вот несколько имен, примелькавшихся по корешкам переплетов на полках библиотек: Пшибышевский, Засодимский, Юрий Слезкин, Шеллер-Михайлов, князь Волконский, Брешко-Брешковский... Один только Вас. Ив. Немирович-Данченко выпустил в свет 40 томов своих повестей и романов...

Поиски чего-нибудь необыкновенного мы начинали с разных концов развала, постепенно сближаясь к середине.

— Посмотри, я хотел бы вот эту,— и я подавал отцу на пробу найденную книжку, манящую обилием лихо нарисованных французским художником картинок.

— Ну что ты,— говорил он спокойно,— это тебе еще рано.

И я не настаивал, зная, что отец всегда прав. Я чувствовал, что он старается направить мой вкус, что ему по душе мое тяготение к книгам.

Мой отец, так же, как в свое время и его отец, не задумывался о том, чтобы дать сыну высшее образование. Может быть, потому, что вековечная забота о хлебе насущном была первостатейным делом. Да и не было оснований заглядывать в недоступную даль, где высился в окружении золотых облаков купол Академии художеств или здание Двенадцати коллегий... Важно было, чтобы я самостоятельно набирался ума: книги, мудрые книги дадут все необходимые знания. Да, да, хорошие книги и хорошие друзья — вот что для человека главное в жизни... И еще необходимо, чтобы я был всегда обеспечен живой, неизнурительной работой...

А любимое дело — рисование? Об этом никто всерьез не думал, даже дядя Саша, сам выучившийся благодаря случаю у какого-то костромского художника.

— Наш дом — типография,— любил приговаривать отец с какой-то гордостью.— Вон какая библиотека у Карвасиная, а ведь он всего лишь наборщик. Какие у него картины! — Лагорио, Маковский! А книги? Энциклопедия Граната, брокгаузовские издания...

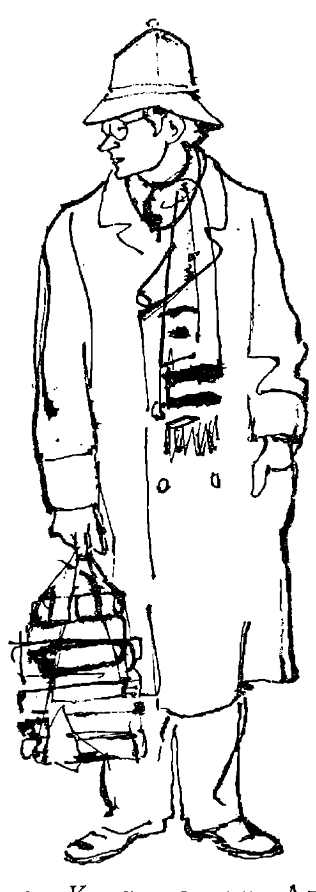
Для себя отец покупал книги редко, исключительной его страстью были иллюстрированные журналы.

Так вот мы и пропадали часами в книжных сугробах, пока я не подбирал для себя какой-нибудь комплект «Задушевного слова» за 1914 год или роман Луи Буссенара...

В многочисленных лавочках Александровского рынка со стороны Вознесенского (ныне проспект Майорова) сидели букинисты — потомственные библиофилы. У них можно было приобрести целую библиотеку или заказать исключительно редкую книгу. В одно мгновение букинист мог безошибочно назвать подлинную стоимость старинного фолианта, мог потолковать с вами и о качестве перевода. Сквозь тусклые окна и стеклянные двери лавчонок были видны застывшие в неудобных позах фигуры покупателей, читавших книги стоя или ползавших с помощью лесенок по верхним книжным полкам.

В одну из лавочек покупатель входил как в салон какого-нибудь коллекционера. Даже лампа горела здесь в искрящемся хрустальном шаре, оправленном в бронзу. Хозяин магазинчика, полный, малоподвижный, с одутловатым лицом, был сам похож на художника из-за длинных волос, висевших, как собачьи уши. Книги, стоявшие в витрине и на полках, были сплошь великолепные издания с красочными репродукциями, монографии великих мастеров искусства, альбомы с золотым обрезом...

Я понимал, что в этом магазине даже прицениваться к чему-нибудь нелепо. Ведь едва перешагнув порог, нежелательный посетитель сразу натыкался на пристальный, упирающийся в грудь взгляд хозяина, который ясно



говорил: «Ну, что еще? Посмотрел и уходи! Да поскорее, не задерживайся...»

Среди прочих букинистов внимание привлекал загадочный человек, не снимавший даже в своей лавочке тропического шлема, который из-за двух козырьков — спереди и на затылке — назывался «здравствуй-прощай». Впрочем, так все называли и самого книготорговца.

Каждое утро, освободив окна от ставен и отперев дверь, Здравствуй-Прощай снимал с полки какую-нибудь объемистую книгу и погружался в чтение. Вызвать к жизни его не мог даже колоколец над дверью, сигнализировавший о приходе покупателя.

Ужасно хотелось поближе с ним познакомиться, узнать тайну его тропического шлема, послушать рассказы о дальних странах, загадочных приключениях.

Знакомство с этим человеком было бы не менее дорого, чем, скажем, с самим Редьярдом Киплингом или Александром Дюма (отцом, конечно). А пока что можно было зайти в его сильно захламленную лавку и осмотреть его владения.

В глубине помещения, прикрывая вход в заднюю комнатку, где топилась «буржуйка», стоял мольберт, устав-

ленный акварелями, а на прилавке, среди пестрой суеты обложек, я вдруг увидел книгу — и ахнул от счастья: я давно за ней охотился. Книга называлась «Юные дикари» и принадлежала перу Э. Сетон-Томпсона, того, что написал моего любимого «Ральфа в лесах». Она была с яркой картинкой на крышке переплета и выглядела новехонькой.

Кто не читал в детстве этой книжки, тот никогда бы не узнал, как построить вигвам в лесу, как найти в непролазной чаще дорогу без компаса... Здравствуй-Прощай прихлебывал кофе из маленькой чашечки и что-то читал, сладко улыбаясь.

Я снял книгу с прилавка и наскоро пересчитал накопленную специально для покупки медную мелочь, затем с осторожностью приблизился к тропическому человеку. Кряканья и покашливанья не произвели на него никакого впечатления, и я стал покашливать сильнее. Не в силах прекратить этот нервный кашель, я дошел совсем уж до слез.

Тут, наконец, хозяин оторвался от своей книги, лицо его сразу сделалось суровым.

— Мальчик, эта книга не про-да-ет-ся,— произнес он сквозь зубы категорично и, отвернувшись, опять углубился в чтение.

Страшно огорчившись, я выбрал томик рассказов капитана Мариэтта и подошел снова, сжимая в ладони влажные деньги.

Букинист со страхом уставился на меня круглыми совиными глазами. Он изменился в лице, увидев, что я еще не ушел и вдобавок хочу унести из его лавочки какую-то книгу.

— Мальчик, здесь книги не продаются! Вот так! — воскликнул он каким-то железным голосом, и едва я очутился на улице, как он уже подскочил к двери и, кривя от злости рот, повернул ключ в замке, решив не пускать кого бы то ни было...

И только тогда я заметил, что «Юные дикари» каким-то образом выглядывают у меня из-под мышки.

На следующий день отец пошел и расплатился за Сетон-Томпсона.

Бывало, во время наших скитаний отец заходил в «Ямку», а мне со связкой книг приходилось ждать его у входа. «Ямкой» называлась большая пивная, занимавшая два смежных подвальных зала напротив Александровского рынка на Вознесенском проспекте. Само название предупреждало о том, что место это опасное.

Днем «Ямка» была полупустым гулким помещением, как и все подобные заведения. От пола пахнет мокрыми опилками, на столах в блюдечках соленый горох, на стойке ваза с бумажными розанами.

В бильярдной «Ямки» служил маркёром Ваня-Нос. Так его называли в отличие от Вани Карвасиная (наборщика) и от Вани с «Пирлеса». (Пирлес — скорее всего было переводом с английского «PEERLESS». Должно быть, такую марку имела машина, которую водил этот третий Ваня). А Ваня-Нос был отцовский фронтовой друг и, по рассказам друзей, храбрец, каких мало. Вражеская пуля отстрелила ему самый кончик носа — отсюда и прозвище. Внешность бывшего солдата очень портил этот недостающий кончик носа, ведь всего-то не хватало малюсенького полушария, размером с половинку ореха фундука. Думаю, что он был бы просто красавец, если б не этот маленький недостаток. «Наверное, потому он никогда и не женился»,— думал я, поглядывая на лицо, в котором недоставало ничтожной малости, но такой, оказывается, значительной Ваня еще и сильно прихрамывал — в результате другого ранения у него одна нога стала короче другой.

После войны Ваня-Нос стал владельцем сразу двух велосипедов, но, как ни просил его отец, даже во имя военной дружбы не соглашался уступить нам тот, что похуже.

Ваня-Нос уклонялся от велосипедной темы, он начинал вспоминать фронтовые встречи и разные невероятные случаи, угощал отца сухарным квасом или черным портером. Мне вспоминается весеннее утро, щебет воробьев на дворе, веселое бульканье капели... Ваня занимается починкой велосипеда, а мы с отцом сидим на солнышке, слушаем его шуточный говорок. Рассказывал он складно, но когда волновался, то начинал заикаться и рассказ перебивался досадными паузами.

— Случилось так,— рассказывал он,— что однажды, ненастной осенью девятнадцатого года, на расхлябанной степной дороге красный броневик «Народоволец» безнадежно отстал от отряда. Вокруг однообразно тоскливая равнина, дождик сеет, как из лейки, стоит броневик по самые оси колес в топкой глинистой луже, ворчит, буксует... А за спиной, в какой-нибудь полуверсте,— хуторок, подозрительно притихший. Безлюдье полное, окна ставнями прикрыты, но трубы печные курятся. Хорошо еще проскочили не задерживаясь. И вот — на тебе! — вынужденная остановка. Только как машину ни толкали, как ни совали под колеса осклизлые палки и лесины — ни с места.

А тут проезжал мимо пьяный дядька в хромой одноколке. Покряхтел, посмеялся: «За́раз,— говорит,— хлопцев пришлю на подмогу». И действительно, полчаса не прошло, прибыли хлопцы. Кто на коне, а кто вприпрыжку. Гомонят, бранятся, хохочут, пару волов пригнали, сейчас запрягать начнут.

Из броневика заметили — дело неладное: на плечах у одного селянина офицерский китель, у другого маузер на ремне болтается...

Наши решили помалкивать и виду не подавать, оружие держать наготове.

Наконец, приспособили мужики воловью упряжку, поднажали и выкатили броневик на ровное место. Да заметно, что норовят развернуть лицом к своему хутору.

Вот тут и пригодилась Ванина смекалка. Покамест волы тянули безмолвную, как бы лишенную сил железную машину, пока бушевала разгоряченная толпа, водитель (то есть сам Ваня) включил мотор, выждал момент, да как даст третью скорость! Куда волы подевались, куда хлопцы-махновцы рассыпались...

И надо же было именно в этот момент залететь прямехонько в смотровую щель случайной, ничтожно малой пистолетной пуле.

Как только броневик выкатился на вольный простор, в глазах у Вани темно стало, а во рту до тошноты солоно и даже горько от крови...

На этом месте рассказ и заканчивался.

— Вот так вот,— говорил Ваня в заключение.— Было дело под Полтавой. Беляков, значит, я с носом оставил, а сам вот хожу с пулевым ранением личности... Ничего, живу, не горюю...

Тут он вскочил на велосипед и, сверкнув мелкими лучиками спиц, укатил в свою «Ямку»...

— Ну, не горюй,— говорил отец, выходя на улицу из подворотни,— как только рассчитаемся с долгами, я тебе сразу же велосипед куплю!

Однако велосипеда я не дождался — наше недолгое благополучие пошатнулось. В какой-то неизбежный понедельник хрустальные люстры кафе угасли и в зеркальных стенах отразилась пустота. Видимо, предприятие прогорело от недостатка посетителей...

Удрученный король изредка приходил к нам обедать. Мужчины выпивали по стопке пива, обсуждали, как жить дальше? Потом carissimo Антонио куда-то подевался, может быть, уехал со своей русской женой к брату Умберто на родину.

* * *

Бесконечно тянулась окаянная осень. Отец теперь стал пропадать каждый вечер и возвращался, когда



я уже крепко спал. Просыпаясь, был мрачен, непохож на себя, пил шипучую зельтерскую воду. Мама сильно расстраивалась, случались у нас и тяжелые ссоры, каких прежде никогда не бывало.

Убирая по утрам комнаты, мать находила разбросанные где попало, склеившиеся в плотные комки рублевки и даже червонцы.

И тут в моей памяти выплывает, как из тумана, Борис Крымко — злой дух нашего семейства. Откуда взялся этот навязавшийся в друзья чернобровый южанин с плутоватой обаятельной усмешкой? Он так и сыпал шутки-прибаутки, говорил то по-армянски, то по-турецки... Всегда немного хмельной, вечно с хвастливой небывальщиной... По его словам выходило, что много песен и романсов сочинил он сам, подбирая под звон гитары. «...Ах да на прощанье шаль с каймою ты на мне, мой друг, стяни... Да как концы ее с тобою...» — хрипловато и томно припевал он, намекая подмигиванием и раздуванием ноздрей, что эти прелестные стихи принадлежат ему...

Влияние этого авантюриста, забубенного игрока на моего отца действовало гипнотически.

— Ты, Федя, мечтатель,— говорил он,— а я мечтатель-практик, тут, брат, большая разница: мечтой сыт не будешь.

Оркестрик, который сколотил Крымко (две гитары, скрипка, банджо и контрабас), кочевал по злачным

местам Петрограда — то в клубе «Трокадеро», то в известном «Олене» на Васильевском острове. Щурясь от дыма папиросы, перебирая струны, Крымко пускался в рассказы об Анапе, которая считалась самым шикарным курортом. Ах, боже мой, какие это были рассказы о целебном климате, о бескорыстии черноморских аборигенов.

Анапа — Панама... Почему-то у меня в голове это умещалось рядом. По словам Крымко, это место на земле было вроде Клондайка, где еще уцелели золотые россыпи. Даже мама попалась на эту удочку, ведь главной ее заботой было подлечить отца: после воспаления легких он так исхудал. И вдруг оказывалось, что благодаря связям Крымко путешествие на пароходе будет стоить нам сущую ерунду, и можно на все лето поселиться «в краю, где, радостно синея, безоблачный сияет небосвод...»

Время шло, а перемен в жизни не происходило: все тот же полуночный постыдный промысел, опасные шатания по спящим улицам. Менялись только адреса и названия кабачков.

— Ай-баджи, зачем столько шуму? — говорил с армянским акцентом Крымко, обращаясь к двери комнаты, откуда мать не появлялась.— Первоклассный ресторан, называется «Нега». Вполне приличное место. Будем там работать... А что плохого, вай мэ! Уставшие люди хотят покушать после трудов праведных, и разве грех — помечтать под бодрую музыку? Деньги мало-мало тоже делать надо...

Однажды, в эту ненастную во всех отношениях пору, мама велела мне поскорее одеться и мы вдвоем вышли из дома. А было это в непривычно позднее время, часов около одиннадцати, да еще в дороге нас прихватил проливной дождь. В полутьме добрались мы до Сенной и свернули на Горсткину улицу, ведущую к Фонтанке. Здесь размещались складские помещения, лавчонки,

конторы. Я помню, как мы плелись по самой середине слабо освещенной улицы, как впереди в тумане раскачивались чьи-то огромные тени, а тут еще ливень старался промочить нас до последней нитки.

И мама сказала: «Вот тут под навесом постоим минутку, помолчим». Напротив нас, на той стороне улицы, стоял плюгавый призрачный домишко с белым шаром над входной дверью. Это и был ресторан «Нега». Сквозь кисейные занавески на мокрый булыжник падал яркий свет, хорошо слышна была музыка: гудел контрабас, яростно визжала скрипка, бормотало гнусавое банджо... А потом послышался жирный баритон (и мы, конечно, узнали голос Крымко). Он пел: «Пусть же кони с раса-пущенной г-а-ривой, с бубенцами ум-а-чат меня вдаль!..»

После чего в окнах второго этажа, где, как видно, был главный зал ресторана, замелькали дьявольские огни: зеленый, желтый, лиловый...

Тем временем в нижнем этаже стали разворачиваться события. С отчаянным грохотом и бранью там вышибали перепившихся гостей, слышались вопли, заливались трели дворницких свистков. Было страшно и непонятно, для чего мы пришли сюда и почему в глубине этого вертепа находится мой отец, самый лучший в мире друг?..

Я догадывался, что было целью нашего ночного похода. Вероятнее всего, мама решила убедиться своими глазами, в какое ужасное положение угодил отец, а может, она боялась, что порочный Крымко затянет его в какую-нибудь опасную аферу?..

«А что, если здесь замешана какая-нибудь неизвестная ночная красавица?» — подумал я, вообразив злодейку с глазами Полы Негри. Понимал я только одно, что маме без меня появиться в этих трущобах было бы невозможно. При этой мысли страх мой пропал, я крепко сжал кулаки в карманах.

Трудно и долго пришлось бы рассказывать, как моя мать все-таки одержала верх над сатанинским упорством Крымко, никогда после этого не впускала его в квартиру и переговоры вела через щель в двери, не снимая цепочку.

У отца были обнаружены палочки Коха, и пришлось уложить его в постель. Теперь мама трудилась за двоих — днем в типографии, вечером шила детские платьица, фартуки, шапочки-панамки... Уж не помню, как звали замечательного доктора, которому мы обязаны тем, что отец попал в Детское Село, в какой-то чудесный, самый лучший санаторий для легочных больных.

О Крымко я больше ничего не помню, кроме его сусальных фотооткрыток из Кутаиси. Они были полны вранья о небывало роскошной жизни.

А отец, возвратясь из санатория, пошел играть в кино.

Нет, он не сделался киноактером. Однажды вечером пришел веселый и возбужденный. Громко пел, хватал нас в охапку, валил на диван... Наконец, сняв со шкафа виолончель, приводил ее в порядок, размахивал смычком и прилаживался поудобнее. Потом усадил меня перед собой в кресло (ведь важно, чтобы был хоть один слушатель!) и принялся за свою излюбленную пьесу.

Сощурив глаза и почти не вслушиваясь, я наблюдал, как он медленно водит смычком, раскачиваясь вместе с инструментом... Или вдруг начинает пилить мелко и часто и становится похож на фехтовальщика. Виолончель то гудела угрожающим басом, то изменяла голос до капризного женского визга. Так я и уснул в кресле под виолончельные извивы...

Кинематографы в то время все еще продолжали щеголять космополитическими названиями. На Невском огнями реклам заманивали роскошные кинозалы «Паризиана», «Пиккадилли», «Солейль». В комфортабельных кинозалах, с дорогим буфетом, мягкой мебелью, коврами

(и множеством блох), шли первоэкранные фильмы в сопровождении довольно крупных симфонических ансамблей. Перед экраном находилась оркестровая яма, в ней располагались музыканты. Что играть под картину — не составляло проблемы. Если на экране происходила лирическая сцена, ее сопровождало мечтательное «Утро» Грига, а когда бушевали страсти — играли что-нибудь драматически напряженное из оперной музыки Верди...

Подальше от центра в «киношках» под картину играло трио музыкантов, а не то просто аккомпаниатор на дребезжащем пианино.

Кинотеатр «Россия», куда нанялся отец, помещался на Обводном канале за Балтийским вокзалом, на углу Везенбергской улицы.

При свете дня Обводный канал в том районе рабочей окраины выглядел вполне безобидно. По набережной вдоль фабричных корпусов, электростанции, позванивая, бежали трамваи, тянулись к Гутуевскому острову вереницы грохочущих телег, катили неуклюжие грузовики.

Где-то за Старо-Петергофским, за фабрикой «Веретено», незыблемо высились глухие желтые заборы с надписями в человеческий рост: «Старая и новая Баварія». Таково было название пивных заводов. Впрочем, сытного пивного духа тут не чувствовалось, а весь воздух вокруг был пропитан запахом горячей резины, который проникал на улицу из длинных красных корпусов завода «Красный треугольник».

Обрывистые берега Обводного, поросшие чертополохом, беленой и какими-то черноватыми кустами, имели вид дикий, но живописный. Темная вода канала распространяла тяжелый запах, ее маслянистая поверхность покрывалась булькающими пузырями. Было известно, что тут водятся ловкие водяные крысы.

Повсеместная мрачная слава Обводного канала хоть и была преувеличенной, однако никто не рискнул бы вечером здесь прогуливаться. И неважно, что мелкие хули-

ганы с Везенбергской враждовали с лихтенбергской шпаной, а вы тут оказывались посторонним свидетелем. Просто чужаку здесь было не место.

Никто не мог бы объяснить, почему кинотеатр «Россия» стал мирным оазисом, где враждующие племена не трогали друг друга и на мирных зрителей никто не бросался с кулаками. Возможно, что умиротворяюще действовали волшебные чары искусства. Да к тому же во всем городе не было другой такой киношки, как «Россия», где беспрерывно крутили такие потрясающие боевики.

Сегодня здесь идет уже четвертая, но не последняя, серия кинoромана «Стенлей в дебрях Африки». А до начала сеанса еще почти час. На дворе трескучий мороз, не проводить же время, прогуливаясь по Обводному. Для этого имелось фойе, где стены, окрашенные берлинской лазурью, слезились от испарений и сквозь пелену табачного дыма тускло светили огни настенных лампионов.

Меня в «Россию» впускали беспрепятственно на любой сеанс, а хочешь, оставайся и на следующий.

И ведь сколько раз просил я, желая разделить редкостное удовольствие: «Мама, ну пойдем, посмотришь хоть одну серию, ведь там же настоящие львы, гиены, крокодилы...»

— Что? На Обводный? Да упаси боже! — говорила мать, преувеличенно ужасаясь, словно все эти дикие звери поджидают нас там под каждым забором, хищно лязгая зубами.

Неутолимая жажда зрелищ гнала меня сквозь темень, дождь и морозный туман, заставляя забыть страх перед опасностями пути. Этот интерес к приключениям, желание увидеть сильных людей, презирающих смерть,— все это понятно и объяснимо. Ведь у всех моих сверстников все еще звучало в ушах победное: «Даешь Варшаву, дай Берлин, мы врезались уж в Крым...»

Неукротимых сорванцов с Обводного, впрочем, так же, как самых мирных ребят, объединяло стремление пережить острое ощущение опасности, преодолеть, казалось бы, невозможное, проявить сноровку, отвагу, по примеру хотя бы тех же безумно понравившихся «Красных дьяволят»...

Кинотеатр «Россия», словно празднично иллюминированный пароход, издалека приветливо мигал мне своими разноцветными лампочками при входе. В фойе все уже толпились перед деревянной перегородкой, что была до потолка заклеена яркими рекламными картинками. Эти многокрасочные афиши поражали величиной — некоторые были составлены из четырех листов. От них трудно было оторваться. Даже буквы надписей выглядели завлекательно, хоть и непонятно, о чем они говорили: ведь реклама предназначалась для американского зрителя, и переводчика среди нас не находилось. Вот и старался всяк своим умом дойти до смысла изображений. С афиш срывались летящие по горным кручам всадники в широкополых шляпах и горделивые индейские вожди... Эти изображения дразнили аппетит, они торопили время к началу сеанса, к долгожданному лакомству, которое ждет нас в зрительном зале.

Тем временем в фойе становилось все теснее, теснее, и вот уже начиналась настоящая давка. Толпа ожидающих ритмично раскачивалась, как на палубе корабля. Раздавался пронзительный звонок, двери в зал распахивались, и лавина зрителей с оглушительным ревом, гиканьем и свистом неслась в освещенный зал... Все билеты были в одну цену, поэтому каждый торопился занять места получше, и не только для себя, но и для трех-четырех приятелей.

Отчаянный шум стоял в зале: перекличка друзей из разных рядов, скандалы из-за неправильно занятых мест... Но все эти вспышки мгновенно умолкали, когда вырубался свет, слышалось приятное стрекотанье аппа-



рата и на полотне появлялись первые мигающие кадры фильма.

Какой удивительный калейдоскоп невероятных событий прокручивался на экране за эти волнующие сто минут! Дикие слоны и леопарды, сыщики и пигмеи, надменные улыбки неустрашимых героинь и гримасы отъявленных негодяев... А какие захватывающие погони со стрельбой и прыжками через мрак пропастей!..

Страсти в зрительном зале накалялись до предела. В экран, прямо в гнусно ухмыляющееся лицо Уоллеса Бири, игравшего роль злодея, летели мороженые яблоки, комки оберточной бумаги...

И вдруг на самом интересном месте в зале вспыхивал свет.

Тетя Катя в сбившейся набок пуховой косынке, стуча каблуками высоких бареток, подбегала к кому-то — она точно знала к кому,— вцеплялась клешнями в загривок и... через минуту злостный нарушитель порядка оказывался вышвырнутым на улицу.

Снова на экране, словно очнувшись от столбняка, медленно оживали и продолжали двигаться киногерои. Еще некоторое время сквозь звуки рыдающей скрипки и виолончели с улицы доносились хриплые вопли и брань пострадавшего, вот еще несколько злобных пинков в дверь, затем трель милицейского свистка, и в зале все успокаивалось...

Трио продолжало играть «Сон негра» или другую известную пьесу. Чаще всего это была заученная соната

Бетховена. И удивительное дело, что бы ни происходило на экране, который то и дело менял цвет (ведь ночные сцены были сплошь окрашены синим, а моменты опасности, тревоги, какой-нибудь катастрофы — красным; сцены летней природы — теплым желтым цветом, а зимние снимки — голубым)... Итак, что бы ни происходило на экране — роняла ли цветок в воду обманутая красавица, появлялась ли из амбразуры морда каторжника в скверном гриме,— музыка каким-то образом точно соответствовала всем поворотам сюжета, дополняла впечатление...

Тетя Катя — грозная толстая коротышка со сросшимися бровями — была копией царевны Софьи с картины Репина. Она была единовластной хозяйкой своего кинотеатра, требовала, чтобы ее называли «товарищ директор», и не пасовала ни перед фининспектором, ни перед местной шпаной. На мощной груди у тети Кати всегда было одно и то же украшение: массивный костяной свисток с горошиной, болтавшийся на витом красном шнуре.

Отец говорил, что такие свистки были при царе только у городовых.

Хозяйка «России» удивительно хорошо знала запросы своего зрителя. В ее кинематографе следующая картина всегда была более завлекательной, чем предыдущая. И хотя фильмы демонстрировались очень старые, с «дождем», который прочесывал экран царапинами, с внезапными обрывами, и механику часто приходилось клеить изношенную ленту, зал, наэлектризованный, терпеливо ждал продолжения сеанса. Наконец, вновь оживал на экране красавец Мацист, играя великолепной мускулатурой. Это был прямо-таки сказочный силач. Конечно, наш Якуба Чеховской, наш прославленный русский Геракл, приезжавший в сад «Олимпия» на своем красном мотоцикле «Харлей-Дэвидсон», был для всех мальчишек полубогом. На его плечах гнули двутавровую

балку, через богатырскую его грудь переезжал легковой автомобиль, набитый подростками... И тем не менее Якубе было далеко до Мациста. Итальянец шутя сгибал толстые прутья тюремных решеток, разрывал сковывающие его цепи, подобно Полифему швырял в преследователей обломки скал и, как Самсон, рушил кулаком каменные стены.

Вильям Харт тоже стоил десятерых. Симметричное сухое лицо артиста, словно вытесанное из куска дерева, имело одно выражение — невозмутимое спокойствие. Все равно — под обстрелом воровской шайки или в объятиях девушки, спасенной им от гибели, на бесстрастном лице его отражалось полнейшее хладнокровие. Благородный ковбой стал образцом для всех мальчишек.

После полуночи мы возвращались домой, обсуждая новый фильм.

— Ты вот все восхищаешься: ковбой, ковбой, а это ведь не означает — рыцарь,— говорил отец, прыгая с виолончелью под мышкой через лужи.— Ведь «кау» — значит «корова», «бой» — мальчик. Получается на первый взгляд какой-то «коровий мальчик», вроде как бы теленок, что ли, а не человек. Но если разобраться, то правильно будет — парень при корове, то есть просто пастух.

Вильям Харт — пастух? Чепуха какая-то, не может быть. Ведь я-то думал, что ковбой — значит храбрец, смельчак, тот, кого у нас на Кавказе называют джигитом...

Вот так мы и блуждали по темным улицам с виолончелью, потому что оставлять ее в кино было рискованно.

И все же стряслась беда: пришлось отцу провожать кого-то на ночной поезд, а виолончель осталась на ночлег в кинотеатре. Ее заперли в надежном чулане, с плотной дверью на висячем замке. На следующее утро она исчезла, словно ее и не было. Какой-то коварный фокус. И дверь цела, и замок тот же, вроде бы не тро-

нутый. Виолончель улетучилась как будто по своей воле.

Тетя Катя была дико возмущена и не соглашалась платить за пропажу.

— Я вас предупреждала! — голосила она на всю округу.— Ведь здесь кругом сплошное ворье — домушники, взломщики проклятые!..

Мы молча шагали по набережной, стараясь не слышать отвратительную брань.

А мне почему-то стал сниться призрак летящей в ночном небе одинокой виолончели. Ветер плавно шевелил, словно крыльями, складками ее просторного балахона, и костяные пуговицы поблескивали, как живые глаза...

Теперь, когда прошло столько лет и мне случается слушать Крейцерову сонату, я неизменно вижу перед собой холодный зал кинотеатра и вспоминаю, как там каждый вечер ужасающе скверно играли эту пьесу Бетховена в переложении для виолончели...

* * *

В скором времени после печальной утраты произошел (как это часто бывает) благосклонный поворот судьбы, и жизнь наша пошла в другом ключе. Отцу повезло. Он поступил на работу в типографию на Измайловском, 29. Совсем недавно типография была собственностью того самого Адольфа Маркса, издателя журнала «Нива», известного своей подлостью: ведь это он бессердечно надул Антона Павловича Чехова при расчете за издание его гениальных произведений.

Удивительнее всего для меня было то, что месяца через два я был принят в 70-ю совтрудшколу, которая помещалась как раз там, в величественном доме, где была типография А. Ф. Маркса. Все складывалось идеально, как и задумал отец. Школа — именно эта — должна стать мостиком для моего перехода в типографию. Отец

просто ликовал. Этого же, конечно, хотел и я сам. Меня приняли сразу во второй класс, ведь я мог не только читать и писать, но имел познания в области правописания, географии, а также вызубрил почти всю таблицу умножения.

Войдя в школу, мы вступали на лестницу, устланную зеленой ковровой дорожкой. Окна каждого этажа светились прихотливыми витражами немецкой работы. Но сосредоточиться и рассмотреть эти рыцарские фигуры и затейливую орнаментацию было невозможно из-за того, что по широким перилам скатывались, горланя и сшибаясь, гроздья ошалелых мальчишек. Они швыряли шапками и книжками, дубасили друг друга портфелями, и это было похоже на потасовки детей в рисунках Круикшенка из моих любимых книжек Диккенса.

Преподавателями в этой школе были дамы разного возраста. Все как на подбор они носили черные жакетки и длинные темные юбки, все были в меру строги и немного напуганы, это мне хорошо запомнилось.

Под самым потолком на лестнице, над входными дверьми и в зале над сценой виднелись медальоны с тремя сплетенными буквами ЕЖГ. Это означало: Екатерининская женская гимназия.

Весь преподавательский состав, после того как с гимназиями было покончено, остался на своих местах, ну разве что недоставало бородатого батюшки с крестом на груди.

А впрочем, все учительницы были опытные, преданные своему делу и сравнительно быстро стали справляться с разномастной оравой.

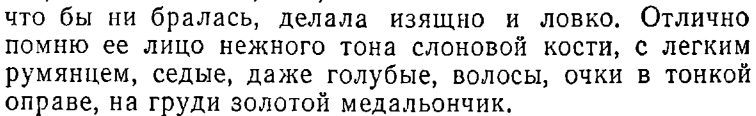
Я не собираюсь долго рассказывать о школьных годах хотя бы потому, что как вспомнишь — кто только из людей моего поколения, какие только знаменитые писатели не рассказывали каждый о своей школе! Мне хотелось показать несколько наиболее ярких моментов, заслуживающих, как мне кажется, внимания.

Дорогая Варвара Петровна.

Именно так я хочу назвать отрывок воспоминаний об одном из светлых образов моего детства. Об этом воплощении таланта, добра, справедливости — словом, всего, что есть хорошего в человеке.

Никогда и ничто не могло стереть из моей памяти дорогое имя — Варвара Петровна Скорикова. Казалось, в самом звучании ее простой, но редко встречающейся фамилии, была выражена скромность, чистота, радушие, правдивость.

Она была небольшого роста, очень живая; все, за что бы ни бралась, делала изящно и ловко. Отлично помню ее лицо нежного тона слоновой кости, с легким румянцем, седые, даже голубые, волосы, очки в тонкой оправе, на груди золотой медальончик.



В класс Варвара Петровна входила плавным шагом, в английской блузке, с бюваром и двумя-тремя книжками. И все уже были готовы к тому, что нас ожидает что-то радостное, хорошее.

На ее уроке становилось интересным буквально все, что бы она ни читала или рассказывала: приключения и превращения слов, диковинные происхождения имен и словообразований... Ее диктовки были похожи на игру, где было полно хитрых ловушек, и чьи-нибудь смехотворные ошибки разбирались под общий хохот, в котором участвовал и сам виновник...

Педагог, одаренный от природы, к тому же очень взыскательный, она умела заставить своих питомцев потрудиться с полной отдачей, задавала порой такие загадки, что в классе наступала напряженная тишина, только слышалось порой чье-то кряхтенье.

— Ну, что там охаешь? — говорила она, приблизившись совсем тихо.— Давай-ка разберемся вместе...

От этого упорного преодоления трудностей и похвала ее была дороже.

Бывало, вместо опроса или нового задания Варвара Петровна принималась читать нам вслух, и мы жаждали этого удовольствия, так и ерзали от нетерпения. Замечу, что это не было тем, что называется «читать с выражением»,— нет, это было чтение необыкновенно чуткой к слову артистки. Так, мы залпом проглотили «Медного всадника», «Пиковую даму», «Моцарта и Сальери», втянулись в мучительную жизнь «Поликушки» Толстого, влюбились в «Петербургские повести» Гоголя... Познание русского языка распахивало нам окно в познание всего мира.

Оказалось, например, что есть такой поэт Генри Лонгфелло. Не только лирически-светлый: «Дай коры мне, о береза!...» А гневный и страдающий, автор баллады «Негр в проклятом болоте», которую читала нам вслух Варвара Петровна.

Не могу забыть исключительный случай, поразивший весь наш класс. Это было в начале знакомства с Варварой Петровной, которую мы уже успели оценить и полюбить.

В середине урока Зинка Рихтер, одна из самых красивых девочек, сказала довольно ядовитым тоном с места:

— Пушкин-Лягушкин!

Это произнесла она после того, как Варвара Петровна дважды повторила в одной фразе фамилию великого поэта.

И тут настал момент звенящей тишины, как будто сию минуту что-то внезапно взорвалось. Мы замерли в ожидании какой-то беды. Лицо нашей учительницы исказилось выражением боли и отвращения. По заалевшим щекам пошли белые пятна.

Зина, не дыша, поднялась с места, догадываясь, что совершила непростительную глупость.

— Рихтер, собери портфель и немедленно уходи из школы,— сказала Варвара Петровна дрожащим голосом.

После этого происшествия все до одного уразумели, что Пушкин — это действительно святыня, гордость неприкосновенная. И я уверен: среди всех сидевших в этот момент в классе не осталось ни одного мальчишки (будь он даже отпетый сорванец), ни девочки (пускай даже самой легкомысленной) — никого, кто не понял бы этого примера и не проникся бы с этого мига чувством постоянного уважения к личности и драгоценному имени поэта...

Варвара Петровна была одинаково добра и внимательна даже к неисправимым тупицам. Главной чертой ее характера было неколебимое терпение.

Еще мне запомнилось: Варвара Петровна никогда не появлялась без своего медальона на тоненькой цепочке. Так и неизвестно, чье изображение там хранилось. Может быть, сын, дочка... Или маленький внучек?

Горько подумать, но разве интересовались мы жизнью нашей любимицы, что знали мы о ее доме, о трудных днях, о будничных передрягах?.. Не была ведь жизнь скромной учительницы такой уж безмятежной.

Во время ленинградской блокады, будучи уже офицером, я встретился в Петрославянке, под холщовой крышей медсанбата, с черноусым человеком: голова его была забинтована, а на груди поблескивали боевые ордена. Он пожал мне руку и сказал: «Майор Скорников».

Я обрадовался, подумал: вот передо мной кто-то из родственников (может быть, даже сын) Варвары Петровны. Но майор оказался сибиряком и никогда прежде в Ленинграде не бывал.

— Хотя,— сказал он, подумав,— в Нерчинске жила у нас родственница, ленинградка... Однако была ли это Варвара Петровна — кто знает?..

В школе я рисовал много всякой всячины, мной владел, по выражению Пушкина, «бешеный демон бумагомарания». Все тетрадки были испещрены профилями педагогов и ребят. Но требовалось выполнять и серьезные задания — рисовать, например, картинки для классного настенного календаря. Это была затея Варвары Петровны, и участвовать в создании календаря должны были все ученики поочередно. Многие отлынивали или просто не умели изобразить даже примитивную картинку, хотя бы ворону на заборе, вот и приходилось отдуваться мне или Егоше Мезерину — прирожденному пейзажисту, но отменному лентяю...

Откуда-то Варваре Петровне стало известно, что я бывал в Эрмитаже, что увлекаюсь изучением тома Гнедича «История искусства» (это был подарок дяди Саши).

— Скажи, кто из художников нравится тебе больше всех? — спросила она неожиданно, когда я стоял у доски во время урока.

Я назвал, не задумываясь, Зурбарана и Мурильо.

— Вот и хорошо! Представь себе, что никто из нас в Эрмитаже не был, и приготовь ко вторнику рассказ о твоем прекрасном Мурильо, а мы послушаем.

Мне не терпелось проверить свою высокую оценку испанских художников, и в воскресенье мы с отцом поехали в музей. В то время вход в Эрмитаж был с Миллионной, под сенью балкона, который держится на плечах десяти атлантов Теребенева.

В раздевалке нам выдали тряпочные шлепанцы с макаронными завязками. Затем надо было подняться по

величественной лестнице, подавляющей своей шириною и высотой. На верхней площадке стоял мольберт с черной доской, на которой подробно перечислялось, чего нельзя делать в музее: не трогать... не подходить... не говорить... не шаркать... и много других необходимых предостережений. Здесь было царство неколебимой тишины. В сумеречных просторах торжественных залов проплывали одинокие фигурки посетителей. Кроме естественного освещения — дневного, очень скудного,— никакого другого не включалось, поэтому разобрать, что происходит, скажем, на картине «Мучения святого Петра», совершенно не было возможности.

Из темноты какого-нибудь почерневшего холста золотисто высвечивалось чье-то обнаженное плечо или умоляюще простертая к зрителю кисть тонкой руки. А если вглядишься пристальней, то различишь полные страданья прекрасные очи с дрожащей, совсем живой слезой... Но кого изобразил гениальный художник, какие разыгрываются страсти — оставалось полнейшей загадкой...

Вчитываясь в надписи и нетерпеливо поправляя друг друга, мы двигались к испанскому залу, по направлению к Мурильо, бормоча колдовские, чарующие имена художников и путая Корреджо и Караваджо. Какой переливчатой музыкой звучали дивные имена Альбани, Гверчино, Гвидо Рени... А какая красота заключена в имени Карло Дольчи, словно глотаешь спелую холодную виноградину!

И вдруг —остановка. Мгновенное остолбенение, пройти невозможно. Трепетно нежная красавица, убранная, как невеста, с узорчатым крестиком на груди, опирается на тяжелый меч. В ее лице, в опущенном взоре покой душевный и почти улыбка.

— Как, неужели сама? Вот этим тяжеленным мечом? Размахнулась и — р-раз?!—

— Тише. Конечно, сама. Ведь она же героиня, освободительница, ты посмотри — что у нее под ногой...

И только тут я приметил мертвую голову. Отрубленная голова тирана имела вид не ужасающий, а просто унизительно жалкий. И в этом была мудрость гениального Джорджоне.

Трудно оторваться от этой дивной картины, и все переводишь взгляд от лица Юдифи, излучающего тихую радость, до ее босой ножки, попирающей поверженного злодея.

Блуждание по беспредельным сокровищницам Эрмитажа влекло магнетической силой, не было возможности унять жадность — увидеть все за один раз. Хотелось распознать волшебный мир, полный загадок, живущий своей вечной жизнью. Немой язык картин, казалось бы, предельно выразительный, не поддавался легкому прочтению.

— Понимать искусство — это, брат, наука! — говорил отец. Он старался утолить мою любознательность, ведь знал же он кое-что о Троянской войне, о подвигах Геракла...

Помнится, в этот день, вконец обессиленные, мы не добрались до божественных полотен Мурильо. Самое воспоминание о славных мальчиках испанского художника затмил и вытеснил титан, о котором я мог судить только по черным картинкам в моем томе Гнедича. Это могучее явление называлось Рембрандт.

Выйдя из-за поворота, мы очутились перед «Возвращением блудного сына». Какое счастье, что напротив этой гигантской картины (она и сейчас мне представляется вещью огромного размера) оказалась красная скамеечка-банкетка. Плюхнувшись на нее, мы погрузились в безмолвное созерцание.

Я вглядывался в картину, как в происходящее передо мной чудо из чудес. Казалось, все изображенное дышит, живет, струится, как брезжит золотистое пламя

свечей при солнечном свете. Это было горячее мгновение жизни, необъяснимо как остановленное и дошедшее до нас из рембрандтовского времени...

Отец смотрел одним глазом в кулак, как в подзорную трубу, разглядывая все детали.

— Да, но как же это могло быть сделано? — Я встал и приблизился на несколько шагов, стараясь заметить след кисти художника. Впечатление подлинной жизни не пропадало.

— Молодой человек, трогать картину воспрещается...— это был скрипучий голос невидимой нам смотрительницы, хотя мне бы в голову не пришло дотронуться до картины.

Наконец отец мой взмолился:

— Ну, кончено, больше смотреть не могу, голова разламывается...

И мы уходим, измученные, перегруженные впечатлениями, стараясь ничем не соблазняться и опасаясь глядеть по сторонам...

Эрмитажные впечатления ошеломили, долго еще был я переполнен чувствами и вопросами без ответов. В глаза лезло однообразие и ленивая унылость нашего быта. Хотелось видеть жизнь красочней, нарядней...

Я до отвращения ненавидел гипсовые белые лепешки овальной формы с наклеенными на них женскими головками Гибсона с английских открыток. А они висели на стенах почти у всех наших знакомых — такое уж было поветрие моды.

В столовой у Куликовых полстены занимала солидная картина в бронзовой оправе, навевая угрюмую тоску: выжженная степь изжелта-серого колорита, с чертополохами на первом плане, и одинокий, как перст, запорожец на коне, столь же унылом, как и всадник.

Друг мой Володька терпеть не мог этой обширной скучищи.

— А это у меня, изволите видеть, подлинный Кившенко,— хвалился перед гостями Володькин отец.— Видите, вот и подпись.

Пожалуй, у одного дяди Саши красовалась над столом поистине чудная вещь в белой рамке. Это была отличная копия с «Собирательниц колосьев» Милле. Когда солнце бросало косые лучи на эту стену, картина просто оживала, так расцветали ее нежные краски...

Сообщение о Рембрандте я начал прямо по Гнедичу: «Великий художник Рембрандт ван Рийн родился такого-то июня тысяча шестьсот шестого года в городе Лейдене...» Но скоро сбился с научного тона и стал рассказывать о своих эрмитажных открытиях. Я не боялся выступать перед ребятами, потому что все еще был наполнен яркими впечатлениями.

Говорил я и о «Блудном сыне»: о волшебных красках этого полотна, и о впечатавшемся в память портрете римского папы Иннокентия; рассказал и про Данаю, столь непохожую на сладостных красавиц итальянских мастеров.

Рембрандтовская Даная, как считал я, хоть и не блистала классической красотой, но была естественной и одушевленной, не то, что женщины Рубенса— простоволосые, неуклюжие, с жирными отвисшими животами...

— Ну, ладно, достаточно,— остановила меня Варвара Петровна,— женщин Рубенса оставим Рубенсу. А за доклад спасибо, давайте похлопаем нашему художнику!..

Потом уже мой друг Володька случайно подслушал, как Варвара Петровна с гордостью говорила в учительской о моем докладе...

Среди других наших учительниц хорошо запомнилась худенькая географичка, с родимым пятном во всю щеку. Девочки говорили, растаращивая глаза, что она пострадала при извержении вулкана, а пятно — след ожога от раскаленной лавы.

Но больше всех учительниц (не считая, конечно, Варвары Петровны) мне нравилась наша немка. Она была настоящая петербургская немка, звали ее Вильгельмина, а чтобы не произносить громоздкое и протяжное, как товарный поезд, имя и отчество (Вильгельминалюдвиговна), даже педагоги называли ее Вильгельминушка. Между собой, разумеется.



Вильгельминушка была дамой не первой молодости, кокетливой, с накрашенными бровями и с пышной прической; уверяли, что это парик, потому что в течение урока узел рыжеватых волос съезжал с ее макушки то к левому уху, то к правому, что, в общем-то, отвлекало внимание учеников.

— Wissen sie das?..— говорила она, передвигая средним пальцем свою прическу со лба к затылку, и тут уж некогда было следить за продолжением — чего же мы должны были «виссен», то есть «знать»...

Меня она стала выделять, заметив, как старательно я произношу что-нибудь замысловатое, вроде «Eigenschaftswort», а то еще что-нибудь посложнее. Мне и в самом деле было очень интересно, я не ленился заглядывать в учебник, завел себе блокнот с алфавитом, куда заносил новые слова с переводом или с картинкой, передающей значение. Некоторые слова и выражения с непривычки производили даже неприятное впечатление. Например, «Plötzlich» — «плётцлихь» (неожиданный) звучало просто отвратительно... Но, конечно, встречались

и ясные, выразительные слова, одним звучанием передающие смысл: шлехт (плохой), пехь (ошибка). Или вот: клапперштанге (гремучая змея). Разве не изображает это слово волочащийся с треском по земле полоз, похожий на шланг садовника?.. Многое оказалось созвучно нашему русскому: зонне — солнце, зуппе — суп, шнее — снег, а муттер — мать... А как же сказать — «мама»? Мутти. Забавно, а все-таки похоже...

Я очень старался преодолевать трудности артикуляции и помню первую свою удачу. Отвечая урок, я стал читать перед всем классом весенние стихи, отчеканивая каждое словечко:

— Juchai! Juchai! Juchai!
Willkommen lieber Mai!..
(Ура! Ура! Ура!
Приди к нам, милый май!)

Надо сказать, что эти «юхай-юхай!» казались мне кликами косматых гуннов и вылетали как бы изо рта самого Аттилы, но все равно я видел краем глаза восторженное лицо славной Вильгельминушки и, радостно выкрикивая, дочитал последние строки на самой высокой ноте:

Die Lerche — tri-ra-ri-i-i,
Sie singt so schöhn, wie nie...
(Ласточки поют: три-ра-ри!
Они поют так чудно, как никогда!)

Я знаю, что, конечно же, нельзя считать школьные уроки сколько-нибудь серьезным изучением немецкого, очень трудного языка, такого непохожего на наш... И все же первоначальное знакомство расшевелило стремление узнать чужой язык получше.

Мог ли я тогда подумать, как пригодятся мне даже такие слабые познания через многие годы, в суровую военную пору?..

Среди массы наших преподавательниц находился единственный учитель мужского пола, личность неза-

урядная. Много позже я выяснил, что его имя хорошо знал театральный Петроград. Это был талантливый педагог, хормейстер Мариинского театра Казаченко, очень похожий на П. И. Чайковского. На его уроки дети как младших, так и старших классов слетались дружно, потому что получали удовольствие, да и петь он умел заставить любого маленького бездельника.

Мы разучивали хоровые песни из русских опер: «Сватушка-сватушка» из «Русалки», «Болят мои скоры ноженьки» из «Онегина», повторяли полюбившуюся «Ноченьку» из «Демона».

Интереснее всего, пожалуй, что в тот далекий, я думаю, двадцать первый год, старый хормейстер сам, по своей воле, научил нас распевать песни Великой французской революции «Ça ira» и Карманьолу. Он рассказал нам, как разгневанный народ разрушил твердыню неприступной Бастилии и как парижане до сих пор поют и пляшут на площади, где стояла эта тюрьма-крепость...

Так под свой интересный рассказ и стал напевать ритмичные, подмывающие строфы...

Мадам Вето могла грозить
Нас всех в Париже перебить,
Но дело сорвалось у ней
Все из-за на-ших пуш-ка-рей!

— А ну, давайте припев:

Отпляшем Карманьо-олу
Под гром пальбы,
Отпляшем Карманьолу
Под пушечный гром!..

Даже те, кому бог не дал музыкального слуха, прихлопывали в ладони и притоптывали, помогая создать впечатление зажигательной пляски. Громко пели, озорно... И вдруг двери в зал распахнулись, на пороге стояли унылые дамы в черных костюмах...



По истечении некоторого времени в нашей школе появился еще один мужчина — учитель рисования Николай Николаевич. Его пригласили вместо анемичной старушки, которая на своих скучных уроках заставляла нас плести из бумаги однообразные коврики.

Новый учитель был сухощавый блондин английского типа, одетый с изрядной щеголеватостью. Он носил светлый костюм, а вместо галстука черный бантик, который называли «кис-кис».

Чрезвычайно внимательного педагога Николая Николаевича раздражала моя ослиная непокорность. Вообще-то Ник-Ник был мне вполне симпатичен, он так хотел всех увлечь рисованием с натуры. Но что я мог поделать с собой, ведь даже смотреть не хотелось на подсохшую птичью фигурку, которую он во что бы то ни стало велел рисовать.

Это было чучело коричнево-желтой глухарки, укрепленное на сухом сосновом сучке. «Совсем, совсем как живая...» — говорили девочки. Николай Николаевич поглаживал ее, обращал внимание на белые с черным кончики перьев. А я, почеркав для виду карандашиком в альбоме для рисования, принимался изображать акварелью на отдельном листке корабль с высокими мачтами в синей ледяной пустыне.

Ник-Ник просто выходил из себя:

— Опять, опять этот «Фрам» во льдах! Ну, смотри, если не сдашь в следующий урок задание — не буду тратить на тебя время.

И он часто говорил (возможно, чтобы раззадорить), что из меня никогда и ничего путного не выйдет. Я и сам огорчался: не хотелось раздражать и злить попусту нервного Ник-Ника.

Его вспыльчивость с первых же дней стала известна всей школе. Однажды он рассказывал ученикам о жизни и трагедии великого русского живописца Федотова. В это время погода испортилась, крупный дождь застучал по подоконнику, стали слышаться раскаты грома. Учитель продолжал рассказ, но назойливое громыханье мешало ему говорить. Тогда он вскочил со стула, открыл форточку и закричал:

— Тише там, в конце-то концов!

Не знаю, точно ли так это было, но как не поверить старшеклассникам...

К следующему уроку я взялся за ум. Постарался как можно точнее очертить птичью фигурку вместе с веткою, затем покрыл рисунок черной тушью, а фон залил оранжевым цветом, высветляя его к нижнему краю листа. Получилась оригинальная картинка плакатного характера, такой не было ни у кого, и я ждал, что мне влетит за то, что я отступил от задания. Однако Ник-Ник не вскипел, а только хмыкнул, и мне показалось, что он приятно удивлен.

Так и запомнился мне этот день: и силуэт глухарки на закате, и «Фрам» в ледяной пустыне, и первая похвала моего учителя — он сказал, что я правильно изобразил низко стоящее над реями полярное солнце, оно ведь там высоко не поднимается...

Постепенно я сделался для Ник-Ника деловым, полезным человеком: помогал устраивать всякие школьные выставки, малевал клеевыми красками швейцарские пейзажи на листах картона для «Вильгельма Телля», которого решили сыграть в школе старшеклассники.

* * *

Иногда приходилось забегать из школы по какой-нибудь спешной надобности к отцу в типографию, ведь это было совсем рядом. Я нырял в полуподвальную проходную контору, где по всем стенам висели зарешеченные доски с номерками рабочих, затем перебегал двор, и дальше привычный путь мой продолжался через скоропечатный цех, где на горчично-желтом полу была установлена громадная ротационная машина двухэтажного роста. Она сверкала черным лаком тяжелых станин и начищенным серебром поручней, кнопок, других деталей. С мощным гудением вращались валы и барабаны, заглатывая бегущее полотно бумаги с толстого, важно крутящегося рулона. Можно было заглядеться на эту феноменальную машину, которая всю работу делала сама, даже складывала аккуратно отпечатанные листы. А обслуживали ее лишь два человека, из которых один был парнишка, довольно высокомерный, совсем немногим старше меня.

Подумать только — такая махина и всего двое рабочих, совсем как на паровозе — машинист и кочегар, только куда там паровоз...

Ротация — это было гораздо более мощное и хитроумное создание человеческого гения.

Пробегая по цеху мимо составленных в длинный ряд необъятных рулонов бумаги (они напоминали по объему пни столетних дубов), я охватывал их жадным взглядом, вроде скульптора, размышляющего над мраморной глыбой — что бы такое из нее извлечь?

Когда мой отец узнал, что осенью в типографию будут принимать учеников, он обрадовался и сразу же подал заявление.

— Нет, ты не можешь понять, как это замечательно! Училище — на самом высоком уровне: срок обучения — года четыре, преподавать приглашены виднейшие профессора из Академии художеств! Ты поступишь в лито-

графское отделение, будешь рисовать интереснейшие вещи: художественные плакаты и афиши, иллюстрации для книг, виньетки и арабески...

Я тоже обрадовался, однако остолбенел, понимая, что нужно серьезно подготовиться к этому важному шагу, но... каким образом готовиться, как я мог сообразить в свои пятнадцать лет?

Дядя Саша сказал, что ничего сложного нет, он поможет мне скопировать два-три его этюда. Однако мне казалось нечестным срисовывать — как будто списываешь кем-то уже сделанное.

Мне нравились тогда многие художники-графики, хотя такого термина — «график» — для нас не существовало. Я любил несколько пугающие холодным блеском портреты и рисунки Юрия Анненкова, Бориса Кустодиева, цветные гравюры А. П. Остроумовой.

Но особенно по душе мне были карикатуристы — творцы веселого, остроумного искусства. Отец выписывал «Красный ворон», где они печатались, и я легко распознавал всех художников по почерку...

Вот так, из боязни попасть впросак, я внял совету дяди Саши. Он говорил:

— Пойми, что в приемной комиссии будут художники, связанные с печатью, вот и покажи им свои иллюстрации.

Я сразу взялся за дело. Нарисовал портреты (все, как один, в профиль) Дубровского, Паганеля, Шерлока Холмса, потом из-под моего карандаша стали вылетать всякие пираты Билли-Бонсы, а затем королевские мушкетеры... Даже сама леди Винтер появилась на свет со своей коварной ухмылкой.

Из весьма легкомысленно начерканных рисунков я отобрал несколько лучших и стал работать над тем, чтобы сделать форму как можно более выпуклой. Я воспользовался растушовкой и наводил объемы так, что круглились лбы, носы, щеки и шеи, похожие на надутые

колбасы. Рисунки блестели самоварной выпуклостью и лоснились, как начищенные ботинки.

Утром они мне нравились, днем я находил в них слащавость, а к ночи я рвал их на клочки и швырял в мусорное ведро. Впрочем, находясь в смятении, некоторые прятал в заветную папку...

В назначенный день, а именно 10 сентября 1925 года, с утра пораньше, я пришел не в школу — вверх по лестнице, а в зальце на втором этаже, относившееся к типографии. Там уже толпилось около тридцати девочек и ребят, моих однолеток.

Никаких приемных экзаменов, ни тем более просмотра рисунков не было. Заведующий учебной частью Прокофьев, ворчливый и озабоченный, поставил птичку в списке напротив моей фамилии, мельком заглянул в папку с рисунками, пожал плечами: «Зачем это... Покажешь потом профессору...» — и назвал непонятную фамилию.

Наконец, добившись тишины, завуч произнес короткую, но пламенную речь о том, как высоко и почетно звание полиграфиста, как необходим труд типографщика нашей молодой Советской стране, и призвал всех трудиться на славу.

Вот так, в пятнадцать лет я приобщился к трудовой деятельности и получил такой же, как у отца, металлический жетон с круглой дырочкой — рабочий номер.

Честно говоря, от школы отрывался я с горечью в душе. Оставляя школу, я терял, во-первых, своего лучшего друга Володьку Куликова. К его румяной лисьей мордочке я привык за эти годы, сроднился с его сплоченной семьей... Столько дорогого, связывающего нас, отпадало, и я это чувствовал — навсегда. Мы привыкли делать все вместе: издавали веселый журнал «Гром и молния», учили главы «Евгения Онегина», делились побратски всем хорошим.

А какие мы строили макеты! Вот хотя бы терем боярский — почти что метровой высоты, со слюдяными

окошечками, перильцами, с фигурками всей боярской семьи. А модель угольной шахты в разрезе! Мы добились того, что в штреках ездили вагонетки и зажигались фонари с лампочками от карманного фонарика. Или первый наш спектакль «...Три дня купеческая дочь Наташа пропадала...». Театр был весь рисованный, но техника, световые эффекты — все принадлежало гениальному Кулику. И если я помогал ему писать сочинения, то в математике Володька выручал меня с быстротой фокусника...

Итак, двери школы захлопнулись навсегда. Впереди открывалось будущее — новые люди, может быть, новые друзья...

Детство кончилось, начиналась рабочая жизнь...

— Что читаешь? — спросил выскочивший откуда-то перед моим носом увалень в курточке со слишком короткими рукавами. Доброе лицо, волосы торчком во все стороны.

Я обратил к нему желтую обложку: Джек Лондон. «Приключение».

— А Джемшук Парлея шитал? — он забавно шепелявил и произносил букву «эр» слитно, как «эр» и «эль» вместе, так что я не сразу понял вопрос...

— Нет,— сказал я,— «Жемчуг Парлея» я пока еще не читал.

Славный парнишка был этот Миша Иванов, будущий наборщик — шустрый, как стрекоза, жадный до занимательного чтения.

Миша был всеобщим любимцем и получил множество прозвищ: его звали «тонкая шпация», «куманёк», «пехтура»... Как на слоненка из сказки Киплинга, на него налепляли смешные клички. Очень скоро мы с ним подружились...

Первый типографский двор, к которому мы пригляделись из школьных окон, был чистенький, с асфальтовым покрытием. Но существовал и второй — внутренний

двор, окруженный красно-лиловыми стенами, с булыжной мостовой, настоящий фабричный двор, с кочегаркой и длинной круглой трубой из кирпича. Казалось, что она куда выше и массивнее Александрийского столпа.

В тени колоссальной трубы примостилась грязноватая вальцеварка. Дверь лачуги зимой и летом распахнута настежь — из помещения пышет жаром и густым духом той смеси, из которой варят валики для типографских машин. Ведь ни одна типография в мире не обходится без эластичных валиков, они переносят краску из красочного аппарата на печатную форму, с которой и слетает вкусно пахнущий свежеотпечатанный лист.

Старик вальцевар — закопченный гном в очках, с черноватым лоснящимся носом. Он всегда немножко пьяноват, а что поделаешь, такая адская работа!

Как раз напротив вальцеварки есть ниша в стене и там незаметная дверь, а за ней баня. Настоящая городская баня, только в миниатюре, с предбанничком и полкóм — кто любит попариться. Банька предназначена для кочегаров, краскотеров, маляров... Заглядывал сюда даже кто-то из типографского начальства.

Случилось и нам с отцом побывать в этой баньке. Наконец, я мог поближе рассмотреть вальцевара в натуральном виде: не такой уж старик, но сплошь покрыт волосами до такой степени, что не разберешь — отмылся до конца или нет.

В предбаннике одевались еще двое — красивый юноша лет шестнадцати и его отец, это заметно было сразу. Аристократически надменный облик этого человека меня заинтересовал. Он был высок, статен, хотя и рыхловат телом. Лет ему было под пятьдесят, лицо избалованного стареющего красавца. Он лелеял свою внешность, заботливо расчесывал шевелюру, подкручивал усики. Была у него под нижней губой почти незаметная, совсем не-

большая, как акварельная кисточка № 16, остренькая эспаньолка.

Пока мы раздевались, джентльмен с бородкой застегнул манжеты золотыми запонками, щелкнул портсигаром, пустил дымок дорогой папиросы... Нет, он не гнул фасон, это было естественное поведение человека, знающего себе цену.

Мог ли я подумать, что Яков Алексеевич Конкин через какой-нибудь год станет моим самым главным начальником...

— Вот, Яков Алексеевич, еще один наш новый ученик, тоже «художник»... — Это говорит, возвышаясь надо мною, седоусый Алексей Павлович Назаров, старый многоопытный мастер — ему поручено воспитание и обучение литографскому делу учеников, из которых я самый младший и самый малорослый.

— Ну-ну, покажи, что у тебя за рисуночки,— милостиво разрешает Конкин, поглаживая ноготком мизинца крошечную бородку.

В полном смущении я раскладываю на просторном столе своих мушкетеров из альбома для рисования.

Разговор этот происходит в конторке, отгороженной с трех сторон стеклянными стенками. Это, как говорили, санктуариум Якова Алексеевича, его резиденция, куда без стука не войдешь. Все, кто попадает сюда впервые, сразу же начинают пялить глаза на громадную красочную афишу, которую привезли в начале века из Франции. Она была склеена из шести или восьми листов и являла собой эталон литографского искусства. Вполне возможно (это я сейчас так думаю), что автором афиши был прославленный плакатист Жюль Шере или кто-то из его подражателей. Рисунок был исполнен с изяществом и весельем. А сюжет был довольно легкомысленный, хотя юмористическая трактовка снимала возможную в таких случаях пошлость. Хорошенькая парижанка, приподняв до колен оборку платья, поставила ножку в чер-



ном чулке и узкой туфельке на скамейку чистильщика обуви. А мальчишка-чистильщик — белозубый негритенок в красной куртке с пуговками и шапочке лифт-боя,— отчаянно взмахнув щетками, хитро подмигивает, приглашая полюбоваться уличной феей.

Мои рисунки Яков Алексеевич просмотрел не задерживаясь, он их откидывал один за другим, так что я просто опешил.

— А вот на это,— сказал Алексей Павлович,— по-моему, вы зря не обратили внимания,— и вынул из-под низа один из портретов, а именно капитана мушкетеров.

Конкин нахмурился, пристально вглядываясь в рисунок, но через мгновение сморщился и громко прыснул.

— Да уж, действительно... А ты, брат, оказывается, насмешник!..

Оба они смотрели на меня, дружно усмехаясь. И сам я в этот момент догадался, что де Тревиль, над которым я особенно старательно трудился,— вылитая копия Якова Алексеевича, только в карикатурном — раздувшемся и глупом виде...

Нас было всего четыре ученика, пожелавших стать граверами-хромолитографами. Два Павла — рыженький

злой умница Жуков и смуглый, как арапчонок, Павлик Новицкий, и два Семенова — никакие не родственники — Володя (он выше меня на голову) и второй Семенов — довольно невзрачный мальчишка, то есть я сам.

День у нас разделялся обеденным перерывом на различные сферы деятельности: с утра учебные занятия, после обеда — цех.

В школьном корпусе занятия всякими полезными предметами: экономическая география, материаловедение, литература... А для группы граверов приглашен Павел Александрович Шиллинговский — настоящий профессор Академии художеств. Сразу видно — известный художник, картинная фигура: долгополая шуба, меховая шапка с бархатным верхом, серебристая бородка.

Он скептик, немногословный, скучающий, только нет-нет да и вспыхнут огоньком черные с поволокой восточные глаза.

Рисовали мы у Шиллинговского с большим увлечением, только времени на этот предмет было отпущено маловато.

Часто давалось нам такое, довольно мучительное задание для освоения приемов хромолитографии. Каждый ученик получал оттиснутый на ватманской бумаге бледно-голубой оттиск тонкого рисунка. Это была тщательно скалькированная репродукция картины какого-нибудь художника — Бакшеева или Чепцова. Требовалось раскрасить абрис акварелью и, вглядываясь в цветную репродукцию, передать во всех тонкостях красочную гамму.

А вся трудность была в том, что разрешалось пользоваться лишь тремя-четырьмя красками. К тому же выданный для раскраски оттиск представлял собой хитросплетенную паутину: все колебания цвета были размельчены тонкими штрихами на крошечные участки. Сиди и заполняй каждую ячейку точно подобранным цветом. Нужно было запастись терпением и довести раскраску до полного совпадения с репродукцией.

Бывало, отчаявшись от однообразия мозаичной работы, я резко отклонялся в сторону. Краски какого-нибудь блеклого осеннего пейзажа становились у меня более оранжевыми и красными, чем в подлиннике.

Шиллинговский был не против. Он снисходил даже до того, чтобы усилить еще больший отрыв от оригинала,— несколькими взмахами кисти красиво обобщал сделанное мною.

— Вот теперь все в гамме. Можно и так,— говорил он.— Но в следующий раз делай, как задано.

Вскоре нам выдали спецодежду — черные длинные и слишком просторные халаты. В этих балахонах мы стали похожи друг на друга, принялись дурачиться и разыгрывать «монашескую братию».

Но паясничать тут было вовсе некстати. Каждый получил постоянное рабочее место: свой стол, похожий на парту,— столешница с таким же наклоном,— а с боков возвышались крылья, чтобы положить поперек стола шину (продолговатая доска, напоминающая весло байдарки) для того, чтобы ни на миг не коснуться поверхности камня. Ведь если приложиться случайно, потом печатник накатает камень валиком и сразу появятся на свет черные следы пальцев, как на дактилоскопическом снимке. Дышать на камень тоже нельзя — он потеет, покрывается мельчайшими капельками... А если нечаянно шаркнешь рукавом, тут уж вся работа насмарку, тащи свой камень в шлифовку под пенную струю и принимайся орудовать пемзой с песочком...

В мастерской на пятом этаже высокие окна, тишина, и все сверкает лабораторной чистотой. Двенадцать рабочих столов стоят, построившись в два ряда, один за другим, совсем как парты в школе. Впереди на торцовой стене круглые часы «Павел Буре», с мягким негромким боем. Говорить тут полагается вполголоса и лучше вообще не мешать соседу. На каждом столе находится в работе или ждет очереди гладкий или же корневой (ше-

роховатый) камень. Кто наносит на камень изображение, передавливая рисунок через тонкую кальку, кто гравирует шрифт, орудуя иглой,— она вставлена, как графит, в деревянное тело круглого карандаша... Некоторые в левой руке держат большую линзу, а в правой тоненькую ручку с пером. Перья у хромолитографов крошечные, и на каждом мельчайшая надпись: Birmingham, London... или Paris, Lemercier... И на всех инструментах — на циркулях, «кривоножках», рейсфедерах, на медных порт-крайонах (держателях для литографского карандаша) — названия исключительно иностранных фирм: «Lefranc», «Richter», «Windsor and Newton»...

Впереди под часами за высоким шведским столом с откатывающейся вверх крышкой работает Алексей Павлович. Он рослый, широкогрудый богатырь. Седые усы и красноватый тон лица делают его похожим на моряка. Он и сам знает это, не зря ведь носит фуражку морского фасона, летом даже с белым чехлом.



С виду Алексей Павлович суров, как и подобает морскому волку, но всем известно, какое у него отзывчивое сердце. Не раз я замечал, как он надувает щеки и насупливает брови... чтобы удержаться от смеха. Весь день Алексей Павлович хлопочет — что-то записывает, распределяет работу, принимает заказчиков, от которых можно избавить Якова Алексеевича... И в то же время ничто происходящее в мастерской не ускользает от его внимания.

А так хочется иногда оторваться от холодного камня, разогнуть спину и загорланить какую-нибудь песню, попробовать пройтись на руках...

Рядом со мною стол Коли Жучихина. Он — любимец Алексея Павловича, его воспитанник, смуглый черноволосый юноша. Ему лет восемнадцать, но он уже профессионал и покровительствует мне вот по какой причине: ни спорт, ни книги или кино — ничто не доставляет Жучихину такого наслаждения, как танцы. Каждую субботу он ходит на танцевальные вечеринки и пользуется большим успехом. По его заказу я испещряю квадратики белого картона фигурками танцовщиков. Пожалуй, мне это удается — Коля ничего не дает выбрасывать. Он требует, чтобы я отразил типичные моменты фокстрота, чарльстона, и веселится, разглядывая все это.

Совершенно доверяя мне, Коля вытягивал ящик стола и показывал фотографию: на садовой скамейке с вычурной спинкой сидят, прильнув головами друг к другу, сам Коля и какое-то очаровательное существо с воздушной копной белокурых волос.

— Ну как, нравится?

— Конечно... Это кто — жена?

— Ну вот еще.— Он глядит на меня с испугом, как на дурачка, и прячет в стол свой фотоснимок.

В трудные минуты Коля приходит мне на помощь: исправляет расстановку букв, укрепляет перышком контуры рисунка...

Как хорошо я помню лица, фамилии, даже имена почти всех наших мастеров, помню даже, кто за каким столом работал.

* * *

С утра в мастерской стоит особенно напряженная деловая тишина. И вдруг отчетливо слышится тонкое и чистое звучанье, будто в отдалении кто-то тихонечко играет

на флейте. Это величественно спокойный Кац-Каган необыкновенно артистично высвистывает мелодию из «Арлекинады» Дриго. Все слушают внимательно, стараясь ничем не перебить виртуозного исполнителя. Только чуть слышно кто-то скребет шабером по камню, или заскрипит стул под тяжеловесным Косцовым...

Внезапно прервав свою серенаду, Илья Ефимович отрывается от работы и говорит, обращаясь ко всем сытым грудным голосом:

— А я вчера у Иван Федоровича на именинах полсотни блинов умял, можете поверить?

Из угла отвечает насмешливый баритон Козлова:

— А ей-богу, врет, у меня жена всего-то штук пятьдесят напекла...

Кац-Каган — холеный, толстый, весь блестящий: и лоб, и лысина, и глаза, все его инструменты и подстаканник — все сияет и блестит, как начищенное. Изящество проглядывает в каждом его жесте, в подстриженных усиках, ноготках. Он ведь эстет — большой любитель Штрауса и Оффенбаха...

А Козлов — курчавый, с маленькими глазками, длинные ноги — две загогулины в белых бурках, веселый, добрый мужик с вологодским говором. От него даже пахнет овчиной, изящного в нем ничего нет, широк и азартен, как цыган.

Оба они с Кац-Каганом давние приятели, работают часто на пару. Умеют заработать и считаются крупными мастерами.

Хорошо помню Окунева — блондина с белым точеным лицом и алыми губками. Язвительнейший критикан с ласковой улыбкой. Человек настолько опасный, что все избегают с ним разговаривать. Никому от него нет пощады, даже Конкину он говорит, улыбаясь, одни только неприятности. Мне тоже он отравлял жизнь дурацкими шутками — дергал за полы халата, мазал нос тушью и высмеивал в случае каких-нибудь горьких промахов..,

Иное дело — Фалес, фигура действительно оригинальная. Гравер он был редкостных способностей и еще был известен тем, что в 1918 году спас жизнь не только себе, но и целой группе хороших людей.

Было это в морозном тревожном Киеве под игом белогвардейцев. В каком-то учреждении Фалесу удалось подобрать клочки важного документа. Просидев не разгибаясь целые сутки за столом, он ухитрился подделать пропуск на выезд с личной подписью гетмана Скоропадского, да так ловко, что все поименованные в пропуске лица были доставлены, кажется, до самого Курска в пульмановском вагоне...

Фалес — легкий и веселый человек. Он работает без халата, в жилетке и при галстуке. У него доверчивая наивная улыбка. Станковые печатники разобьются в лепешку, вне всякой очереди тиская для него пробу.

В стороне от всех держался тихий невозмутимый Викентий Ананьевич Косцов. В имени его и фамилии выражалась, кажется, вся внутренняя суть, все его привычное уныние. Вспоминаешь его вытянутое, немного лошадиное лицо, светлые висячие усы, мешковатую фигуру в дымчатом выцветшем халате, и представляется какой-то серенький день в чистом поле, сухое скошенное сено, кувшин квасу в тени скирды, мужички с вилами в руках, в кое-как заправленных в штаны рубахах...



Косцов, выходя на площадку лестницы покурить, доставал кисет и

долго смолил табачные самокрутки, папирос он не признавал. Лицо имел грустное, заспанное.

— Будешь тут скучным,— говорил он.— Ведь я за свой век наставил пером своим миллионы, а может быть, триллионы точек. Вот пойди сосчитай... Перебери песчинки в пустыне Аравийской.

И в самом деле, профессия хромолитографа с самых давних лет состояла в умении передавать точками, вернее системой мелких точек, самые тончайшие нюансы и переходы цвета. В отдельных случаях точками приходилось покрывать широкие площади камня для передачи полутонов, объемов и прочих живописных эффектов. Труд весьма изнурительный и неблагодарный, требующий колоссальной выдержки.

Напомню, что в старину репродукции известнейших картин, портреты высочайших лиц и героев, торжественные адреса и дипломы, даже иконы самого примитивного вида — все это воспроизводилось усилиями труда хромолитографов, бывало в 8—10, а то и в 12 красок (чем больше, тем богаче впечатление), и для каждой краски был нужен свой камень.

Хромолитография — дело нудное, кропотливое, требующее каменного упорства. Тут мастером становится тот, кто всех ловчее сможет повторить оригинал художника — будь то этикетка сапожной ваксы или открытка с цветочками.

Сейчас я пытаюсь припомнить, чем же были заняты руки наших искусных мастеров?

Плакаты, афиши, учебные пособия, обложки книжек и журналов, цветные форзацы, стенки календарей, разные сельскохозяйственные каталоги и архитектурные проекты, бесчисленные наклейки для коробок «Скорохода», «Резинотреста», для товаров Губмедснаба, для парфюмерии Ленжета и ТЭЖЭ, для папирос «Эльтет» и «Дюбек», этикетки для леденцов от кашля, для кайенского

перца, сарептской горчицы, для гуталина, бриолина, филодермина...

Чувствуя мое томление, Алексей Павлович поручал мне, уже разглядев, что я за фрукт, такие задания, где можно проявить хоть в какой-то мере творческую инициативу. Помню, однажды явился старик в шляпе и потертом пальто. Это был заказчик. Ему срочно потребовалась этикетка, вроде бандероли, для коробки «Сливочная тянучка».

— Только никаких коров! — сказал он.— Мы ведь не говядину продаем...— и показал перечеркнутую крест-накрест этикетку, где был нарисован альпийский лужок с тучной коровой.

Я потрудился день-другой, наконец переплел две извивающиеся полосы — одна вкусного цвета какао, другая — шоколадного. В одном овале написал пузатеньким шрифтом: Сливочная тянучка, в другом не менее крупно: Братья Манкос. Тянучек отведать мне не пришлось, но брат Манкос остался доволен, этикетка пошла в дело, и главное, что Алексея Павловича я не подвел.

Затем он доверил мне восстановление «Москвички». Работа исключительной важности. Тираж — огромный, ведь картинку эту и у нас, и в Москве хорошо знали.

За этими модными духами буквально охотились, а флаконы были украшены фирменной этикеткой, картинкой с настроением. На фоне порхающего снега фигурка изящной дамы в кокетливой шляпке с торчащим пером, в шубе, с большой муфтой — вся сплошь в горностаях... Словом, «идеал грез» нэпманского пошиба.

И случилась однажды неприятность — печатники стравили перевод на камень этой самой «Москвички». Нужно было скорее спасать положение — восстановить по бледному оттиску рисунок. Вот мне и пришлось отдуваться. С готовностью я взялся за работу, мне был

давно уже противен плохо нарисованный, какой-то куриный профиль московской кокетки и хотелось улучшить его по своему разумению. Дело кропотливое, приходится корректировать, заглядывая в лупу. Я сижу в непосредственной близости к Алексею Павловичу. В течение дня он подходит ко мне, берется сам за перо, поправляет. А день катится к вечеру, работается уже не споро, вяло...

И тут в эти минуты я замечаю боковым зрением, как в нашу сторону движется шаркающей походочкой очень деловитый гравер Адрицкий со свернутым в трубку журналом. У Адрицкого выразительное лицо прирожденного артиста: черные глаза навыкате, нижняя челюсть немного выдается вперед. Когда он сердится, челюсть придает ему людоедский вид, когда хитрит — подчеркивает нескрываемое лукавство. Сейчас его лицо выражает строгую секретность и еле сдерживаемое распирающее веселье. Челюсть ходит ходуном и влево и вправо...

Пошептавшись с Алексеем Павловичем, Адрицкий устраивается на батарее парового отопления, разворачивает журнал и начинает читать едва слышным сдавленным голосом.

Мы с Колей Жучихиным, сидящие совсем близко от «Гробницы Наполеона» (так называется у нас громоздкий стол Алексея Павловича), замираем, прислушиваясь к чтению, хотя и делаем вид, что с головой ушли в работу.

— «...А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду...»,— очень серьезно читает Адрицкий, хотя голос его дребезжит от приглушенного смеха. Расплывается в улыбке, сняв очки, и Алексей Павлович. Мы тоже, конечно, наслаждаемся, распознав интонации Зощенко, и стараемся не пропустить ни словечка.

— «Только видит Володька — не разобрать ему, где его молодая жена... „Господи,— думает Володька,—

ничего подобного со мной не происходило. Какая же из них моя молодая супруга?“...»

Теперь уж явственно слышно, как за моей спиной кто-то хихикает не стесняясь. Я поворачиваю голову — оказывается, никто не работает, а все приблизились и дружно посмеиваются, всех захватило чтение: вот ведь, оказывается, какие бывают веселые писатели, и какая, в сущности, веселая штука жизнь!

После чтения разгорается оживленный разговор о самом Зощенко — что это за удивительный человек, правда ли, что он все пишет прямо с натуры, и сколько он получает за свои рассказы?.. Кто-то называет баснословные цифры, но другие начинают возмущаться — как можно переводить на деньги уникальность таланта! Адрицкий уверяет, что видел Зощенко на подмостках в Таврическом саду — он толстый, курчавый, все время острит и рассыпает каламбуры...

Загадочная личность Зощенко многих волновала — все знают, какое множество писем приходило в редакции журналов. И в самом деле, трудно было назвать кого-нибудь из писателей столь известного во всех слоях населения, как Михаил Михайлович Зощенко.

Небольшие синие книжечки его рассказов расхватывались у газетчиков моментально. Произведения Зощенко читали в концертах, подчас безобразно коверкая и перевирая, самодеятельные исполнители и эстрадные артисты дурного пошиба.

Разговоры о творчестве Зошенко в нашем кругу переключались на других писателей, поэтов, артистов, художников.

Многие граверы и хромолитографы считали себя причастными к искусству или, вернее, называли себя пасынками искусства. Они старались быть в курсе борьбы течений. Помню, как одобряли Кустодиева, но поругивали «за бесстыдство» его «Русскую Венеру», издевались над Филоновым, обожали Бродского, с иронией говорили о

живописи Альтмана, Петрова-Водкина, Машкова... Но и художники, приходившие в литографию, имели тут своих избранников, просили Конкина, чтобы их произведения литографировал лучший, по их мнению, мастер, то есть именно вот тот самый Сергей Сергеич, который работал еще у Ильина... Так и вижу при этом двух художников — красивых, благоухающих, настоящих петроградских дэнди, братьев Ушиных. Демонстрируя свои рисунки, они обращались к Якову Алексеевичу запросто, как к своему коллеге.

Вспоминаю, как заметил я в ту минуту чудесную перемену в облике Якова Алексеевича. Куда девалось высокомерие, гордость, важная неторопливость. Благостная улыбка не сходила с его значительного лица, он был рад случаю хоть немного побыть с посланцами Аполлона, тонкими художниками, отвечать на их неожиданные остроты понимающим смехом, насладиться дымом их душистых сигарет «Сфинкс».

— Нет, нет,— говорил он, нахмурив густые брови,— с вашим превосходным рисунком Окуневу не справиться, здесь требуется нюансировка. Я поручу эту работу Фалесу, специально освобожу его от какой-то там муры...

И тут же Фалесу вручался драгоценный оригинал рисунка ушинской обложки, наклеенный на прочный картон и покрытый сверху полупрозрачной французской бумагой.

За недолгий срок пребывания в литографии успел я перевидать немало самых разных художников. Припомнить сейчас их всех невозможно, но вот несколько достаточно известных имен: В. Д. Замирайло, Адриан Каплун, Г. С. Верейский, К. И. Рудаков, Д. А. Буланов, П. В. Новиков, П. И. Басманов...

Трудно передать, с какой силой тянуло меня к художникам, как хотелось наблюдать этих счастливых людей, прислушиваться к их странным разговорам. Художники — все до одного — отличались оригинальностью

суждений, внутренней, недоступной мне особенностью их труда, недосказанностью шуток или оценок, каким-нибудь выразительным жестом, который объяснял больше слов...

Первый художник, с которым я познакомился поближе, был Дмитрий Анатольевич Буланов, он появился у нас со своими яркими картинками — это была его книжка о скаковых лошадях.

Как было не заметить, что фамилия художника, выделявшаяся на обложке, исполинский его рост, блестящие черные волосы, горделивая осанка и сама тема его книжки,— все тут соединялось вместе. Как часто бывает, художник и его творение сливались в одно явление искусства.

Буланов очаровал всех раскатистым голосом, мужественной красотой и добрым характером.

Не очень-то еще твердо зная, что такое литография, он говорил мне вполтона по-свойски: «Ты уж, дружок, помоги мне на первых порах, натри мне туши, как тут у вас это делается?..» И я натирал ему целое блюдце жирной туши Лемерсье, помогал писать шрифты...

И еще со мной почему-то любил говорить об искусстве, подкидывать хитрые вопросы художник Басманов. Мне нравились его красиво размытые пейзажи с небольшими фигурами мужиков, лошадок... У Павла Ивановича был удивительно молодой вид,— худощавое, но гладкое лицо, а взгляд остро-проницательный, испытующий. Рассуждая со мной, он всегда усмехался с загадочным видом, сомневался — в силах ли я понять его тонкое искусство...

...Банделов, Саулич, Слава Пащенко — все эти художники были вроде бы вольными птицами, но в обязательном порядке проводили день за днем в машинно-печатном отделении.

Проходя вдоль могучих машин, ритмично гудящих с некоторым завыванием, словно накатывающие волны

прибоя, я встречал кого-нибудь из этих молодых людей. Горбоносый Саулич придирчиво рассматривал на просвет свежий печатный лист, целиком его охватывая соколиным взглядом, и вдруг менялся в лице: что-то ему не нравилось...

— Стоп!

Печатный мастер выключал мотор, машина останавливалась. К месту события спешили озабоченные люди.

Из своей конторки выползал, что-то жуя на ходу, начальник цеха, лысоватый старик Коппле, занимавший этот пост еще при царе Горохе.

Саулич обнаружил брак: в рисунке слетело ухо медвежонка и недоставало почти полхвоста лисицы... Какой скандал! Такое случалось у нас крайне редко. По телефонному звонку в цех прибывала «скорая помощь». Чаще всего «на заправку» гоняли, как самого младшего и самого шустрого, меня. Я захватывал все необходимое: круглую баночку туши, вставленную в папиросную коробку (чтобы не перевернуть), перо, тряпочку, кисть. Надо было, подобрав полы халата, залезать в пасть машины, ложиться животом прямо на камень (он был шириной с обеденный стол)... Для меня на камень укладывалась подстилка из бумажных листов. Окислив участок поверхности, где чуть виднелось медвежье ухо, можно было приниматься за починку, держа перед носом оригинал художника.

Лежа работать неудобно: затекает шея, не на что облокотиться, зато гордись — ты выступаешь в роли спасителя; сколько почета — кто-то держит над тобой свисающую на проводе лампу, кто-то пододвигает поближе тушь. Нетерпеливый мастер подгоняет. Вот уже скоро час пройдет, а у него ведь простой, но Саулич придирчив — он требует, чтобы работа выполнялась со всей тщательностью... Старый Коппле утешает Саулича: скоро все будет в порядке.

Наконец, взмокший от напряжения, я выбираюсь на белый свет...

Вскоре я узнал, что три юных художника были направлены сюда властной рукою самого Вэ-Вэ, как они говорили, то есть Владимира Васильевича Лебедева — одного из замечательных создателей нашей детской книги, по заданию которого осуществляли строжайший контроль за качеством печати.

Так же, как во всяком муравейнике, где, как известно, кроме муравьев, проживают постоянно какие-то букашки, в большом зале машинно-печатного цеха иногда на время поселяются «гастролеры». Их совсем немного, это высокие профессионалы-одиночки, они не числятся в штате, а самостоятельно ведут дела, раздобывают выгодные заказы, принося этим пользу литографии, которая дает им приют. Ведь огромные тиражи этих заказов печатаются именно здесь.

Вот уж месяца два занимает угол возле окна знаменитый гастролер Исай Ярославцев. Он тучный, большой, еще не старый. Курит прямо в цехе, не опасаясь обходов пожарника. Подоконник за спиной уставлен бутылками из-под нарзана. Наш гастролер — полухудожник, полулитограф. Работу здесь он выполняет на двух-трех камнях большого размера. На этот раз он литографирует серию плакатов Госохотсоюза, они нарисованы самим Ярославцевым. Вид у них — удивительный. Листы перекорежены от избытка клея. В живописные участки намалеванной лесной чащи налеплены вырезанные откуда-то весьма натуральные волки, глухари, росомахи. Даже фигуры охотников похожи на раскрашенные фотографии.

Однажды он спросил:

— Слушай, тебя как зовут, Борис? Не хочешь ли подзаработать? Дело нескучное — на вечер останешься, будешь выполнять заливки, тушевать объемы...

Мне было это интересно, несколько вечеров я работал с ним, пока не получил дома нагоняй. А пока ра-

ботал, узнал про непоседливую жизнь бродячего артиста, к ней он привык и не мыслил для себя другой жизни.

Между делом я показал ему свои карикатуры для стенной газеты.

— А ты про художника Константина Ротова слышал?

И рассказал мне историю о том, как в самый разгар гражданской войны сдружился с молодым рисовальщиком карикатур, как разъезжали они с агитпоездом, выполняли на литографском камне сатирические листовки и плакаты... И как в ночной передряге (дело было в Екатеринославе) белогвардейцы схватили Ротова, хотели повесить за издевательские карикатуры, швырнули в тюрьму... Но, драпая из города, забыли о заключенном, который едва не помер от истощения в камере-одиночке...

Долго пришлось Ярославцеву выхаживать измученного Константина Павловича, толкаясь на базаре, обменивать то часы, то одежонку на хлеб и свиное сало.

— Вот какая опасная игрушка — карикатура, запросто башку потерять можно,— посмеивался боевой товарищ известного сатирика...

Этажом ниже под нашей мастерской на дверях красовалась бронзовая табличка с выпуклыми буквами: «Станково-печатное отделение». Когда гравер заканчивал работу и Алексей Павлович не предъявлял никаких претензий, нужно было тащить камень на станок печатника. Тот обрабатывал камень: подвергал его травлению, накатывал валиком краску, печатал с камня пробу.

Надо нести свою ношу бережно, на плече, не показывая виду, что тяжело, а если камень велик, его переносят даже трое или четверо со всеми предосторожностями. Был случай: я оступился на лестнице, и камень выскользнул, ударил по носу моего ботинка, но остался целехонек, а в медпункте (он находился на этой же

черной лестнице) ботинок пришлось разрезать. С той поры большой палец левой ноги у меня сплюснутый, похожий на вареник...

В станковом отделении и зимой и летом всегда чувствуешь бодрый холодок. Прохлада исходит от камней, от этих каменных плит, которыми заставлены три этажа надежных деревянных полок. На торцах каждого камня — номер, написанный масляной краской, и выглядит эта каменная библиотека страшновато, как подумаешь, какой это колоссальный груз. Десятки камней стоят рядами у станков в ожидании очереди. Здесь так чудесно пахнет тинктурой, краской, декстрином, скипидаром... Перед станками с задранными вверх выгнутыми рукоятками расхаживают печатники и их подручные — крепкие молодцы. Все тут как на подбор силачи, с закатанными выше локтей рукавами, в хрустящих кожаных передниках.

Работа веселая, шумная, ее невозможно выполнять с развальцей. Все время слышатся команды мастеров:

— Мочи!.. Суши!.. Крути!.. Поторапливайся!..

Тот, кто проявляет нерасторопность, получает дружеский пинок или подзатыльник. Насмешливые шутки летают от станка к станку. Мастера и подручные попеременно задают тяжелый пресс, крутят с двух сторон ручки станка, крякают... Над камнем вертятся картонные бабочки самодельных сушилок, они похожи на маленькие опахала... Начальник цеха Антон Иванович Чернявский — атлет с мощными руками и бычьим загривком — никому не дает бездельничать, сам выполняет сложные переводы и прочие ответственные работы. Вот уж настоящий отец-командир: когда надо строг, насмешлив, авторитет непререкаемый.

В дальнем уголке цеха за плотной перегородкой находится интереснейшая комнатушка, «черный кабинет» — так прозвали печатники каморку без окон, куда Антон Иванович не разрешает заходить никому.

В темноте «кабинета» поблескивают стеклянные банки с притертыми пробками, узкогорлые бутыли с наклейками «череп и кости», вместо стула бочонок, а с потолка свисает на железных цепях прямо над грубо сколоченным станом, вроде эшафота, тяжелый рефлектор с вольтовой дугой внутри.

Многим художникам Антон Иванович известен не только благодаря глубокому знанию литографской печати, но и постоянному его стремлению к опытам. Ведь именно Чернявский стал успешно применять у нас фотолитографский способ.

За экспериментами Антона Ивановича внимательно следил Марк Кирнарский — главный художник издательства «Прибой». Это был выдающийся конструктор книги, энтузиаст, знаток полиграфии. Я хорошо помню, с какой прытью бегал этот пожилой человек по этажам и по всем цехам типографии, не боясь испачкать голубую ткань своего модного костюма. Из наборного отделения он летел в цинкографию, оттуда наверх, в жаркий климат стереотипного цеха, затем еще выше, к литографским станкам. Он не мог оторваться от Антона Ивановича, ожидая новых открытий, заказывал ему подкладные фоны для обложек, форзацы всевозможных фактур и оттенков — все это для оформления будущих книг...

Накинув белый халат с прожженными дырками, Антон Иванович заходил в лабораторию, громко щелкал задвижкой, включал свет и погружался в работу. Он закатывал камень составленной им собственноручно краской, прыскал на него щавелевой кислотой, квасцами... Что-то притирал, скоблил, царапал. В ход шел шеллак и марля, жидкости из каких-то бутылочек... Перед Кирнарским он несколько важничал, играл всемогущего чародея.

— Так, так, понимаю, фактура «с морозцем»... Дело возможное, что-нибудь в этом роде я сочинить бы мог... Да ведь где возьмешь, например, настоящего ректифи-

кату?.. И яичные белки тоже надобны, уж никак не меньше дюжины...

И что же? На следующий день спешил к «черному кабинету» художник Кирнарский с кульком яиц и флягой медицинского спирта. Дверь наполовину раскрывалась, оттуда появлялась волосатая рука Чернявского, забирала не хватавшие ему ингредиенты.

— О, це дило! — восклицал он.— Завтра после обеда приходите, уверен — все получится.

Через часок Антон Иванович обходил мастерскую, очень довольный и оживленный. Обозревал, потирая руки, не затихает ли жизнь в его владениях, после чего снова удалялся в полутьму своего кабинета, шагая по хрустящей яичной шелухе.

А с утра уж он раньше всех за станком, сух и озабочен, и вот тискается проба: смывается и накатывается второй, третий вариант цвета... В бледно-зеленый оттиск впечатывается тот же рисунок, но коричнево-золотистый и чуть-чуть сдвинутый...

Кирнарский стоит по ту сторону станка, разглядывает свежий отпечаток, сверкает улыбкой, беззвучно аплодирует Антону Ивановичу.

И еще один человек интересуется этими опытами. Он вообще-то видит все вокруг, хотя сам остается почти совсем незаметным, настолько слит с окружающим. Вот как живой стоит он перед моим внутренним взором. Это Георгий Семенович Верейский, выдающийся художник, незыблемо спокойный человек, деликатнейший и внимательный одинаково к директору или к простому шлифовщику.

Всем известно, какой блестящий рисовальщик Верейский, какой он портретист — создатель галереи прославленных писателей и художников. И здесь, в типографских стенах, кого только не запечатлел его дивный карандаш. К счастью, художник работал прямо на камне, или на французском торшоне — таким образом, и

сегодня мы можем разглядеть его автолитографии — портреты людей, среди которых я жил: Конкина с его эспаньолочкой, Чернявского, накатывающего валиком камень, других печатников и граверов и среди них нашего корифея В. С. Онегина.

Чувствую, что я не в силах пройти мимо этого чудака и оригинала — поэта и драматурга,— и приглашаю вас познакомиться с ним поближе.

Онегин был, пожалуй, самой выдающейся личностью в типографии, не менее популярной, чем, скажем, Александр Васильев. У нас Васильевых было не перечесть, но именно Александр — красавец лет сорока — пользовался безграничной симпатией. Он был человек с богатым прошлым, выступал инкогнито в чемпионате французской борьбы под красной маской и считался непобедимым. Когда же недавно Ян Цыган уложил его на лопатки, арбитр дядя Ваня сообщил публике, что под маской скрывался знаменитый Алекс Валли — достойный соперник великого Луриха.

Уж не знаю, как протекала двойная жизнь Васильева — Алекса Валли, как совмещал он двойной нельсон с работой председателя фабкома типографии, но только после разоблачения красной маски он был снова избран на высокий профсоюзный пост...

Так вот, всеобщий любимец Онегин был еще более известен. Он не просто отличался среди всех людей, но вы за версту могли бы узнать его приметную фигуру. Зимой носил он синеватую бекешу, отороченную заячьим мехом, а на голове белую (довольно грязную) папаху с алым верхом. Весной и осенью надевал кавалерийскую шинель времен гражданской войны, с тремя малиновыми шевронами на груди. Правда, злые языки говорили, что шинель Онегин позаимствовал из какого-то театрального представления. Все ведь знали, что Владимир Сергеевич Самсонов-Онегин (точно такова была его фамилия) был не только автором многих пьес,

но и выступал на подмостках с самими братьями Адельгейм.

В литографии он числился заведующим архивом камней, хозяйство его размещалось в холодном подвале, но, стараясь избежать простуды и ревматизма, Онегин проводил время большей частью наверху, занимаясь перенумерацией камней, охотно помогал станковым печатникам, или покуривал на лестнице, декламировал нам что-нибудь из Шекспира.

Наш артист был почтенного возраста, лет пятидесяти с лишком. Рыжеватые волосы до плеч, лицо изрыто рябинами и складками, нос орлиный, а рот маленький, нижняя губа оттопырена. Он готов был с кем угодно побеседовать, обсудить мелочные вопросы жизни. Не рассчитывая на благодарность, любил одарить цветами поэзии миловидную брошюровщицу, останавливая ее на ступенях лестницы широким театральным жестом: «Тихо горишь ты, дочь неба прелестная, после докучного дня, Томно и радостно, дева небесная, смотришь с небес на меня...»

Словом, это был наш типографский Дон-Кихот.

— Онегину пр-ривет! — кричал пронзительным фальцетом из толпы какой-нибудь мальчишка-ученик, и Владимир Сергеевич милостиво улыбался, наклоняя голову с львиной гривой нечесаных волос.

Георгий Семенович Верейский нарисовал Онегина в один сеанс, замечательно похоже. Оттиски рисунка разлетелись среди самих же печатников, и наша газета напечатала портрет на видном месте, снабдив подписью: «Наш постоянный писака, старейший рабкор...» Так и было напечатано — писака, но он не счел это обидным.

Иногда я приближался к занятому рисунком Георгию Семеновичу. Он, конечно, видел, что я подхожу, но не возражал, и я принимал это как знак доверия, смотрел, как ходит карандаш по листу торшона, как выяв-

ляется с каждой минутой облик печатника Жбанова. Он стоит, опираясь на свой станок, с улыбкой счастливого избранника.

Должно быть, с той поры потянулась ниточка, которая затем, через годы, привела меня в старый дом на Васильевском острове. Отчетливо, как бывает во сне, вижу обстановку квартиры с балкончиком и полукруглым окошком, сумрак столовой, где с потолка свисает абажур чайного цвета, а над входом — живописный портрет историка Кареева... И еще — на двадцать персон обеденный стол. Здесь часто собирались товарищи и соученики молодого Ореста Верейского, которого судьба подарила мне в друзья...

Однако это все еще где-то впереди, а сейчас пора вернуться в типографию на Измайловском проспекте.

Из множества дней один запомнился особенно четко — день первой получки, первые заработанные мной деньги... То чувство небывалой гордости, когда кассир произнес, тыча пальцем в ведомость:

— Распишитесь вот тут.

И вручил новехонькие шелестящие дензнаки.

Снег падал хлопьями, я шел, петляя из улицы в улицу, и никак не мог добраться до своего дома — заходил в лавчонки и магазины, хотел принести маме в подарок что-нибудь особенное.

Хорошо бы купить ей что-то оригинальное, красивое — вазу для цветов или расписной фарфоровый чайник, а может быть, перламутровый театральный бинокль... Но все, что мне нравилось, стоило слишком дорого, а денег было не так уж много. И выйдя на Клинский, я не стал заходить привычной тропой в магазин «Красный студент», а направился по соседству в ярко освещенную булочную Бубенцова. Уж одна фамилия чего стоит, а кто еще, как не Бубенцов, сумеет выпечь такой вкусный ситный с изюмом, такую ароматную коврижку с медом или эти поджаристые, обсыпанные мин-

далем и сахарной пудрой настоящие выборгские крендели.

В булочной толкалось несколько парнишек, они любовались вкусным товаром и читали вслух витиеватую надпись над кассой: «Кредит делу вредит». Я протиснулся к прилавку и, окруженный всеобщим вниманием, выбрал самого золотистого красавца.

Мадам Бубенцова своими белыми ручками завернула покупку в тонкую скользкую бумагу и перевязала розовой ленточкой.

Ах, как обрадовалась мама: не часто ей приходилось получать подарки, как захлопотала, усаживая меня за стол!

— Да... А где же деньги-то мои?..

Я выскочил, лихорадочно захлопал себя по карманам, стал обыскивать в передней свою куртку — никаких денег, кроме нескольких медных монет.

Со свечкой обшарили мы нашу темную лестницу, затем я побежал для проверки в булочную — вдруг там найдутся, а там уж гасили огни и сам Бубенцов навешивал на двери амбарный замок.

— Надо ухо держать востро,— сказал он, услышав о пропаже.— Сейчас от этих ширмачей спасу нет, так и рыщут по карманам.

Вот в какую цену обошелся мне золотой крендель...

* * *

Зима в тот год стояла долгая и суровая. Отапливать все наши комнаты было трудно и дорого, и чаще всего мы обедали на кухне. Отец много работал, приходил поздно, ему пришлось заменять основательно заболевшего метранпажа Поздранкова.

И все-таки мне удалось вытащить однажды его на каток. Он все отговаривался тем, что не стоял на коньках более двенадцати лет, но я просил, настаивал, на-

конец-то уговорил — мы ведь редко выбирались куда-нибудь вместе.

Увлечение спортом стало тогда поголовной страстью. Любой, кто пожелает, мог сделаться бегуном, футболистом, толкателем ядра... Повсюду открывались спортплощадки, этого требовала новая жизнь. Спорт облагораживал и раскрепощал человека, помогал побеждать мещанство, косность, суеверия...

Вокруг нас существовало не меньше четырех катков — в саду «Буфф», на Семеновском плацу, на Глазовой и еще один, совсем крошка — за Обводным каналом.

Мы поехали с отцом в Таврический сад. Там было больше зимней красоты и комфорта — настоящий окутанный снегом лес, а ледяное поле сплошь освещено разноцветными фонариками. Музыканты сидят у печки в глубокой раковине, к тому же раздевалки две, и обе с буфетами. В «Тавриде» было шумно, многолюдно и празднично.

Отцу подобрали хорошие коньки на ботинках, как раз по ноге. Это были коньки «нурмис», с острыми зазубринками на носках. Раздеваться он отказался и вышел на лед в своем коротком пальто и в кепке, зимних шапок он не признавал.

Сверкание огней, ясно отражающихся в застекленевшем ледяном пространстве, вкусный морозный воздух, хоровод летящих по кругу ярко одетых людей — все это преобразило отца самым чудесным образом. Он медленно выкатился на середину, еще не веря, что держится устойчиво, как и все, на этих узких конечках.

Сперва он действовал нерешительно, с опаской, потом начал раскатываться, делая длинные шаги, попробовал поворачивать задним ходом, быстро-быстро перебирая ногами... Все у него отлично получалось, как тут было не ликовать!



Передо мною был не отец — совершенно другой человек, вполне молодой, похожий на мальчика, тонкий, подвижный. Суховатое лицо прихватил легкий румянец,— это был как бы мой старший брат.

Наконец он покрутился на одной ноге, разбежался, присел и сделал то, чего не умел я,— «пистолетик»... Но не удержался и дальше поехал на спине с задранными ногами.

Я просто ошалел от восторга — носился вокруг отца, как лопоухий щенок, хватал и теребил за полы пальто, старался уронить в мягкий снеговой барьер, и раза два мне это удалось... Но я еще не понял, что испортил наш маленький праздник. В какой-то момент я, должно быть, перехлестнул грань умеренной фамильярности, отец ужасно обиделся на мои дурацкие толчки и шутки.

После мы пили чай в буфете, но заглушить мою глупость не могли никакие коврижки и ромовые бабы... Покружившись еще немного по льду, мы отправились домой в заиндевевшем по самую дугу трамвае.

Мои коньки назывались жаксонки: сбоку на лезвии виднелись буковки вразбивку: «Jackson», и больше ничего. Очевидно, правильнее было — Джексон, но все говорили с французским прононсом: «Жаксóн». Они еще назывались полубеговыми коньками. Носы закрученные, а за пяткой длинный конец полоза.

Купить жаксонки было непросто, я обменял их все

у того же Букши на свои фигурные и дал в придачу волшебный фонарь...



Но дело даже не в том, какие были коньки, а теперь можно признаться, что магнитом тут была... Соня Менг. Ну конечно, сестра ее Ирена, летавшая по беговой дорожке на настоящих «хагенах», в белом свитере и черных (не колготках, а как же они назывались?)... рейтузах, конечно, Ирена выглядела существом из заоблачных сфер. Она была повыше Сони и прекраснее, но старше. Мы ей казались так, недостойной внимания мелочью. Соней хотелось бесконечно любоваться, такая она была круглая и белолицая, фарфоровые глазки с темными ресничками. Какое счастье заключалось в том, что она соглашалась прокатиться вдвоем, сплетая руки кренделечком, один круг, потом другой... И разговора-то интересного не было, просто ритмичное катание враскачку под духовую музыку. Оркестр исполнял вальсы, мазурки и галопы. После вторичного вращения по кругу Соня тихо говорила, что хочет отдохнуть, и опускалась в топорно сколоченное кресло на саночных полозьях. Можно было ехать, медленно толкая кресло перед собой, что хоть и было тяжеловато, но приятно, встречные таращили глаза: «Какую куколку везет!..»

Каток на Глазовой навещали знаменитые спортсмены, здесь имелась превосходная беговая дорожка. Олимпийские боги спортивного мира — Якобсон, Якшинский,

Мельников и другие,— с ноги на ногу переваливаясь, выходили на лед из фанерного домика, а за ними следовала свита мальчишек на коньках, прикрученных к валенкам веревками.

Около десяти часов иззябшие трубачи принимались кутать в чехлы инструменты, одна за другой гасли лампы и сторожа начинали бесцеремонно махать метлами и широченными лопатами... Ирена бросала на лету несколько строгих указаний сестре и скрывалась в раздевалке.

Бывало, сопровождаемые луной, мы возвращались вдвоем — Соня и я. Она жила на Верейской улице в доме с башнями и венецианскими окнами. Что там скрывать, очень хотелось в минуты прощанья чмокнуть ее в холодную пылающую румянцем щеку... Но, как олицетворенье рока, в освещенном окне фонаря-эркера, буквально у нас над головой, появлялся выразительный силуэт Ирены. Она барабанила по стеклу, грозила пальцем, жестикулировала, как матрос-сигнальщик... И Соня, печально улыбнувшись, скрывалась за тяжелой дверью подъезда...

* * *

Я часто удивляюсь, до чего же были дороги деньги в те давние времена. Сколько надо было зарабатывать, чтобы купить какую-нибудь приглянувшуюся вещицу, вроде перочинного ножа. Да что там, даже два билета в театр обходились в кругленькую сумму. Тут вспомнить уместно, какой жуткий скандал разыгрывается в театральном буфете в рассказе Зощенко «Аристократка», и все происходит из-за оплаты одного пирожного. А ведь конфликт всамделишный, выхваченный из трудной жизни...

Соблазнов было невероятное множество, и трудно разобраться — что влекло больше. Притягивали и театр,

и цирк, и джаз, и конечно же, спорт, футбол прежде всего.

Казалось, на все найдется время, и действительно, все как-то складывалось само собой. Не хватало только одного пустяка — денег. А где их взять?

Посторонних заработков ни у кого из нас не было... Но так безумно хотелось попасть на премьеру джазовой оперы Эрнста Кшенека «Джонни наигрывает...». Все о ней только и говорили. Единственная загвоздка — где достать презренный металл? Ведь Павлик Новицкий, Коля Камаев и я копим деньги на приобретение футбольного мяча. Почти все наши гроши идут на эту ценную покупку. Меня выбрали казначеем, и я сыпал ежедневно медную мелочь в прорезь на голове гипсовой полосатой кошки...

В оправдание нашей легкомысленной жизни могу сказать одно: ни я, ни мои товарищи не знали, что такое безделье, и презирали шатание по улицам...

Замечу, что на спектакль «Джонни» мы все-таки проникли. Удалось найти доброго человека, который провел нас подземным ходом под сценой, по служебной лестнице на галерку Малого оперного, ко всему еще совсем бескорыстно. Это был начальник пожарной охраны, толстячок, с пронзительным, как свисток, голоском и благозвучной фамилией — его звали Ромодановский.

Спектакль насытил нас до отвала. Страстная синкопирующая музыка, чудесные певцы, блеск постановки... Наконец, трагедия негритянского музыканта... Долго мы еще бредили театром, пыли себе под нос: «Прощай, мой друг, прощай навек, тебя я покида-аю...»

Но музыка не могла вытеснить наших спортивных интересов. Футбольный мячик мы гоняли на спортплощадке типографии. Был у нас вратарь, прыгучий, как кошка, тот самый Миша Иванов, поклонник Джека Лондона.

Если площадка была занята, мы катили на трамвае в сад у Николы Морского, находили кусок свободного пространства и носились дотемна, шурша и раскидывая ногами ржавую осеннюю листву. Мяч был у нас допотопный, весь в уродливых заплатах.

Среди наших противников были ребята с Крюкова канала и улицы Глинки. Здесь и жил наш атлетический форвард Коля Камаев, он же считался капитаном нашей команды, которую составляло семь человек.

И вот накопилась нужная сумма, я проверил это по своим записям. В присутствии вкладчиков кошка была разрушена ударом молотка, перед нами появилась горушка медной монеты.

Денег хватило с избытком, можно было купить еще пару шингердов (наколенников для вратаря). У нас в руках очутился долгожданный оранжево-желтый красавец мяч, он был ничуть не хуже того, каким разыгрывалось первенство Ленинграда.

С этим шикарным мячом просто неловко являться в Никольский сад, уж по такому мячу и масштабы иные. Раз-другой мы проникали в сад Артиллерийского училища, но там стояла только одна пара шатких ворот, и играть было не с кем, а нам теперь требовался достойный соперник.

Помнится, играли мы в районе Варшавского вокзала, где были и ворота, нашлось и семеро игроков. Какой-то дядька взялся судить, но железнодорожники были здоровенные парни, все, как один, выше нашего рослого Сережи Лапидуса. Страшно было за мяч, с такой пушечной силой посылали его под облака эти гренадеры... Проиграв с крупным счетом, мы удалились, едва волоча ноги.

Нашелся какой-то благожелатель, который сказал, что на Съездовской линии, во дворе бывшего кадетского корпуса, имеется вечно пустующее футбольное поле с хорошими воротами, бывает, что на них повешена сетка, а играть почти некому.

— Только вряд ли вы туда пройдете — проездные ворота почти всегда закрыты...

Ехать в такую даль, на Васильевский остров, не хотелось, но решили разузнать. Оказалось, все так и есть: и поле с воротами, и мальчишки мячик гоняют... А проникнуть проще простого — через следующую, вторую от угла парадную.

Поехали мы туда с опаской. В широком пространстве двора было пустынно, откуда-то слышался крик петуха. Плац был хорошо утрамбован, а в центре поля синела непросыхающая лужа.

Мы начали играть в одни ворота, и через несколько минут сбежалась стайка ребят, вполне миролюбивых. Сначала они просто глазели, потом, как это всегда бывает, мы договорились, где чьи ворота, и матч начался. Судейства не было, но не было и осложнений. Игра проходила в дружеской атмосфере.

Трудно сказать, как долго длился матч, ведь часов ни у кого не имелось. Наш голкипер был великолепен: в полете вынимал мяч из-под самой перекладины, самоотверженно хлопался всем телом на утоптанную землю...

— Молекула,— в ноги! — командовал наш капитан, и вратарь кидался прямо под удар противника.

Победила наша доблестная команда, и с большим счетом. Были мы еще довольны тем, что наш мяч хоть и побывал в луже, не потерял золотистого блеска.

С мальчишками условились, что через неделю придем снова.

Следующее воскресенье выдалось серенькое, с холодным ветром с Невы, но играть было можно. Мы собрались в полдень на остановке восьмого номера трамвая и покатили на Васильевский остров.

По всему было видно, что нас ожидали с нетерпением. На поле собралось вдвое больше ребят, чем в первый раз.

— Шу-у-ба-а! — заорал из гулкой подворотни какой-то малец.— Идут, идут!..

Игра началась тотчас же, как только мяч был поставлен на центр. Видно было, что противники настроены на выигрыш, они насели на нас всем скопом. Четверым пришлось уйти в оборону, а наш голкипер, вроде тигра в клетке, взлетал, падал, бешено метался в воротах.

Ближе всех к воротам василеостровцев держался Камаев, он выкрикивал слова команды и жестикулировал, как дирижер.

И вдруг... (В каком матче не бывает внезапной перемены ситуации?..) В самую критическую минуту, когда подкошенный Молекула лежал на спине у незащищенных ворот, Сергей Лапидус сильнейшим ударом послал мяч в ноги нашему капитану. Тогда Коля, получив выгодный шанс, приблизился красивыми скачками к воротам, где маячил парнишка в рыжем свитере, и нанес прицельный, может быть, лучший свой удар, в середину между перекладинами. Вот это был великолепный гол! Мяч просвистел над ухом вратаря и улетел далеко в загольное пространство, ведь никаких сеток на воротах не было...



И тут происходит нечто настолько непонятное, что все мы застываем на нелепо растопыренных ногах. Немая сцена, где кроме нас шестерых, все по-

чему-то бегут в разные стороны с поля под возгласы: «Шу-ба! Шу-ба!..» Видимо, это был какой-то специальный клич.

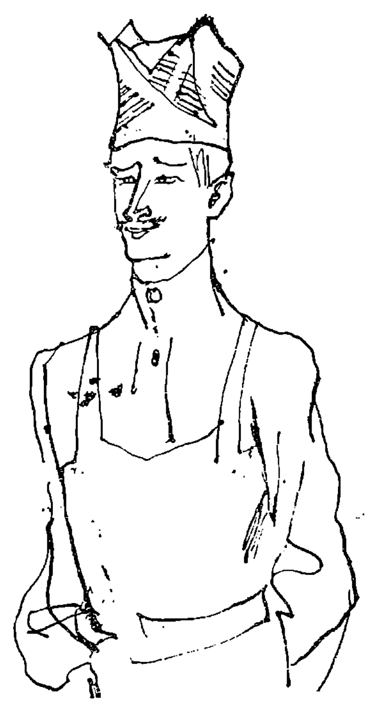
Впереди же всех, намного обогнав Камаева, несется лохматый парень в свитере, а в руках у него мотается наш золотой мяч. Вот этот негодяй забежал за какой-то сарайчик, затем в кирпичном высоком доме хлопнула дверь и — всё! Тихо, как в пустыне.

Кроме нас, шестерых пришельцев, во дворе не осталось ни души. Нет, мы не могли так просто сдаться: стали бегать по этажам, барабанили в каждую квартиру, обшарили даже чердак. Все безуспешно. В конце концов удалось подкараулить гнусавого мальчишку, который горланил: «Шу-ба, шу-ба...» Мы трясли его так, что полетели пуговицы. Хоть бы узнать, где живет кто-нибудь из футболистов-заводил: Толик или Женька. Парень прикинулся дурачком и твердил, что он не здешний, а живет у бабушки в Тучковом переулке...

Пожалуй, что именно тогда, расставшись с футболом, увлекся я шахматной игрой. И получилось это вот каким образом.

Направляясь в машинно-печатное отделение, вы попадали сперва в довольно большой и светлый отсек, разделенный проходом. В отсеке стояли два длинных и широких станка, два колоссальных корыта для шлифовки машинных камней крупного размера. Камень медленно ездил взад и вперед под шлифовальным устройством. Это был металлический вращающийся зажим в виде барабана, куда вставлялись кирпичики ноздреватой пемзы. Вода из трубочек разбрызгивалась равномерно, смачивая поверхность камня, сплошь покрытого слоем взбитой беловатой пены, так похожей на кондитерский вкусный крем, что хотелось его лизнуть.

Здесь отлично управлялись с ответственной работой старший мастер Мстиславский и его помощник Гуревич. Оба они напоминали не то поваров, не то мельников в



длинных брезентовых фартуках, до самого пола. Только красавец Мстиславский носил на голове высокую бумажную митру (многие типографщики любили сооружать из печатного листа без всяких ножниц и клея затейливые головные уборы), а Гуревич — толстый, неказистый — ходил в приплюснутой черной фуражке. Он представлял собой полный контраст своему начальнику. Мстиславский был покорителем сердец, известным типографским щеголем и шутником; пушистые светлые усики, френч с карманами на груди, высокие начищенные сапоги шевро, да и фамилия театральная — по всем этим признакам напоминал он кавалерийского белого офицера из кинолент того времени («В тылу у белых», «Зеленая канарейка» и т. д.). А впрочем, человек он был добродушного нрава. Говорили, что он обожает лошадей и часто посещает ипподром.

Видимо, по этой причине Мстиславский добродушно подшучивал над печатным мастером Иваном Ивановичем, говоря о котором все неизменно добавляли без всякой насмешки: «... со спущенными штанами». Ничего непристойного в этом прозвище не содержалось, а такова была примета внешности Ивана Ивановича, завзятого игрока на бегах.

Лицо этого страдальца, необыкновенно доброе, с мечтательными и грустными глазами, вызывает в памяти известный портрет Эдгара По, только постарше лет на десять. Он был запойный игрок, мог жить только игрою: не ипподром, так Владимирский клуб поглощали все его время и деньги, здоровье. Иван Иванович был одинок, жены от него уходили. Носил он много лет один и тот же длинный пиджак с галстучком и просторные, низко спущенные, прямо-таки клоунские брюки. Низы брюк все более стаптывались, и вместо того чтобы чинить их, Иван Иванович состригал ножницами очень заметную бахрому, брюки становились короче, приходилось опускать их все ниже и ниже. Отсюда пошло его прозвище.

Иногда фортуна улыбалась Ивану Ивановичу, он поддразнивал Мстиславского, и в обеденный час они усаживались за шахматную доску. Я любил наблюдать их схватку с восклицаниями и спорами.

Гуревич в это время сидел возле другого окна, попивая молоко из горлышка бутылки и углубляясь в интересную книжку. Ведь ни Мстиславский, ни Иван Иваныч не могли быть его соперниками, Гуревич имел категорию, он был классным шахматистом.

Заметно было, что Гуревич живет в каком-то своем шахматном мире среди ферзей, ладей и всяческих гамбитов. Его мешковатая фигура, рассеянность и странные привычки вызывали смех. Например, для того чтобы определить, хорошо ли отшлифован камень, нужно было ребром ладони или просто пальцем сдвинуть слой пены и взглянуть, как идет дело.

Вместо этого Гуревич (а он был ужасно близорук и не снимал очки-телескопы со стеклами толщиной в палец) наклонялся как можно ниже, окунал свой нос в пену, сдвигал ее кончиком носа и вглядывался в очистившуюся полосу камня, определяя, пора остановить станок или продолжать шлифовку.

После этого он важно расхаживал по цеху, заложив руки за спину, с белым колечком на носу, пока Мстиславский не отдавал команду:

— Гуревич! Пену долой!..

Гуревич заметил, что я долго и терпеливо наблюдаю, как играют наши заядлые шахматисты. Он решил, что из меня может выйти толк. И действительно, сумел разжечь интерес к шахматной игре. Он был не просто хорошо начитан, но предполагаю, что мог бы стать лектором, столько знал всякой всячины о шахматах.

Он рассказывал притчу о бедняке (может быть, о Насреддине), который едва не проиграл в шахматы турецкому султану любимую жену. Еще один ход — и конец, но тут жена закричала, чтоб Ходжа отдал султану ферзя!..

— И вот, смотри, что было дальше,— Гуревич расставлял фигуры и показывал, как, следуя совету мудрой жены, Насреддин ухитрился сделать владыке мат.

Гуревич рассказывал о непобедимом Филидоре, о карьере Алехина. Говорил просто, словно бы сам игрывал с ними. А самой крупной доблестью считал свою ничью не то с доктором Ласкером, не то с самим Капабланкой в 1925 году.

Через месяц-другой Гуревич вписал мое имя в состав игроков типографии, и вскоре я был зачислен в участники большого турнира. На Фонтанке, напротив типографии Володарского, помещался чей-то клуб. Помню пустой зал с высокими потолками, с огромными окнами и красной мебелью. Столы участников растянулись метров на пятьдесят. Все были чертовски озабочены: уж какое тут веселье перед битвой, все так волновались. А я злился на себя, сознавал свою слабость и, получив подряд полдюжины матов, снялся с места и отправился восвояси. Выйдя на свежий воздух, я зашагал вдоль набережной к Чернышеву мосту, затем шел через круглую площадь с памятником Ломоносову и с жадным любо-

пытством косился на фасад желтого дома с колоннами, где круглые сутки горит электрический свет, а у подъезда черная вывеска с золотыми буквами: «Красная газета». Что-то ужасно тянуло меня к этой таинственной вывеске (да, да, таинственной — ведь есть же выражение «редакционная тайна»), к неприметельному входу в тот мир, где жизнь кипит, где по всем этажам снуют решительные и смелые люди — репортеры с трубочками в зубах, с умными, скептическими улыбками...

Огибая памятник, я взглянул в бронзовое лицо Ломоносова и с удивлением заметил, что Михайло Васильевич хитро сощурился, подмигнул мне и высунул язык...

Ничего удивительного! Как известно, в нашем городе подобные вещи совсем не такая редкость.

В те годы мне в голову не приходило, что редакционная и издательская работа станет в моей жизни очень важным делом. Конечно, было бы интересно напечатать где-нибудь картинку, посмотреть, понравится ли кому-нибудь моя мазня...

Дальше этого не было никаких планов, никаких фантазий... Но все равно, видимо, совсем подсознательно, цель была намечена: типография, газета, редакция, печать — все ведь соприкасается, взаимопроникает...

В типографии у нас выпускалась газета «Искра». Сначала это была стенная газета, многотиражная, напечатанная литографским способом, скучноватая и бледная.

Как-то весной я провалялся несколько дней в простуде и на работу вышел накануне первомайских праздников. Мой рабочий стол был загроможден большим камнем, на нем что-то рисовал бойким карандашом, не замечая ничего вокруг, незнакомый художник. Он был красив и широкоплеч, настоящий атлет, под висячей лампой блестели зачесанные назад густые светлые волосы.

Я заметил еще, что через спинку стула был переброшен макинтош с необычными кожаными пуговицами в форме футбольных мячей. Из-под руки художника появлялся на свет наполовину уже готовый, сложный рисунок — изображение огромной стройки. Масса человечков с гружеными тачками, с молотками и прочим рабочим инструментом стремилась вверх по лесам, по крутым лесенкам, поднося кирпичи и укрепляя стропила. В рисунке была тысяча деталей, и все исполнено с простотой и условностью, так что мозаическая поверхность рисунка напоминала гравюру.

— Ну что, насмотрелся? Теперь бери кисточку и помогай! — художник протянул мне кисть и указал на ту сторону камня, где виднелся слабо намеченный синим «милори» легкий контур. Художника звали Петр Васильевич Новиков. В литографии он появился как практикант—студент Академии художеств, а стройку рисовал для нашей «Искры», не рассчитывая на вознаграждение.

Надо сказать, что я сразу сообразил, что за чудо-человек передо мной. Сила в нем чувствовалась большая, даже не просто ощущение силы и крепкого здоровья, а исходил от него словно бы электрический ток, тот самый Mens sana — здоровый дух в здоровом теле.

Спокойный и раскованный, мужественный и правдивый, Петр Васильевич стал навсегда для меня образцом человеческого достоинства.

Итак, сижу, работаю плечом к плечу с этим богатырем, старательно обвожу кистью намеченный им рисунок. Количество кирпичиков растет, стройка подходит к концу, и вот Петр Васильевич последним взмахом карандаша завершает красивую надпись: «Искра».

Пожалуй, я не смогу перечислить виды спорта, которыми занимался Новиков. Бег, борьба, гимнастика, лыжи, футбол, теннис... И это не перечень забав сильного человека. В спорте, как и в искусстве, он терпеть



не мог дилетантов. Всю его жизнь пронизывала спортивная страсть, зародившаяся в детстве.

В голодном 1920 году Новиков успешно занимался французской борьбой и одержал серьезную победу над финским чемпионом, да, не рассчитав силы, нечаянно сломал грозному сопернику два ребра. Я сам читал об этом в журнальчике «Всеобуч и спорт».

Победа ему далась нелегко — нужно было набрать установленный вес в своей категории, а для этого необходимо питаться по-человечески: отбивная котлета с луком, голубцы, свиной шницель... Об этом молодой атлет даже мечтать не смел. Мясо было недоступной роскошью.

На помощь пришли книги. Новиков забрал из библиотеки все, что касалось диетического питания и вегетарианской кухни. Он вывесил над столом таблицу — безупречный, точно по науке, рацион. Он заменил питательные свойства говядины капустой, морковкой, свеклой, яблоками и орехами... И в отличной форме вышел по свистку судьи на ковер, готовый к победной схватке.

Впервые я зашел к нему домой за билетом в Филармонию на концерт пианиста Льва Оборина. Сам Петр Васильевич пойти не смог из-за какой-то работы и настоял, чтобы я пошел, послушал бы Шопена.

Он жил на Можайской, в комнате с окнами во двор. На стенах было много рисунков углем, я удивился: в каких поисках рождается построение одной вещи,

А сверху смотрела на меня усмехающаяся африканская маска из черного дерева. Возможно, это была модель из папье-маше... Но только первые автолитографии Новикова были навеяны именно африканскими мотивами, древним искусством Бенин.

Странной казалась тяга художника к Африке, многие пожимали плечами: какие там африканцы, во всей нашей необъятной стране найдется пара негров — один из них артист, он снимался в «Красных дьяволятах».

Приятели Петра Васильевича считали его художником одной спортивной темы, это неверно. Вспоминаются его чудесные пейзажи Хибиногорска, мариенбургские акварели, портреты, эстампы...

Особенно мне нравилась одна цветная литография — яркое изображение стадиона имени Ленина с высоты птичьего полета. Во-первых, там был запечатлен футбольный матч, и нетрудно было узнать корифеев футбола: Батырева, Юденича, Дементьева и, конечно, Михаила Бутусова, который наносил в этот миг пушечный удар по воротам. На других участках стадиона кипела жизнь: прыгуны, пловцы, гимнасты занимались своими делами. А у кассы стадиона толпилась очередь опоздавших к началу футбола. Стоило приглядеться: в этой толкотне можно было узнать знакомые лица — композитора Шостаковича в очках и круглой шляпе; коренастого Бориса Корнилова — известного поэта, а также самого автора картинки, в теннисной рубашке с закатанными рукавами.

Петр Васильевич никогда не кичился своей мощью, он не применял силу даже в критические моменты в уличных или иных столкновениях. Терпеть не мог проявлений пошлости и цинизма и сам не унижался до какой-нибудь брани.

Была пора, когда два молодых художника — Новиков и его приятель (назовем его Васьков) — снимали ком-

нату на улице Марата. Как-то днем зашел я проведать Петра Васильевича, посмотреть, что у него сейчас в работе... Хозяйка отворила и указала, как пройти.

В комнате был невообразимый беспорядок. Подушки, одеяла, скатерть и ботинки — все было раскидано по полу, стулья перевернуты, а сам Петр Васильевич сидел на диване и читал газету.

— А, наконец-то! — приветливо сказал он.— Давно ж тебя не было, раздевайся, чайку попьем... — и добавил, обращаясь куда-то в пространство: — Ну, так как, Коля, попьем чайку или нет?

Из-под дивана послышалось кряхтенье и ворчливый возглас:

— Ну, хватит, выпусти, ей-богу не буду больше ругаться.

Петр Васильевич поднялся с места, и, как бы из-под пола, появился на четвереньках помятый, взмокший Васьков. Оказалось, что под диваном, куда запихал его Петр Васильевич, точно это был узел с бельем; Коля отбывал наказание за гнусную брань, от которой никак не мог отвыкнуть...

Много раз я задумывался: как сложилась бы моя жизнь, которой я бесконечно наслаждаюсь, если б не встретился мне такой замечательный друг, каким оказался Петр Васильевич? Кем бы стал я? Ведь он первый, кто, отнюдь не поучая, стал говорить, что надобно иметь цель в жизни и что за мечту нужно бороться... Как бы шутя заставлял он меня рисовать предметы в неожиданных ракурсах, он открыл мне смысл искусства Матисса, Рауля Дюфи, давал читать книги умного Мутера. Как повернулась бы моя жизнь, если б я не встретил его, затем Васю Ульянова и дальше — Радлова, Каратеева, Гришу Шевякова...

Красавец человек Петр Васильевич Новиков погиб в осажденном Ленинграде в тяжелейшую зиму блокады.

Моя мать, узнав об этой потере, плакала, как плачут по родному человеку.

Прохожу по каналу Грибоедова мимо старого шестиэтажного дома, смотрю в узкие окошечки и всякий раз поклоняюсь светлой памяти старшего друга.

* * *

Помню, каким живым родниковым ключом била в те далекие двадцатые годы жизненная энергия, во всех областях чувствовался неудержимый энтузиазм, потребность активной общественной деятельности. Все мои друзья, все близкие люди — юные и старые, спешили записаться в кружки, в политшколы, в спортивные общества и другие добровольные организации. Самодеятельность? Нет, этого слова мы не знали, да оно и показалось бы мелковатым, не способным передать всеобщий порыв к просвещению, к познанию, к большому искусству.

Совсем недавно по соседству с типографией, на Десятой Красноармейской, в бывшем «Доме веселых нищих», открылся наш собственный клуб, где имелось все, что душе угодно. Во-первых, роскошная библиотека, которая пополнялась каждый месяц новинками... И уж всеобщей гордостью был зрительный зал, с хрустальными люстрами, ламбрекенами и темно-зеленым, как говорили, «министерским» бархатным занавесом.

Тут сразу стал разворачивать деятельность драматический кружок под руководством пылкого артиста Боярского.

Наверху шли репетиции великорусского оркестра, в читальню входили с досками под мышкой шахматисты с Гуревичем во главе, в полуподвале подкидывали гири тяжелоатлеты и тренировались борцы. Ими руководил печатник Федькович — юноша с железными клешнями, он ломал висячие замки, как баранки, и, застенчиво ус-

мехаясь, говорил о себе: «Личный друг Якубы Чеховского...»

Библиотека для рабочих существовала в типографии еще при А. Ф. Марксе, должно быть, этот культуртрегер сам ее и основал.

Мне удалось в первые же дни моей типографской жизни бегло осмотреть темноватую комнату, даже полазать по полкам, где стояли книги в негнущихся переплетах — сочинения Фридриха Шпильгагена, исторические романы Фурмана (был такой известный романист), книги философов Гегеля, Канта... И все новехонькие, нечитанные.

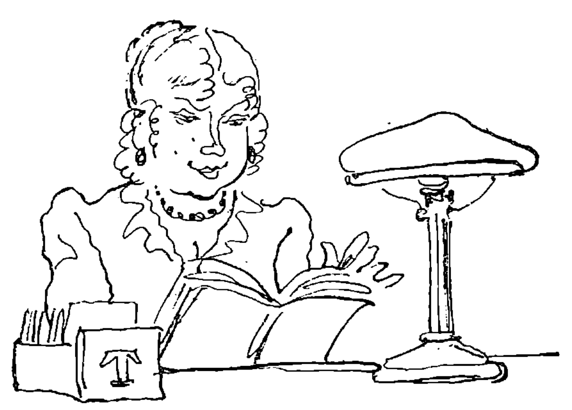
Наша новая библиотека размещалась в двух комнатах с журнальными столиками и мягкими креслами. Я заметил, что наша библиотекарша, весьма нарядная, любила, когда ее называли зав. библиотекой, хотя никаким штатом она не располагала и перетаскивать книги ей помогали услужливые читатели.

Фея Львовна, так называлась эта интеллигентная дама, была, как говорят, ни хороша, ни дурна, слегка пришепетывала, любила прихорашиваться. По-моему, она слишком хлопотала о своей наружности. Все ее бантики, рюшечки, локоны, лаковые ноготки — все как-то смущало не дай бог как одетого читателя. Сидела она, возвышаясь над белой балюстрадой, имея вид почти что дачный: войдешь в библиотеку, и с непривычки кажется, что сию минуту увидишь представление «Месяц в деревне» или что-нибудь из Островского...

У Феи была особенность: с первого взгляда она определяла, что вам предложить, совсем, как портной, который по внешности заказчика прикидывает, какой костюм будет ему к лицу.

— Как вы относитесь к Пьеру Мак-Орлану? Локка любите?.. Или хотите Голсуорси, есть «Белая обезьяна»?

Помню, как она обижалась и краснела, когда я отодвигал в сторону горячо рекомендованную ею книгу.



Пожалуй, это был роман навязшего в зубах Пьера Лоти или Клода Фаррера. А мне хотелось чего-нибудь живого, я выбирал томик Салтыкова-Щедрина, Джозефа Конрада и тихонечко удалялся.

Фея Львовна считала своим долгом прочесть каждую поступающую книгу, с готовностью она отвечала на вопрос не слишком сведущего читателя: «А в чем там дело?» Даже если речь шла, скажем, об «Анне Карениной». Тут ведь как ответишь? Потребуется целое предисловие.

Совсем иное какой-нибудь переводной роман. Тут Фея так и сыпала скороговорочкой: «Действие романа разворачивается на фоне мелкобуржуазного быта. Муж чистой прекрасной женщины, преуспевающий делец, содержит ее в «золотой клетке». А в общем, загнивающий упадочный мир обрисован автором ярко и впечатляюще...» Вот в таком духе.

Книги легкого жанра, вроде Кэрвуда, я поглощал с такой быстротой, что Фея Львовна встречала меня с недоверием и, фальшиво улыбаясь, задавала «проверочные» вопросики-ловушки. А я зачитывался интересной книжкой до рассвета и мог бы считать себя самым

активным читателем, если бы не поп Макарий, который в библиотеке только что не ночевал.

Жил среди нас не то чтобы странный, но смешной этот человек с толстым, похожим на кувшин лицом и намечающейся темной бородкой. И вправду, было в его лице что-то поповское, окающий, как мы считали деревенский, говор... Не зря ведь пели: «Ехал поп Макарий на кобыле карей...» А он ответствовал: «Отец Макарий — не поп, а пролетарий!..» Некоторые называли его почти что всерьез: «Макар Иваныч», хоть и был он на год или на два старше меня.

Макар Иваныч страстно любил книги, но не те, что мы, а пьесы Фонвизина, басни Хераскова, пытался декламировать тенорком державинский «Водопад». Слушать было утомительно — какие-то старорежимные стихи, и никто всерьез Макара не принимал, даже наши учителя.

Фея относилась к нему благосклонно, помогала добывать редкие издания, чуть ли не из Публичной библиотеки. Однажды пролетел слух — Макар пошел в рабфак сдавать экзамен. Назавтра Макар Иваныч, как ни в чем не бывало, сидел с утра за партой.

— Это правда, я ходил в университет, но провалился,— сказал он, посмеиваясь.— Ну ничего, в будущем году снова пойду.

А провалился наш философ вот по какой причине: все считали чудачеством, чуть не дурью,— Макарий, как оказалось, пошел на экзамен, не подготовившись как следует по всей программе, зато потратил уйму времени на подвижнический труд: сам по своей воле исследовал, из какого количества слов (не считая французских, латыни и пр.) состоит словарь Пушкина.

У нас, конечно, это радостно переврали и убеждали друг друга, что отец Макарий зачем-то сосчитал, сколько сотен слов содержит полное собрание сочинений А. С. Пушкина. «Чудак, что с него возьмешь..» И никто

не потрудился понять, что Макар Иваныч, влюбленный в русскую литературу, проделал огромную кропотливую работу, не предполагая, что задолго до него эта задача уже была решена усилиями ученых литературоведов.

О дальнейшей судьбе отца Макария знаю со слов общего друга Коли Кампуса: наш мудрец, успешно закончив обучение в университете, сделался известным ученым и, говорят, будет избран в академики...

Между тем, рассуждая о библиотеке, я слышу нарастающий шум голосов, покашливание, отдельные хлопки и, наконец, понимаю, что сейчас начнется праздничный вечер по случаю открытия клуба.

Словно какой-то долгий сон, вижу я тот концерт, растянувшийся часа на два без перерыва.

По бокам сцены, на высоких щитах неизвестный художник изобразил слева заливающегося довольным смехом наборщика за реалом, а справа — печатника на фоне машины, разглядывающего с улыбкой до ушей печатный лист. Живописец написал эти радостные фигуры так ярко, что они пестротой красок и фотографичностью просто мешали тому, что происходило на сцене.

Программу вел, наслаждаясь всеобщей любовью, говорун Мстиславский в отглаженном френче. Для начала он объявил представление в трех частях:

— «Качели жизни, борьбы и смерти».— И добавил скромно: — Музыка моя.

Ничего подобного я доселе не видел и никогда не увижу. Началось с того, что под гром аплодисментов на авансцену вышел наш известный стихотворец, в огненно-красной рубашке, с бутафорской лирой в руках. Под притушенные звуки пианино он стал читать стихи, но лира мешала привычке жестикулировать, и Онегин ловко отправил инструмент за кулисы.

Тут занавес сдвинулся на одну треть сцены вправо. Прямо на зрителей взлетали и уносились вглубь детские качели, перевитые бумажными розочками, а на

доске сидела девчушка в венке из таких же роз. Зал радостно захлопал, и поэту пришлось начать все снова.



В ритме качелей он произнес хвалу зарождающейся жизни, призывал к радости: «Радужные краски обновленной сказки», и все такое прочее. Содержание было туманно, но для начала терпимо. Девочка исчезла, занавес сдвинулся еще более вправо...

В ярком свете софитов возникли другие качели: это была молодая цветущая пара — миниатюрная толстушка из бухгалтерии в малиновом сарафане, и кудрявый парень в косоворотке, а веревки были перевиты алыми лентами...

Надо было понимать, что это вторая часть представления — «Качели борьбы», хотя никакой борьбы и быть не могло, они раскачивались, а Онегин продолжал чтение. На этот раз он призывал бороться за новую жизнь... Качели взмывали все выше, и кто-то из зала крикнул: «Надя, крепче держись!..»

Вот тут, на подъеме и надо бы остановиться поэту — как же он не заметил, что муза протягивала ему в этот миг лавровый венец? Но впереди был финал, какого никто не предвидел: свет померк, наступила пауза, и пиа-

нино что-то забормотало, вроде той музыки, что нагоняет страх в цирке, когда готовится «смертельный номер».

Занавес дернулся вправо до отказа, и ошарашенные зрители разглядели в полутьме... висельника в черном сюртуке, а может, во фраке. Конечно же, это было чучело.

Трудно сейчас припомнить, какие гневные стихи читал автор, скорее всего это была отходная прогнившему старому миру...

В зале нависла зловещая тишина, потом зашумели задние ряды: отчего свет погас и кто там болтается в петле, к чему все это? Раздались нежелательный свист и крики.

Мстиславский за кулисами почуял неладное и грянул по клавишам бодрый марш: «По улице ходила большая крокодила...»

Свет вспыхнул, и Онегин нырнул в складки занавеса. После он всем объяснял, что пьесу сочинил еще до революции, но тогда никто не соглашался принять ее к постановке.

Теперь, пока наш распорядитель рассказывает повеселевшему залу один из своих старинных анекдотов, я хочу поведать об артистке, которая готовится выступить и делает вид, что ей все нипочем.

— Валя, боишься? Ведь сейчас твой выход!..

Она тихонько смеется, трясет подстриженной под самые брови челкой, поблескивают жемчужные зубки. Эта девушка достойна внимания. Небольшая, крепкая, с острым глазом и язычком, она типичное дитя нашей типографии.

Мстиславский, заглянув для проверки за занавес — не убежала ли солистка,— объявил:

— Исполнительница песен и романсов, знаменитая на весь типографский мир, включая переплетно-брошюровочное отделение... Валентина Яковлева!

Неторопливыми шагами Валя идет к просцениуму,

Нет-нет и заглянет в ноты, которые не выпускает из рук. Собственно, никаких нот там нет, а есть только слова песен. Но ведь чаще всего концертные исполнители выступают с бумажной трубочкой в руках: совсем другой вид, к тому же не надо думать, куда девать руки...

Первая песня была с трагичным рефреном: «Многое видала, многое слыхала шахта номер три...» А что случилось в этой шахте, вспомнить сегодня нет никакой возможности.

Триумф превысил ожидания — вовсю хлопали даже те, кому случилось видеть хоть раз эту бойкую девушку здесь, в клубе, или на каком-нибудь собрании.

Не заставляя себя ждать, Валя исполнила еще один современный романс: «Манька знает свой поселок и гудков фабричных речь...»

Песня была ужасно фальшивой, но исполнялась с такой отдачей, что верилось — Валя в платьице с кружевным воротником и есть Манька, о которой она пела...

Валентина была ничем не лучше других девушек ее цеха, среди них я встречал настоящих красавиц, но у одной Вали почему-то успех был, как говорили, «в мировом масштабе».

На редкость голосисты были все ее подруги. Их мастерская находилась на одном этаже с нашей граверной, и часто мы слушали, как славно пели фальцовщицы «Сошьем Дуне сарафан, сарафан...» Ведь редкий ручной труд обходится без песен.

Помнится, что в этом женском царстве прижился только один парень — чернявый и жилистый, он работал на горячих прессах, тискал на крышках переплетов рамки и орнаменты. Неизвестно почему, все называли его Иисус, или просто Исусик, а по-настоящему он был Петька Михайлов. Говорили, что у него тэ-бэ-цэ и что он может в любой момент умереть, поэтому все его жалели. Хитроватый Петька жил припеваючи и запросто целовал всех девчонок своего цеха, как собственных се-

стер. Он и песни пел с ними женским голосом, положив лохматую башку на чье-то круглое плечико...

Между тем, я заговорился, а вечер в клубе никак не может подойти к концу.

Развеселил всех одетый с иголочки бухгалтер Бахвалов. С придыханием он исполнил романс, где звучали такие слова: «Благословляю я тропинку... по коей нищий я иду...»

После главбуха две девицы затянули частушки, публика начала покашливать. Тогда Мстиславский объявил последний номер. Хорошо помню, как он бросил в зал:

— Не все вам вокально, будет вам и музыкально!

И дал занавес.

Хотел бы я поглядеть в этот момент из зала на сцену, где расположился наш ужасный ансамбль.

В середине возвышался, стоя на фанерном ящике, испуганный Ванечка Пастухов — блондинчик скрипач, он же певец. По бокам сидели Паша Новицкий (банджо) и Миша Глазер (гитара), а позади торчал черный гриф контрабаса, на нем играл Левка Щавинский, высокий, рябой печатник; в его тени устроился я, в растерянности оглядывая набор ударных инструментов.

— Три-четыре, поехали!

Забубнила, загрохотала музыкальная машина.

— В Пара-гва-е, в этом чудном крае, средь лиан павиан жил. Без гри-ма-сы кушал ананасы и сок, сладкий сок пил...

Скрипка визжала и фальшивила, прямо в ухо мне бубнил контрабас, я ударял палочкой по медной тарелке, дул в завывающую джаз-флейту, хватался за лающий флексатон и так дергался, только что не дрыгал ногами. И все это длилось так долго, не помню, как нам все же удалось остановиться.

Мстиславский, вынырнув откуда-то сбоку, провозгласил:

— А теперь «Фиалки». Прошу!..

Публика захлопала, название показалось знакомым.

— Вот малютка Кло фиалки продает в большом кафе, где пьют абсент. Ведь знает Кло, что ровно в семь придет влюбленный юноша студент...

Смешно припомнить, с каким старанием изображали мы виртуозов джаза, словно впрямь желали сделаться музыкантами, выступать на подмостках. Но так хотелось поверить в свои силы.

Стихи ведь тоже писать хотелось. Иногда само собой складывалось такое: «Помнишь ночь на перекрестке, молча мы с тобой прощались, в лужах тускло отражались звезд блуждающих огни...»

Один из фильмов так и назывался «Блуждающие огни», а прощаться ночью на перекрестке пока было не с кем, так, чистейшая выдумка.

Хотелось каким-то образом приблизиться к фантастически прекрасному миру кино или к театральной жизни.

...Наша жизнь хороша лишь снаружи,
Но тяжелые тайны кулис
Много жизни обыденной хуже
Для актеров, а также актрис...

Я не верил словам пошлой уличной песенки, к театру влекло меня еще с той далекой поры, когда смутно помнишь себя...

Розовая шелковая косоворотка с перламутровыми пуговками, янтарный блеск паркета, залитого солнцем, и старик Денисов (отец той самой Агуси) играет на гармошечке-концертино плясовую. Я прыгаю, топчусь на месте, а сидящие за накрытым столом гости прихлопывают в ладоши и смеются. Мне в то время года три-четыре.

Артист Денисов — старый балагур, бабушкин знакомец и наш сосед. Он любил меня, как живую игрушку, обучал, как обезьянку, всяческим номерам. Приводил меня в свой Суворинский театр за кулисы, и я там



декламировал какую-то чепуху, едва научившись говорить: «Шляпа с пером и денег много!..»

Какая чудесная страна был этот театр!

Лучи разноцветных прожекторов, пронзающие кромешный мрак зрительного зала, слепящий контраст резкого света и бархатной черноты... Глухой, идущий откуда-то из подземелья сдавленныей голос суфлера, которого публике полагалось не замечать. Артистов размалеванные лица, как лица языческих богов или жрецов, их торчащие приклеенные бороды, неестественно громкие голоса, преувеличенно широкие улыбки, красноречиво выгнутая бровь... А роскошь костюмов из тяжелой парчи и шелка, сверкание бриллиантов на груди, на пальцах, в волосах... Бутафория, которую дают потрогать; отливающие мерцаньем тяжелого металла картонные латы, ружья и сабли, сделанные из дерева; неразбивающиеся и легкие, как бумага, бутылки, кубки, чаши...

Неужели в ту пору я видел «Венецианского купца»?

Да, вот он сидит, развалясь в кресле, только что загримированный Шейлок, желтолицый, с синевой на щеках, закуривает, толкует о чем-то, сверкая белками знойных глаз.

И хоть я знаю, что Шейлока по-настоящему зовут Иван Дмитрич, мне немного страшно. Но, бог ты мой, как хороша кудрявая Джессика, сидящая в костюме мальчика-пажа верхом на стуле.

Я помню, как мне нравилась декламация стихов Шекспира, читанная этими артистами, хотя значения стихов я еще не понимал; эти красивые модуляции, всплески восклицаний, переходящие в тихий шелест. В детской памяти сложилось впечатление от этих гордых людей театра, как от какого-то неразрывного братства, все они в моих глазах принадлежали единой семье, где есть и любимцы, и те, кому приходится терпеть гнет власти старших...

Однако театр детства тонет в глубинах памяти, а рассказать я собирался о наших театральных делах и интригах.

После удачной премьеры пьесы «Красный набат» режиссер Боярский переименовал кружок в театральную студию и стал готовить драму Найденова «Дети Ванюшина». На главную роль намечен наш типографский Москвин — Иван Семеныч Серов из переплетного цеха, не раз блиставший в шуточных сценках. Коронным его номером были куплеты фотографа — обличителя пороков. Ах, как смешно напевал он, маленький, в огромной кепке, с треногой на плече:

— Я мистер Фокк, фотограф и художник, всегда при мне мой меткий аппарат...

Дальше рифма была «треножник» и «показать я буду очень рад...»

Итак, в то время события разыгрались совсем как в Большом или, по крайней мере, в Малом театре. После бурных споров с Боярским молодежь покинула студию и во главе с новатором Павлом Викснэ стала готовить злободневную программу. Среди исполнителей оказался и я. Викснэ считал меня серьезным, начитанным и доверил мне роль старика в пьесе «На распутье».

У меня была бородища веером, лицо расписано морщинами. Стуча деревянными ложками по пустым тарелкам, мы хлебали щи, я бранил сына за лодырничество,

потом сообщал, что пойду «колясо почанять» (колесо починять) и исчезал до следующего акта.

Пьеса, хоть и откликалась на современную тему (смычка города с деревней), успеха не принесла, и дело чуть не заглохло.

Боярский хихикал, сочувственно пожимая руку «коллеге» Викснэ. И тут как молнией всех озарило: «Живая газета»! Вот что нужно и современно! Новое содержание, новая форма...

У Павла Викснэ появился помощник, старый его знакомец, долговязый пожилой человек, с киплинговскими усами, в фуражке яхтсмена и с толстым, как подушка, портфелем. Это был поэт-сатирик Волженин, человек безусловно талантливый, он начинал еще у Аркадия Аверченко.

Волженин обладал хваткой профессионала. Он обеспечивал репертуар «Живой газеты» частушками, лозунгами в стихах. Если требовалось сочинить что-либо срочное, поэт присаживался к подоконнику и набрасывал какую-нибудь сценку почти в законченном виде. Среди вороха бумаг на дне его портфеля покоилась плоская фляжка в суконном футляре, она выручала поэта в затруднительных ситуациях.

Я посещал репетиции, но держался в сторонке: машинно четкие маршировки, декламация лозунгов — все это меня не захватило, несмотря на преклонение перед Маяковским. Но и «Дети Ванюшина» меня не интересовали... Должно быть, душа жаждала погреться у романтического огонька... А тут еще мое святое пуританство было потрясено. Сидя в темноте пустого зала рядом с с Викснэ, я так и обомлел, когда на середину освещенной сверху площадки выскочила Валя Яковлева, в короткой плиссированной юбочке и в цилиндре набекрень. Она дернула голым плечом, подбоченилась, выстукала каблучками мелкую дробь и запела низким голосом:

— Меня зовут все Лига Наций! Мой долг — любовник и к-р-ро-вать!

— Стоп-стоп! — закричал Викснэ с отчаянием.— Вернись и начни сначала. Больше огня, больше самоотдачи! И к тому же, ты очень комкаешь текст... Еще разок, прошу!

И Валя повторила с разухабистой наглостью, стараясь отчеканить каждое словцо волженинского куплета:

Меня зовут все Лига Наций,
Мой долг — любовник и кровать...
Я создана для репараций,
Чтоб все, что нужно, прикрывать...

При этом она задирала ноги, подергивала юбочкой и так кривлялась, что захотелось выскочить на сцену и задушить ее.



* * *

В одно прекрасное утро я проснулся, не зная, что стал «председателем иностранной комиссии» по комсомольской линии и что у меня даже есть секретарь. А все получилось из-за журналов, которые я приносил в типографию. Ведь необходимо было скорее поделиться новостями.

По примеру отца я начал собирать журналы и накопил их несметное количество. В подворотнях у букинистов и в «Международной книге» на Литейном продавались журналы не первой свежести: французский «Иллюстрасьон», немецкие — «Ди Вохе» («Неделя») и «Дер

Вельт Шпигель» («Зеркало мира»). Это были развлекательные еженедельники.

Зато по субботам у газетчиков можно было поймать «AJZ» — мой любимый и более всех понятный. Этот рабочий иллюстрированный журнал хоть и назывался газетой, почти весь состоял из фотографий, сделанных по горячим следам важнейших событий мира.

Помню волнующие кадры, где красные фронтовики сомкнутым строем проходят по чисто выметенной брусчатке Александерплатц в Берлине. Дружно салютуют крепко сжатые кулаки: «Рот-фронт! Рот-фронт!..» Красные отряды заливают улочки рабочего Веддинга. Шуцманы, или «шупо», как зовут полицейских, жмутся в отдалении, пряча за спинами резиновые дубинки.

В каждом номере «AJZ» печатался изумительный художник Джон Хартфильд. Это он сделал фотомонтаж острейшим сатирическим искусством. Необычайно убедительные, острые плакаты Хартфильда обрели всемирную славу.

Все мы восхищались мужеством и бесстрашием художника, ведь живет он в самом зверином логове, и с какой силой бичует, выворачивает наизнанку блистательных генералов вермахта и всю эту, прущую к власти, коричневую заразу фашизма во главе с кровавым Адольфом и его сворой.

Но отвлечемся от жуткого зрелища, которое с достоверностью и гневом изображал Джон Хартфильд.

Сейчас я попробую нарисовать портрет совершенно иного рода. Я хочу познакомить вас с одним из первых моих просветителей, человеком поистине редкостного дарования.

Он был для меня и моих сверстников все равно что Радищев для свободолюбивых современников. И как вы увидите, не случайно припомнился он именно здесь.

Колбасов — вот какова была его фамилия. Смешная? Да, возможно, на первый взгляд, до знакомства с самим

Алексеем Алексеевичем. Потом уж вам эта фамилия казалась очень значительной и даже благозвучной. Стоило только взглянуть, чтобы понять, какой это удивительный человек.



Как будто он и не был высок, но казался огромным, потому что был грузный, широкий, однако сильно сутулился, будто жизнь его придавила, и думалось: распрямись он хорошенько, оказался бы выше многих.. Мы знали, что пришлось ему когда-то мыкаться по царским застенкам и проживать в гнилых гиблых местах...

Алексей Алексеевич был седоват, хотя не стар, лет пятидесяти, страдал одышкой. Помню еще, что, беседуя с нами, прикрывал глаза ладонью от яркого света.

Занятия проходили вечерами в клубе. В кружок политграмоты записалось человек двадцать, но на следующую лекцию нахлынуло вдвое больше — узнали, что интересно. Кто хотел — записывал, большинство слушало так, не отрываясь.

Трудно назвать лекциями сердечные, доходчивые беседы Колбасова, умнейшего и превосходящего всех, кого я знал, грандиозным объемом знаний, охватом исторических дат и событий, наконец, опытом собственной жизни. Это ведь от него мы узнавали, кто были народовольцы, что такое «Земля и воля», «Черный передел», кем были Кибальчич, Каракозов, Софья Перовская... Он

очень серьезно относился к своему преподаванию и просиживал с нами иногда вместо положенных полутора часов все три. Видно, еще жила в нем та горячая вера, с которой ходил он в рабочие кружки где-нибудь за Нарвской заставой.

Властной рукой раздвигал он горизонты познаний и приводил на память высказывания великих гуманистов и революционеров. Цитировал, например, Карла Маркса, и оказывалось, что чтение книг Маркса вполне доступно простому человеку. Он приводил нам примеры из учения Аристотеля, Платона, рассказывал про города-государства, про смелые мечтания Кампанеллы...

— «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...»

Пламенные строфы «Интернационала» оживали в его лекциях-беседах и становились фактами самой жизни.

Не будучи трибуном (он и говорил-то хрипловатым негромким голосом), Алексей Алексеевич умел вдохнуть жар своего сердца в каждого, кто ему внимал. Сидел он близко, почти рядом с нами, прихлебывал холодный чай из стакана, казалось, что вот пришел к тебе в гости хороший человек поделиться важными раздумьями о жизни. Он не говорил лишних слов, но каждое западало в душу. И если при этом чье-то лицо попадалось ему на глаза, то уж тот понимал, что сказанное относится лично к нему.

— Недалек, недалек Великий праздник людей труда всего мира,— говорил он, преодолевая страшный кашель,— вы еще увидите своими глазами день, когда победа человеческого гения приведет народы к всеобщему равенству и братству. В ваших молодых руках эта великая победа. Ведь это не пустая фраза: «С Интернационалом воспрянет род людской!» Вслушайтесь хорошенько в этот призыв: никакого деления на полноценные и якобы неполноценные расы. В семье народов не должно быть пасынков: армянин, киргиз, еврей, поляк, укра-

инец — какая, в сущности, разница. Мы все работники всемирной, великой армии труда...

Так говорил наш Кампанелла — поседелый в жизненной борьбе, больной, бывший таежный скиталец. И вспоминалась старинная каторжная песня — «Замучен тяжелой неволей...» Оживали перед глазами картины передвижников: «Владимирка», «Привал арестантов»...

Алексей Алексеевич обращался к нам сердечно и доверительно, не как лектор и учитель, но как отец, который стремится передать своим сыновьям самые дорогие заветы. Он заставил нас понять, кто мы есть и кем должны стать в нашей сознательной жизни...

Что было потом?.. Наступило лето, занятия кончились, и Алексей Алексеевич пропал совершенно и, к сожалению, навсегда.

Долго, очень долго потом я рассчитывал встретить этого великолепного человека, порой ошибался,— спешил, завидя издалека в уличной толкотне широкое светлое пальто нараспашку на чьей-нибудь осанистой плотной фигуре...

И вот новость. Было это как раз в то же лето. Мы узнали, что к нам едут иностранные гости, и не откуда-нибудь, а из Германии. Едут, прорвавшись через полицейские и прочие рогатки и кордоны, ребята из Гамбурга — дети докеров и кораблестроителей города, где родился Эрнст Тельман.

Чего только не знали мы о Тельмане!.. Всем по душе было энергичное и доброе его лицо. Светлые глаза излучали волны обаяния, вселяли в сердца уверенность и надежду.

Итак, до приезда иностранцев остаются считанные дни, и надо встретить их достойно. Хотя... если разобраться, какие там иностранцы — ведь это такие же рабочие, как ты да я.

Тут мне хочется, как говорят в таких случаях, внести некоторую ясность.

Важное обстоятельство, что я стал «председателем иностранной комиссии», не избавило меня от обязанности трудиться за столом в мастерской, и никаких поблажек не предвиделось — работа есть работа.

У меня появилась помощница, или секретарь — девушка лет семнадцати, по прозвищу Шлюпа. Она имела облик скорее детский из-за модной короткой стрижки «буби-копф». Звали ее Аня Зуева, а Шлюпой прозвали потому, что она оттопыривала нижнюю губу. Шлюпа была сладкоежкой, вечно жевала компотные ягоды, ириски... К приезду немцев она готовилась, как к экзамену, вызубривая из учебника всякие «гутен морген», «вас воллен зи?..»

Ей нравилось наблюдать, как я затачиваю карандаши, как раскуриваю трубку, монтирую фотографии или размечаю по клеточкам портрет седовласой Клары Цеткин. Вскоре я стал избалованным художником-мэтром. Входя в комнатушку в клубе, где хранились банки с краской, холст, кумач, я уже знал, что лист бумаги приколен к чертежной доске, все кисти вымыты, а ведь что ни день, приходилось что-нибудь рисовать, чертить диаграммы...

Наконец появились у нас эти немецкие ребята. Их было человек восемь, примерно лет шестнадцати — восемнадцати. Мальчишки подстрижены «под бокс», как наши, перенявшие западную новинку. А девочки — кто с косичками, кто с челкой «Лиа де Путти» (была такая звезда экрана). Приехали немцы налегке, без шапок и пальто, мальчики в шортах, девочки в коротких юбках. Единственной крупной вещью в их имуществе был турецкий барабан. На его тугом брюхе издалека была видна надпись — «ALARM».

«Аларм» — значит тревога. И это же слово значилось у всех на малиновой полоске, нашитой на предплечье рубашки. Так назывался их ансамбль, и в тот же вечер мы узнали, что это за штука.

Мы провели экскурсию по этажам типографии, по лестницам, где на площадках висели подготовленные мной стяги с лозунгами на немецком языке. Рабочие встречали гостей, как обычно приветливо, отвлекаясь на минутку от машины, чтобы взглянуть на свежие юношеские лица, подмигнуть, помахать рукой... В станково-печатном один из парнишек прочитал вслух буквы на чугунной станине: «Karl Krause, Leipzig». И выяснилось, что его гроссфатер работает точно на таком станке...

Вечером в клубе не протолкнуться. Все места заполнила типографская молодежь, лишь в первых рядах сидели уважаемые заслуженные люди.



На первых порах мы думали, что «Аларм» — что-нибудь вроде нашей живгазеты — остро, весело, злободневно... Однако разница была несоизмерима. В тогдашней Германии, бурлившей забастовками, уличными схватками, насчитывалось немало таких агитансамблей революционной молодежи.

Ребята давали свои концерты в заводских цехах, на территории доков Гамбурга и Альтоны...

Неприметные и осторожные, они просачивались через кордоны, рискуя угодить в каталажку. Увертливые, быстроногие, вот толь-

ко что они выступали перед забастовщиками, а через час уже сидели на окраине в трактирчике, наигрывали развеселую польку... Но у песенки был непривычный припев. Вместо глупенького куплетца можно было услышать: «Гитлер Круппа лижет в нос — вот какой он верный пес...» Вот таким беспокойным делом занимались эти милые ребята, сидевшие здесь рядом с нами.

Маленький оркестрик звучал слаженно, ритмично. Запомнился один паренек, он играл на трубе с широким зевом, кажется, на такой коротышке много не сыграешь, а она вела за собой весь ансамбль.

И вот они исполняют «Красный Веддинг», известную песню красных фронтовиков, поют ее для нас по-русски:

...Против нас фашисты встали,
В дымке весь горизонт...
За оружие, пролетарий,
Рот-фронт! Рот-фронт!

В зале гремят аплодисменты, и музыканты начинают сначала. Теперь, кажется, раскачиваются люстры, так дружно распевают все присутствующие.

Вот где многим из нас вспомнился Алексей Алексеевич Колбасов, с которым тут бы и поделиться радостью этого момента...

Мы пробыли вместе два-три дня, и расставаться было непросто, ведь только начали понимать друг друга, даже сдружились, и все уверяли, что расстаемся ненадолго.

На прощанье обменивались подарками. Шлюпа дарила девочкам шарфики, я сунул трубачу свою трубку — черт с ней, что настоящий «Bruyere», куплю другую.

Кто-то прицепил мне к лацкану значок из золотистой латуни с фигуркой спортсмена и красным пятном знамени. Помню и надпись на значке: «Kreisfest, Berlin, 1927». Долго хранил я эту память об ансамбле «Аларм»...

Как часто ничтожная житейская мелочь: выцветший фотоснимок, значок, обрывок мелодии — вызывает в па-

мяти забывшуюся встречу, разговор или образ, когда-то любимый...

И конечно же, эти славные ребята из Гамбурга, их песни, проникнутые духом восстания, вихрастые их головы тоже вспоминались мне по какому-нибудь поводу.

Вспоминал я их и в тяжелейшую годину, шагая летом сорок первого с винтовкой на ремне, под палящим солнцем и бомбежками: где сейчас эти немецкие ребята, что с ними? Тюрьма, концлагерь, а то и расстрел... Или кого-то удалось сломить, перекалечить, поставить сегодня под ружье? Кто знает...

И все же, в самой глубине лютой ненависти к врагам, топтавшим нашу землю, сохранилась какая-то полоска света и надежды: а что, если?.. Что, если они уцелели каким-то чудом, ушли в глухое подполье... Известны ведь «случайности», когда не разрываются по какой-то причине фашистские бомбы и снаряды...

Припоминал я уроки немецкого и в августе 1941-го, при отступлении к Ленинграду, когда в деревне Кипень, пытаясь излить горечь души, малевал на стене колхозного свинарника большой малярной кистью, окуная ее в сурик: «Nieder mit Hitlerismus!», «Nazis — ist blutige Hunde!» («Долой гитлеризм!», «Наци — кровавые собаки!»), и решительно приписал внизу: «Wir kommen nach zurück!» («Мы еще вернемся!»)

И где бы мы ни проходили, я оставлял подобные агитационные надписи на стенах домов и на заборах.

* * *

А сейчас давайте вернемся снова в двадцать седьмой год, в типографию, где мне предстоит еще одна из счастливых встреч в жизни.

Пожалуй, было мне лет семнадцать, когда познакомился я совсем случайно с Васей Ульяновым. Совсем случайно...

Ничуть не задумываясь, мы говорим чуть ли не каждый день: «Меня к вам привел вот какой случай...», «Благодаря случайности, я вышла замуж...», «По воле случая он стал моим начальником...»

Может, правы были греки, когда поклонялись богине случайности по имени Automatia.

Когда-то я прочитал у Достоевского высказывание о том, что портретист должен искать в человеке «главную идею физиономии».

Думаю, что в этом случае без всякого портретиста можно было сразу понять, что за человек Вася Ульянов. В его открытом лице и доверчивом взгляде светились ясный ум, честность и добрый веселый характер. Он был беден и в то же время богаче многих, ибо ни в чем не нуждался и жизнью был не просто доволен, не то слово — он наслаждался своей работой, не знал уныния и усталости, гордился своими друзьями и своими книгами, квартиркой с малюсенькими окнами под самой крышей на Нарвском проспекте, невдалеке от Триумфальных ворот.

Я постоянно чувствовал в нем заряд энергии, магнитное поле его активной деятельности, настойчивое стремление к поиску чего-то нового.

Вася был мастер плоскопечатного цеха, но известность получил как смелый редактор газеты «Искра», она стала выходить в свет на четырех страницах. В типографии многие знали его в лицо, не догадываясь, что он редактор, но я слышал не раз, как кто-нибудь говорил: «Смотри, вон Панфил Босой идет!..» Эти скромные лавры Вася приобрел сатирическими фельетонами или бичующими стихотворными листовками всегда под неизменным псевдонимом.

«Наша жизнь состоит из борьбы с собственной ленью и преодоления каждодневных трудностей» — вот такой лозунг на длинной бумажной ленте был укреплен над его письменным

столом. Видимо, сам Вася набрал его и отпечатал на тискальном станке.

— Это чьи слова? — спросил я, очутившись у него дома. Я думал, что услышу в ответ: Паскаль или Толстой.

Вася улыбнулся.

— Да ну... — сказал он немного смущенно, и я понял, что это его собственная заповедь, напоминающая о жизненных обязанностях.

Несмотря на разницу в возрасте, нас крепко сдружила не только работа в газете, но и общность интересов, тяга к литературе, ко всему неизведанному. Он разрешал мне рыться в его книгах, где было множество замшелой старины, а иногда и я радовал его открытиями: принес «Бравого солдата Швейка», только что выпущенного в «Роман-газете». И весь вечер до полуночи и следующий вечер мы читали вслух эту превосходную книгу, делая остановки, чтобы хлебнуть чаю с соевыми батончиками и отдышаться от беспрерывного смеха.

Вася таскал меня на лекции, на просмотры театральных премьер. Вспоминаю, с каким нетерпением неслись мы в один из Домов культуры на мейерхольдовский спектакль «Учитель Бубус». Раздобыть билеты было сложным делом, но нам повезло, и мы даже не опоздали к началу.

— Смотри хорошенько,— вдруг сказал Вася, притормаживая на ходу,— да не туда, влево!..

На площадке лестницы, сбоку от входа, стоял нахохлившийся человек с потухшей трубкой во рту, на плечи накинута шуба, а голова не покрыта, и не понятно — инеей ли тронул его всклокоченную шевелюру или натуральная седина. Резко очерченный горбоносый профиль показался знакомым — я так и замер. Да, конечно, это был он.

Ни на кого не глядя, Всеволод Эмильевич стоял в оцепенении, будто сошел со знаменитого григорьевского портрета. Он всматривался поверх голов, будто ожидая прибытия какого-то важного гостя.

«Учитель Бубус» оказался каскадом неожиданностей, меня просто восхитила изобретательность художника — стенки декораций «бегали», вызывая ощущение глубокого пространства сцены.

Стали бывать мы на Фонтанке, в бывшем дворце екатерининского вельможи, где был открыт респектабельный Дом печати. Там всегда было интересно — литературные вечера, выступления известных артистов...

Помню, какое множество людей разного возраста собралось на вечер Эдуарда Багрицкого. Кто же не знал в то время, кто не читал по памяти: «По рыбам, по звездам проносит шаланду, три грека в Одессу везут контрабанду...»

Поэт опаздывал более чем на час. В зале было душно, стоял гул разговоров, недовольные хлопки, топот, уже начали расходиться: кто пошел в бильярдную поглядеть, как лихо играют мастера, кто засел в ресторане потягивать венское пиво...

И вдруг от столика к столику пробежало: «„Дядя Эдя" приехал!» — так дружелюбно его называли даже незнакомые люди.

Мне до тех пор не попадались портреты Багрицкого, и я представлял себе подвижного весельчака-бродягу с бородкой, каким мог выглядеть его Дидель, который «свищет птицей», а на сцену неловко ввалился тяжело-

весный, небритый человек, похожий на лешего. У него были замечательно добрые, виноватые глаза...

«Дядя Эдя» стал отвешивать на все стороны поклоны, объяснял, что приехал «с поля», с неудачной охоты, автомобиль испортился при подъезде к городу.

Не могу сейчас назвать точно, что читал он в тот вечер, а чтение его было исключительно интересно. Читал он как-то приглушенно, однако с большой страстью, именно душевным волнением объяснял я себе его затрудненную речь — краткие передышки, захваты воздуха: «...Мы ржавые листья (вдох) на ржавых дубах (еще вдох)...» Вскоре я узнал, что тяжелая болезнь так мешала его чтению.

Он уходил и возвращался на сцену, утираясь большим платком. И закончил выступление вовсе неожиданно. С таинственным видом наклонясь вперед в притихший зал, он стал читать: «Раненым медведем мороз дерет... Санки по Фонтанке летят вперед... Холод остер, полосатит снег, чьи это там голоса и смех...» Это были «Синие гусары», слушатели узнали автора, сквозь всплески аплодисментов было слышно: «Асеев, Асеев...»

Багрицкий поднял руку и продолжал чтение.

— Все верно,— сказал он.— Стихи не мои, но дело в том, что это мои любимые стихи, вот я вам их и прочел...

Ни на кого не похожая манера чтения Багрицкого и его голос тут же «впечатались» в мою голову.

Я счастлив, мне крупно повезло — я обладаю цепкой слуховой памятью. Ведь каких только замечательных поэтов приходилось мне слышать на своем веку, и голос каждого запечатлелся на тончайшей, как паутинка, пленочке.

Заболоцкий, со строгим видом читающий вот хотя бы нигде не печатавшееся: «Мы все народной медицины теперь любители уже. В дворце ученый ждет кончины,— здоров курилка в шалаше...»

Открывая книгу сонетов Шекспира, я вновь слушаю, как в полутьме натопленной московской квартиры Маршак читает только что законченный перевод 32-го сонета: «О, если ты, мой друг, переживешь тот день, когда меня накроет смерть доскою...» Слезы дрожат за очками, когда он поглядывает в мою сторону...

Помню старинную величавость Ахматовой, прекрасные ее глаза, плавную и сдержанную манеру чтения. Я слышу явственно Сельвинского, с его гитарой: «...таратинна тэнн...» Слышу Николая Ушакова, Пастернака, Антокольского, Берггольц и многих, многих других... Какая богатейшая фонотека гнездится в памяти. Все это хранится и слышится так отчетливо, как я слышал их когда-то. И как жаль — все звучит во мне и только для меня одного.

Был еще в Доме печати свой театр — экспериментальный, известный ленинградской публике. Избалованные зрители, рецензенты восхищались режиссурой молодого таланта. Его звали Игорь Терентьев. Нам с Васей не удавалось попасть на какую-нибудь его постановку или репетицию.

Однажды мы пришли довольно поздно и на всякий случай приоткрыли дверь в зал. Там шло действие, давали «Наталью Тарпову».

Это был спектакль в своем роде уникальный. Театр решил сыграть нашумевший роман Сергея Семенова, эта книга была более современна чем, скажем, «Голый год» Пильняка. Книга Семенова представляла сплав производственных и житейских проблем, здесь решались вопросы любви, семьи, брака, героями романа были рабочие люди, партийные работники, директора...

Задача, казалось, была не нова — привлечь автора своего, ленинградского, сделать инсценировку... Но режиссер избрал иной путь, никем не хоженный. Роман игрался так, как был написан. Воплотить на сцене в один вечер два тома — вещь немыслимая, пришлось соз-

давать сценический вариант. И тем не менее играть не пьесу, а роман, сохранив ремарки, авторские отступления, все совершенно, как в книге.

Ну вот хотя бы сцена встречи обольстительной героини (она — секретарь фабкома) с инженером Габрухом.

Артистка, исполнявшая роль Тарповой, появляясь из-за кулисы вместе с партнером, игравшим влюбленного инженера, произносила:

«Наталья знала, где можно без помехи поговорить. Пройдя ряд дверей, она остановилась... (Все это артистка произносила, как бы читая текст книжной страницы).

— Здесь никого нет,— объявила она, удерживая его на пороге». (Не выходя из рамок образа, актриса должна была говорить вслух все авторские объяснения, приметы обстановки и собственные чувствования.)

Оригинальное режиссерское решение, как и сюжетная острота, обеспечили спектаклю шумный успех.

Совершенно невозмутим, помнится, был единственный человек — сам творец «Натальи Тарповой» Сергей Александрович Семенов — высокий, в черной бархатной ермолке, похожий оливковым лицом на монгольского хана.

Так и вижу, как сидит он, возвышаясь над белой скатертью стола в окружении толпы актеров и нарядных актрис, поднимающих бокалы в честь автора.

Каким затягивающим омутом казался мне этот шикарный ресторан, сверкающий хрустальными графинами, лафитничками, бокалами «баккара». Можно было зайти, присесть за столик и выпить бутылку стреляющего мелкими брызгами лимонада. Ничего хмельного Вася не пил, и не из ханжества, а принципиально, как убежденный строитель будущего общества, считая алкоголь вреднейшим дурманом.

— А зачем? — говорил он.— Мне и трезвому весело.

Кстати, Вася распространял сухой закон на всех нас, преданных его друзей. Разве что под Новый год позво-

лялось распить одну бутылку «Абрау», и то скорее ради процесса: торжественное открывание, пистолетный хлопок пробки, «шипенье пенистых бокалов»...

Уж на что был чистый и честный Саша Эйдемиллер — наш колосс, титан и... как неудачно выразился Онегин, «циклоп», и тот однажды сильно проштрафился.

В один весенний теплый вечер мы с Васей топали к нему на Нарвский. Миновали церковь на углу и, пройдя несколько шагов, поравнялись с домом, где испокон веку была пивная с зеркальным окном и можно было видеть, как наклоняется буфетчик, рассчитываясь с клиентом, как проплывает официантка с блюдом раков, и еще видна была часть картины, написанной прямо на стене: Стенька Разин, стоя в челне, держит на вытянутых руках красавицу княжну.

— Нет, ты погляди. Вот гусь! — проговорил Вася.

Спиной к окошку сидел наш гигант, то и дело поднося к губам высокую кружку с белой шапкой пены. Как видно, он наслаждался и свежим пивом, и персидскою княжной, и залихватской игрой баянистов.

— Ну погоди же,— сказал Вася, и мы двинулись дальше.

Саша Эйдемиллер был самый высокий человек в типографии, я считал, что поэтому он управлялся почти что один с грандиозной ротационной машиной. «Жил Эйдемиллер тихий, кроткий, он презирал вранье и лесть, ходил изящною походкой в ботинках номер сорок шесть...» Была у нас такая песенка.

На следующее утро Вася зашел к Эйдемиллеру.

— Ты вчера пил?

— Пил. Так ведь пиво.

— Все равно. Значит, на тебя нельзя надеяться, не умеешь себя сдерживать.

Думаю, что неназойливая Васина бдительность, пример его собственной жизни подействовал на меня в такой значительной мере, что после, потеряв Васю, долгие

годы я не прикасался к спиртному, хотя где только не побывал и с кем только не приходилось общаться.

Мы часто собирались тесным кружком в Васиной светлой мансарде: занимались версткой газетных полос, обдумывали, каков будет наш «Самокритикон» — такое мы завели веселое приложение к газете «Искра», а еще Вася заставлял меня клеить макеты книжек-малышек, всего десяток страничек каждая. Все они составлялись из Васиных стихов, раешников, фельетонов — что-то вроде «собрания сочинений Панфила Босого». Приятно было мастерить эти книжонки, придавать им издательский вид, рисовать для каждой обложку, заставки, концовки, монтировать заголовочные шрифты, вырезанные из журналов.

Получилось, что Вася Ульянов был первым, кто сумел заинтересовать меня этой интереснейшей игрой, которой я увлекся так глубоко и серьезно, что потом уж продолжал заниматься ею на протяжении всей жизни. Ведь, в конце концов, я сделался художником-графиком и постоянно был занят книгой или журналом...

Вспоминается мне одна зима, когда Вася на целый месяц уехал в Детское Село на курсы политработников. Курсы помещались в игрушечно-нарядном особняке, бывшем дворце графини Палей: выцветшие гобелены, беломраморные колонны, на стенах пейзажи в духе Гюбер-Робера...

Каждое воскресенье я приезжал туда утром на ползущем не спеша поезде. Было морозно, ослепительно солнечно, и снега стояли высокие, под самые окна графского дома.

Мы с Васей шли завтракать в столовую, где на солнце переливались хрустальные огоньки люстр.

— Нарисуй-ка поскорее дядьку с шевелюрой, который стоит возле буфета,— говорил тихонечко Вася.

Я по мере сил своих выполнял его задания, набрасывал в карманный альбомчик еще два-три профиля.

А после завтрака мы запирались у Васи в комнате, раскручивали большой лист ватмана, и начиналась работа.

К обеду учащиеся спешили в столовую, где на видном месте играла красками развеселая газета «Самовар».

— Ох, и ловко же меня поддедюлил ваш карикатурист,— говорит, посмеиваясь, тот самый «дядька с шевелюрой».

Оказывается, он зав. учебной частью, а я изобразил его в виде розового голенького младенца с соской во рту и пачкой учебников под мышкой.

Вася подталкивает меня:

— А вот художник, познакомьтесь, пожалуйста.

— Ловко, ловко,— говорит дядька,— правильно, что меня ребеночком изобразили, я хоть и завуч, но в учебе тянусь не хуже прочих. А что же вы сами не учитесь художеству? Возраст как раз самый студенческий...

Что я мог ответить ему, когда все чаще задавал себе вопрос: что буду делать дальше, когда кончится обучение в типографии?..

Возвращался я поздно в почти пустом холодном вагоне, зато вопрос: «Что сбудется в жизни со мною?» — куда-то отступал, я был счастлив: удалось схватить в киоске последний номер «Чудака» — остроумнейшего журнала, где все дышало тонким юмором, высоким вкусом. Я позабывал все на свете, погружаясь в разглядывание картинок изумительных мастеров — Козлинского, Ротова, Малаховского...

«Что же вы не учитесь художеству?» — все еще звучало у меня в ушах, но уже не с такой безнадежно грустной интонацией...

Подходил срок моего обучения, и все чаще возникала смутная еще пока неприязнь к делу, которым я старательно занимался четвертый год.

Я размышлял: вот если бы из меня вышел наборщик-линотипист или печатный мастер, то я сознавал бы не-

обходимость своего участия в деле создания книги. Сейте разумное, доброе, вечное... ведь это относится к тем, кто делает книгу своими руками.

А чем, в сущности, занимаемся мы, склоненные над литографскими камнями, почти художники, но никакие не художники, а просто копировальщики чужих рисунков. И добро бы, в каждую новую работу можно было бы вкладывать накопленное умение, приобретенный вкус. Тут сколько ни учись рисовать, все равно остаешься рабом беспрекословного выполнения того, что задано.

Иногда, прерывая мои невеселые мысли, над самым ухом раздавался голос Якова Алексеевича Конкина, он проходил между столами, оглядывая, кто чем занят, и не отвлекается ли кто из молодых какой-нибудь чепухой.

— Алексей Павлович,— говорил он,— надо сегодня сгонять кого-то к Хрисанфу за штампами.

— Сейчас кого-нибудь пошлю,— отвечал Назаров.

И я надеялся, и даже очень горячо желал, что пошлет он все-таки меня... Вот он смотрит в мою сторону.

— Борис, как там у тебя, много еще работы?

Я озарялся внутренней радостью, говорил, что через полчаса могу закончить, и получал записку на выход из типографии. Бодро шагал я по Измайловскому, пуская дым колечками, затем сворачивал налево и выходил на Заротную улицу.

Сколько уж лет пронеслось и каким-то необъяснимым чудом уцелело в памяти холостяцкое жилье старого гравера, специалиста по медным штампам. Трехэтажный домик, спираль черной лестницы со стрельчатыми окошками.

Колоритная фигура был этот славный старик... Нет, решительно никак не вспомню его фамилию. А звали его Хрисанф Евгеньевич... Или Евгений Хрисанфович... Это был пузатый фламандец, носил он просторную блузу, седая бородка торчала острым клинышком.

А жилище его забыть нельзя вот по какой причине: ни у кого я не видел такого. Все стены первой комнаты (дальше я не заглядывал) были почти сплошь покрыты застекленными рисунками и гравюрами разных размеров. Никакой живописи — только отменные рисунки и гравюры в тонких рамочках. Когда в комнату светило низкое зимнее солнце, противоположная стена так и вспыхивала бликами и отражениями, ослепляя прямыми лучами.

Хрисанф жил одиноко, зарабатывал отлично, всегда на столе у него были дорогие лакомства — швейцарский сыр, ветчина.

Помню, что когда я впервые пришел к нему, оказалось, что работа еще не готова, пришлось ждать, пока он кончит возиться со штампом.

— А ты раздевайся, посмотри мою коллекцию,— пригласил он.

Первым мне бросился в глаза лист изумительной красоты — в тени извилистого дуба сидит отшельник в круглой шляпе, погруженный в чтение толстой книги. За спиной у старца, как верный сторож, помахивает хвостом лев, охраняющий покой убежища...

Я узнал эту вещь, она была у меня дома в книжке: «Святой Иероним»... Да нет, не может быть!

— Это что же, настоящий Рембрандт? Ваш собственный?

Старик был удивлен: оказывается, я в чем-то разбираюсь.

— Видишь ли, даже Матэ полагал, что эта вещь принадлежит кому-то из школы Рембрандта, а уж он-то понимал. Ну а если хочешь увидеть живого Рембрандта, то вот он перед тобой,— со смехом хлопнул себя по животу.— Моя работа!

Вся его коллекция состояла из превосходных предметов искусства с дарственными надписями их создателей. Хрисанф называл много неведомых мне имен, среди



которых я знал только Бенуа, Добужинского... Когда бы я потом ни приходил, Хрисанф задерживал меня под предлогом, что штамп еще нужно «шлифануть» или просверлить.

Он был рад поболтать со свежим человеком, любил потчевать угощеньями:

— Не спеши, давай выпьем кофею по-турецки!..

Про литографию нашу знал всё и про всех.

— Конкин? Ну, это человек деловой. Художник в нем уснул навсегда. Верейский? Что говорить, большущий мастер. Да вот, кстати,— он снимал со стены картинку — прелестная голова черноглазого мальчика.— Это, брат, вундеркинд Вилли Ферреро. А вот внизу и подпись: «Милому Хрисанфу. Г. Верейский. 1913 год».

Старик рассказывал, что учился в академии, увлекался гравюрой и офортом и все ему давалось само собой, но серьезным занятиям предпочитал жизнь разгульную, хмельную, считал, что талант вывезет...

Ушел из академии, женился на известной испанской танцовщице.

Он доставал из комода фотографию дамы в широкополой шляпе, щелкал ее крупным ногтем по носу, смеялся...

Рассказывал как бы не о себе, а о каком-то глупце, промотавшем свое счастье.

Может быть, в ответ на откровенность я проговорился, что работа в литографии меня не радует и даже угнетает.

— И правильно! — закричал он.— Какая радость корпеть в молодые годы над ненавистным делом? Тем более, что есть призвание и способности. Все равно хромолитография доживает последние дни. О ней скоро забудут. Двадцатый век гонит отсталую технику. Появятся новые способы печати: фото-лито, меццо-тинто, офсет... Не многие еще знают, что такое офсет — печать с каучука. Это способ, который может передать со всей точностью не только тончайший рисунок великого мастера, но даже оттиск его пальца на полях бумаги...

— Как, неужели даже оттиск пальца? — почему-то именно эта деталь поразила меня более всего...

Вернувшись от Хрисанфа, я присел за свой стол, обдумывая убедительную речь старика. Вдруг неведомая сила заставила меня подняться с места, я зашагал, как во сне, и без стука вошел в святилище Конкина.

Яков Алексеевич и Назаров, низко склонясь над столом, ворошили и разглядывали в лупу какие-то мелкие этикетки.

Дверь хлопнула, они оторвались от своего дела и уставились на меня.

— Ну что, принес штамп?

— Принес.

— Тогда иди и займись поскорее наклейкой для гуталина «Скороблеск», оригинал у тебя на столе.

— Нет! — воскликнул я, набравшись духу.— Терпению моему пришел конец. Довольно! Лучше малевать вывески: «Вина, фрукты, гастрономия», «Точка пил и клепка коньков», чем заниматься хромолитографией, будь она неладна. И так она доживает последние дни...— Дальше я повторил слово в слово все, что «вложил» мне в ухо мудрый Хрисанф.

Милейший мой учитель, друг и наставник Алексей Павлович смотрел на меня с сожалением и грустью, словно я заболел прилипчивой болезнью, не поддающейся лечению.

...И все-таки признаюсь: такой сцены не было. Просто мне она тогда вообразилась. Однако слова старого гравера запали мне в душу и укрепили убеждение, что литографское дело не для меня.

Только не хватало решимости собраться с силами и высказать все это моему старому боцману, Алексею Павловичу, который был мне дорог, ведь он так старался привить мне любовь к литографии. Думалось: вот скажу ему, что хочу все бросить... И как побагровеет его добродушное лицо, как крякнет он от досады и уйдет, не сказав ни слова.

Мы вышли вместе после работы на Измайловский.

— Можно я вас провожу?

Он удивился:

— Но ведь я живу у Горного института.

Как и подобает моряку, он жил на Васильевском острове.

А я уж обдумал, как получше подготовить его, спокойно с ним объясниться. Стал рассказывать — намерен заняться живописью, хожу к Петру Васильевичу, мы ездили с ним рисовать на стадион печатников и в яхтклуб...

Но Алексей Павлович завладел разговором и всю дорогу говорил о том, как жил в Таганроге, ходил по Азовскому морю под парусом, мечтал о дальних плава-

ниях, да так уж получилось, просидел полжизни за литографским камнем. И, пожалуй, не без успеха...

С каждым днем я внутренне все больше отдалялся от жизни своей граверной мастерской, без всякого интереса выполнял задания Алексея Павловича.

И все-таки не могу упрекнуть себя в неблагодарности к нему и ко всем, с кем прожил эти четыре года в братском содружестве в типографских стенах, как в родном доме. Четыре таких долгих, таких значительных года. Ведь спустя каждый год я становился другим человеком, не похожим на прежнего, прошлогоднего.

Какая там неблагодарность — типографская жизнь была необходимой школой трудолюбия, дружбы и товарищества.

* * *

Помню, как, стараясь отлынить от работы, взялся я срочно малевать в клубе индустриальные декорации (трансмиссии, подъемные краны) — Викснэ ставил новую пьесу «Зови, Фабком»... Но чаще всего я сидел с Васей Ульяновым и Эйдемиллером в редакции газеты.

— Корреспондент! — верещали мне вслед попугайскими голосами ребята, намекая на ходульный кинематографический тип ловкого проныры с блокнотом и вечным пером...

Как раз в ту пору Вася «втащил» меня в кружок юмористов при «Красной газете», где стало выходить воскресное приложение «Кипяток» — четыре странички карикатур и фельетонов на материалах, почерпнутых из писем читателей. Клокочущий справедливым гневом «Кипяток» должен был шпарить, как клопов, злостных бюрократов, расхитителей, головотяпов... И все это силами рабочих поэтов и художников, а не тех мастеров сатиры, для кого разящий бич — специальность.

Мне показался забавным ряд совпадений: в типографии мы выпускали «Самокритикон», в Детском Селе —

«Самовар», а здесь, как логическое завершение,— «Кипяток» (из того же самовара)...

Каждую субботу Панфил Босой и я участвовали в интереснейших заседаниях веселого клуба выдумщиков, где во главе длинного полированного стола нас поджидал пунктуальнейший Иван Прутков. Перед ним на столе поблескивали серебряные карманные часы, ровно в шесть начиналась наша работа.

Прутков (Б. В. Жиркович) был соратником Аверченко и Тэффи по «Сатирикону», дружил с Зощенко, Радловым, Вячеславом Шишковым. Он был замечательным экспромтистом и прекрасно рисовал сам на себя шаржи.

Коллектив авторов «Кипятка» насчитывал около дюжины сатириков-стихотворцев и художников разного возраста.

С «Красной газеты» и начались основательные перемены в моей жизни.

Но что же такое была эта «Красная газета»?

Под скромной вывеской с этим названием существовало огромное, очень активно действующее издательство. На Фонтанке, 57, печатались две ежедневные газеты: кроме утренней, еще и вечерняя, она шла нарасхват — столько там было неожиданного, занимательного.

— Вич-чер-рняя «Крас-сная газета»! — кричали газетчики на всех углах.— Тайное свидание Пуанкаре с Болдуином!.. Трагическое происшествие во Владимирском клубе!..

А за углом, в домике в Торговом переулке, помещалось само издательство и все редакции еженедельных журналов: «Бегемот», «Красная панорама», «Вокруг света», «Резец», «Наука и техника» и другие. Здесь существовал один из центров общественной литературной жизни Ленинграда, и всюду — в редакциях, на лестницах этого живого жужжащего улья — можно было в любой момент столкнуться нос к носу с какой-нибудь знаменитостью — с легендарным шлиссельбуржцем Моро-

зовым, с музыковедом Соллертинским или с профессором Ферсманом...

Да что там! Даже на скамейках «Плюшки» — чахлого садика напротив желтого здания Росси, обсуждали свои писательские дела Сергей Колбасьев с кривой трубочкой, пламенно-рыжий Леонид Радищев, молодой Юрий Герман, азартный и насмешливый.

Бродя в коридорах «Красной газеты», я встречал молодых художников: Иосифа Еца — рисовальщика поистине виртуозного; свободно владеющего пером Колю Кустова; жгучего красавца Владимира Гальбу, Ореста Верейского в щегольской кожанке и неразлучного с ним известного шутника Аркадия Минчковского — их называли «театралы», потому что оба часто печатались в журнале «Рабочий и театр». Пока что мы с любопытством оглядывали друг друга, как молодые лошадки на старте.

А в «Кипятке» художников было трое: чубатый Михаил Андреев с «Красного гвоздильщика», похожий на футболиста с рисунка Дейнеки, немолодой железнодорожник Александр Иванов, и я. Все мы получили приглашения посещать консультации у Николая Эрнестовича Радлова в «Бегемоте».



Приходила к Радлову еще одна юная художница — прелестная светловолосая карикатуристка (что было крайне удивительно). Ее звали Нина Лекаренко. Впоследствии она стала известным художником - иллюстратором.

...Николай Эрнестович Радлов. Встреча с ним была событием в моей жизни. Мог ли я подумать — самый умный, тонкий, самый любимый из всех карикатуристов — вот он сидит рядом со мной, дымя трубкой, критикует мои картинки и порой что-то в них ему нравится.

Он холоден, красив, невозмутим настолько, что рассмешить его, по-моему, не дано никому.

Однажды я пришел в редакцию и не успел присесть, как дверь за мной хлопнула: на пороге стоял Алексей Александрович Радаков, известный художник, личность в высшей степени оригинальная. Он рисовал карикатуры и писал стихи, занимался живописью, жил в мансарде... Это был большой толстый красавец, волосы до плеч, широкополая шляпа, вместо пиджака просторная блуза с небрежно завязанным бантом. Его сопровождала свита — два потертых, стыдливо улыбавшихся человека.

Радаков громогласно всех приветствовал — кого смачно целовал, кого хлопал по спине. Он горячо рекомендовал своих спутников, называя их «родственничками», потом принялся красочно описывать лукулловский обед, с которого они только что вернулись.

Он рассказывал так ярко, артистично, что если бы я слушал из соседней комнаты, то подумал бы, что кто-то читает по написанному роль какого-нибудь вельможи.

— И вот, значит, подают мне вместо куропатки в сметане, что бы вы думали? Гуся с капустой... Но какого! Во-от такого размера...— Он развел руками и сам от удивления заливисто засмеялся. Затем, вытащив из кармана блузы платок, быстро утер слезы и заодно высморкался. Вся редакция затряслась от хохота. Нос и щеки Радакова покрылись синими, зелеными, малиновыми, прямо-таки клоунскими мазками.

Не понимая, в чем дело, закатился смехом и он сам.

Один Радлов, совершенно спокойный, протянул свой платок, сложенный квадратиком.

— Там за шкафом зеркальце,— сказал он,— загляните в него, Алексей Александрович, и разгримируйтесь...

— Понимаете,— объяснял Радаков,— вместо платка сунул в карман тряпку для кистей. Еще утром написал превосходный этюд. Такая роскошная натурщица попалась!..

Радлов понимающе улыбался...

Николай Эрнестович даже шутил грустновато, очень назидательно, от этого шутки были еще смешнее. Вот он строго и пристально глядит на меня, как ученый-энтомолог «сквозь волшебный прибор Левенгука» на какого-нибудь незнакомого жука или гусеницу...

— Так, значит, вы хотите стать художником и непременно карикатуристом? Видимо, считаете это занятие веселым и нетрудным?

Я отвечал, что больше всех искусств на свете люблю искусство карикатуры и смог бы, набив руку, рисовать веселые картинки, ведь мое рисование у многих вызывает смех...

— Ну что ж,— сказал он.— На первых порах вручаю вам вот этот блокнот, пусть он будет вашей копилкой. Занимайтесь ежедневно набросками с натуры, тренируйте глаз и руку. Рисуйте, не стесняясь, всюду — в саду, в фойе кинематографа, на вашей работе...

Я старался выполнять все, что говорил мне Николай Эрнестович, и выработал на долгие годы привычку — в каждом кармане пиджака и брюк у меня был заточенный огрызок карандаша (очень короткий — для удобства) и походные блокноты, которые я заполнял набросками. Через неделю я снова являлся в редакцию.

Трудно передать, что за удовольствие было впитывать воздух редакционной жизни, и как бы участвовать в обсуждениях, спорах, в общем веселье по поводу меткого экспромта...

— Вы не очень торопитесь? — говорит мне Радлов,

не выпуская трубки изо рта, а из рук длинных ножниц.— Вот сдам номер в типографию,— поговорим.

Идем не спеша по Садовой, минуя Михайловский замок, через скуповато освещенное Марсово поле.

— Понимаете, чтобы стать карикатуристом, надо серьезно изучать жизнь, много рисовать, писать с натуры, любить и знать живопись, литературу, музыку. Если карикатура не предмет искусства — грош ей цена. Вот вам нравится Бродаты? Отличный мастер карикатуры. А вы еще не знаете, какой он блестящий живописец, какой живет в нем художник театра, иллюстратор, какой он знаток японской гравюры... Борис Иванович Антоновский? Ну, это редкостный самородок...

Беседы Радлова, его острые оценки, суждения обогащали меня новыми открытиями, помогали правильно понимать явления искусства.

— Давайте-ка приходите в субботу ко мне, попробуем сочинить натюрморт.

Я смущался, благодарил Николая Эрнестовича, радовался, представляя себя у мольберта с палитрой, а на столе — золотая россыпь: дыни, апельсины, гранаты...

На столике, покрытом холщовой скатертью, лежали кирпич с прилипшей известкой, зеленая бутыль и пожарная каска.

— Начнем, пожалуй,— сказал Радлов.— Все эти предметы сгруппируйте красиво, разумно и принимайтесь за дело.

Задача была мне ясна — нужно передать на бумаге тускловатый блеск бутыли, шершавость кирпича и зеркальное свечение каски. Только обидно, что приходилось рисовать не красками (я принес свою коробку), а обычным свинцовым карандашом.

Я очень старался, вкомпоновал натюрморт вплотную под самый обрез. Трудился упорно: одно слишком высветлял, другое слишком чернил. Через день-два рисунок был затерт, засален, а кое-где продран резинкой...

После неудачи с натюрмортом прошло некоторое время, я много раздумывал о том, как тупо добивался чего-то не того...

И вдруг меня осенило. Я прибежал домой, отыскал позеленевший медный подсвечник с огарком свечи, взял старую хлебную доску, вышитое полотенце, прибавил фарфоровую перечницу в виде поросенка, затем составил все на столике у окошка и взялся за работу. Рисунок я делал тонким прутиком березового уголька на мелкозернистой бумаге, старался рисовать без нажима, почти контурно, с небольшой моделировкой.

Работал неторопливо и с оглядкой, пытаясь «распластать», как говорил Николай Эрнестович, рисунок на поверхности листа.

Очевидно, свой натюрморт я не закончил из боязни «пережать», но эта недосказанность почему-то была мне по душе.

Теперь я не мог дождаться завтрашнего дня — что скажет Радлов.

В редакции мы встретились на пороге, он заметил мое нетерпение.

— Давайте, давайте, что там у вас.

Помолчал, глянул из-под тяжелых век, может быть, первый раз так серьезно и сказал с мягкой интонацией:

— Что ж, сдвиг есть, совсем неплохо. В таком духе можно работать.

Его слова были мне дороже всякой награды.

Между тем в «Кипятке» появлялись мои кое-как ковыляющие рисунки за таинственной подписью «Бос». Я считал, что, во-первых, псевдоним придает художнику значительность — есть же в «Крокодиле» Генч, Клинч. К тому же понимал, что рисую гораздо слабее, скажем, того же Андреева, который года на три старше меня, и стыдился, когда видел свое напечатанное, да ведь не исправишь, не переделаешь...

Вглядываясь в прошлое, в этот красочный объемный

мир, я просто удивляюсь и себе и своим сверстникам: как мы поспевали за жизнью, как только глаза успевали следить за новостями искусства и театра (выставки, премьеры...); прочесть за ночь роман Пантелеймона Романова или Эренбурга, просмотреть какой-нибудь кинобоевик, тут же полистать свежие номера журналов, заметить и извлечь оттуда самое нужное (и сохранить в памяти), а второстепенное опустить, отсеять... «Мы, знаю, слишком быстро жили...» — скажет потом в стихотворении, посвященном мне, мой друг поэт Миша Дудин.

Но чтобы жить размеренно и спокойно, надо было родиться другим человеком и, наверное, в другие времена...

* * *

Благодаря «Красной газете» и всему, что возле нее, расширялся круг знакомств, завязывались дружеские отношения с художниками, поэтами...

Был среди них Борис Корнилов, удалой человек, сорви-голова. Он говорил о своей безудержной творческой силе как о каком-нибудь собственном нефтяном промысле: ткни в землю пальцем — и тут же в небо ударит золотая струя. Я думаю, он жаждал внимательного слушателя, как я жаждал хороших стихов. А поэт он был удивительный.

Помню, идем от Дома книги к нему домой, в «писательскую надстройку».

— Вот я могу сочинить с ходу стихи о чем хочешь,— говорит он.— Попробуй испытай!

— Ну, что бы такое... Давай про то, как мы шагаем сейчас по улице.

— Ладно, слушай же: «Иду я с папироской по улице Перовской, а навстречу снег да снег... Прижимается сосна к сосне...» И дальше еще строк двенадцать, да так складно, что просто чудо...

Посчастливилось мне встретиться со Львом Григорьевичем Бродаты, художником высокого полета. Сразу же, как кто-то познакомил нас возле гонорарной кассы, он вынул из кармана круглый предмет, какое-то белое яйцо. Оказалось, это японские часы, выточенные со всем механизмом из слоновой кости.

— Случайно купил сегодня в комиссионном,— сказал он с радостной улыбкой.

В часах был фокус: откинув заднюю крышку, можно было разглядеть миниатюрную резную картинку — нарядная гейша каждую секунду отводила от своего лица веер, и показывался целующий ее страшноватый самурай.

Бродаты был на двадцать лет старше меня, но все детское в нем замечательно сохранялось. Даже в выражении круглого лица были приметы ребенка — он смешно надувал губы, поднимал с выражением наивного удивления брови. Был у него иностранный акцент, потому что родился он в Польше, учился и окончил Академию в Вене, затем жил в Гамбурге.

Я наблюдал, как Бродаты сдает рисунок в очередной номер журнала.

— Лев Григорьевич, вы бы хоть подклеивали ваши заплаты поаккуратнее,— говорил Николай Эрнестович.

Дело в том, что в оригиналы рисунков для печати Бродаты вклеивал отдельные детали — кисть руки, неудавшееся, по его мнению, лицо, домик на заднем плане.

— То, что вы видите сейчас,— говорил он,— это вещь не готовая, полуфабрикат. Готовую увидите в напечатанном виде.

И действительно, его превосходные рисунки безупречны до мелочей.

Увлечение карикатурой, сатирическим рисунком не могло затмить для меня таких ярких явлений, как блистательное творчество Н. А. Тырсы, В. В. Лебедева, К. С. Петрова-Водкина...

Впервые был я на выставке работ Владимира Васильевича Лебедева в Доме культуры на Выборгской стороне и там узнал, что он и есть автор моих любимых «Окон РОСТА» и изумительных сатириконских рисунков.

А вот еще неожиданная встреча тех лет (впрочем, это знакомство длилось до самой ленинградской блокады) — Петр Ильич Сторицын. Безвестный поэт и друг поэтов... Но каких поэтов! Маяковский, Бурлюк, Асеев, Бенедикт Лившиц... Среди «Серапионовых братьев» Петр Сторицын был также свой человек. Удивительно, что никто из именитых современников не оставил нам портрета этого неповторимо оригинального чудака.

Кто-то из литераторов (кажется, это был А. Е. Горелов) взял меня с собой — а было это, пожалуй, в тридцатом году — в закрытую столовую КУБУЧа на Невском (КУБУЧ — Комиссия по улучшению быта ученых, но писатели были тоже причислены к ученому миру). Там кормили вкусно, не хуже, чем в «Астории». За столом сидел с нами пожилой, тучный, неряшливо одетый человек, похожий на артиста Варламова или на безобразного пьяницу Силена с картины Рубенса; у него были обвисшие щеки, красноватый нос и маленькие глаза. Пока мы обедали, а он говорил, я успел вполне оценить изящный блеск сторицынского остроумия.



— Вы знаете, — говорил он, — я придумал

название для автобиографической повести — «Мои Американские горы». Ну как, неплохо? В одной фразе — вся моя жизнь.

Петр Ильич был единственным сыном богатейшего одесского мукомола и воспитывался на деньги отца в Геттингене. Там он изучал и ненавидел химию, зато обожал поэзию, боготворил Пушкина, Тютчева, Фета... Все кабаки немецкого городка знали молодого гуляку. Когда он появлялся с компанией друзей,— дверь на засов и пирушка до рассвета...

Из университета Петру Ильичу пришлось уйти вот по какому случаю. В многолюдном праздничном собрании, будучи вполне трезвым, Сторицын подошел, деликатно отстраняя дам, к принцу Вюртембергскому, а может быть, к герцогу Баденскому, и отвесил ему такую звонкую пощечину, что его светлость так и шлепнулся на паркет.

Сторицына оскорбили гнусные насмешки молодого аристократа, и он требовал удовлетворения, но принц, проглотив обиду, отверг притязания горячего одессита, он заявил, что с плебеем драться не будет.

Петру Ильичу срочно выдали диплом и выслали из Геттингена.

Он хорошо знал и крепко любил молодого Маяковского, верил в его высокую звезду. Он даже помог выпустить одну из первых книг Маяковского — раздобыл под каким-то предлогом у отца денег.

Чудом сохранился у меня пожелтевший сборник стихов 1917 года «Чудо в пустыне» (типография Розенштрауха, Одесса, Кондратенко, 16). Авторы этого довольно толстого сборника почти все знакомы любителям стихов: Эдуард Багрицкий, Сергей Третьяков, Владимир Маяковский... За ним идет Петр Сторицын.

Вот как начинается одно из восьми его стихотворений:

Авиатор

Шум от винта, как рокот грома,
Прорезал утренний туман,
И от песка аэродрома
Поднялся ввысь аэроплан.

И туч сверкающие цепи
Тянулись медленной грядой,
Когда на лоб небрежно кепи
Он сдвинул смуглою рукой...

Стихи просты и, может быть, традиционны, в них слышатся интонации юного Багрицкого, но уж графоманом молодого Сторицына никак не назовешь.

О Маяковском Петр Ильич рассказывать не любил, он был обижен на него за то, что, оказавшись в полном безденежье, стал требовать, чтобы Владимир Владимирович возвратил тысячу рублей или, кажется, даже больше — сумму, которую одолжил ему еще при старом режиме. Маяковский прислал в конверте тысячу, но дензнаками 1921 года. Купить на них можно было разве что осьмушку махорки или пачку папирос «Пушка».

Между Сторицыным-отцом и Сторицыным-сыном существовало полное непонимание и многолетняя вражда. Однажды старый мукомол опасно заболел, и мать, обегав злачные места Одессы, нашла Петра Ильича где-то в трактире на Молдаванке и велела немедленно пойти к отцу с покаянием.

— Но зачем? Вряд ли это принесет ему облегчение?!

— Нет, ты обязан просить прощенья. Войди и скажи: «Отец, я пришел рыдать на твоей груди...»

Стиснув зубы, Петр Ильич вошел во мрак спальни. Из подушек глядели на него сверлящие глаза старика.

— Отец, я пришел рыдать на твоей груди...

После короткой паузы последовал ответ:

— Рыдай в отдалении!

Эта убийственно ехидная фраза вошла тогда в поговорку у многих литераторов. Если кто-то сетовал, что не успел получить аванс или какой-то студент отбил у него девушку, ему говорили, посмеиваясь: «Рыдай в отдалении»...

Приведенный мною маленький рассказик — один из сотни коротких, полных горького юмора новелл, которые могли составить интереснейшую книгу о взлетах и падениях Петра Ильича Сторицына. Пожалуй, один Михаил Михайлович Зощенко знал все эти истории, он любил одинокого старика, угощал его в Доме писателя обедами, поддерживал в трудные годы...

Из молодых художников я сблизился прежде всего с Николаем Муратовым. Многие будут называть Муратова совсем по-итальянски: Муратино. Это после того, как он выполнит рисунки к «Золотому ключику» А. Толстого. Говорили: «У Толстого Буратино, а у нас Муратино». Был он немного старше меня, но мудреные его афоризмы произвели на меня впечатление. Муратино был немногословен и, когда, потряхивая шевелюрой, говорил: «Старик»,— то как бы уравнивал с собственной персоной.

Муратов выглядел опытным, появляться с ним в новой редакции было не так боязно, и мы заходили вместе в «Ленинские искры». Там поручали нам сделать в спешном порядке какие-нибудь картинки.

В «Юном пролетарии» сидел улыбающийся завхуд Валентин Яковлевич Бродский. При свете настольной лампы посмотрел альбом моих карикатур, улыбнулся еще шире и сказал:

— Нет, печататься рано, слабенькие рисуночки.

Сейчас я его, конечно, понимаю.

Как бы в утешение, в журнале «Вокруг света» франтоватый Виктор Свешников заказывал заставки или перерисовки.

Казалось, вот так жизнь и пойдет дальше: обрастешь

знакомствами, какая-то работа всегда найдется, а там, глядишь, и осядешь в какой-нибудь редакции навечно.

И был, пожалуй году в двадцать девятом, вечер в клубе рабкоров на третьем этаже по случаю какого-то праздника. На стенах развешивались еще не просохшие как следует шаржи размером в лист, набросанные чертовски остроумным Владимиром Гальбой. На вечере выдавались подарки — шикарные блокноты в красных переплетах. Достался такой блокнот и мне. А потом состоялось выступление молодых поэтов.

Больше всех запомнились мне синеглазый Прокофьев в косоворотке, тоненькая Оля Берггольц и стриженый Гитович в кожаной тужурке нараспашку. По душе пришлись мне его строки: «Лето нас приветствует июлем, ясной радугой, грибным дождем... Мы еще побродим, повоюем и до самой смерти доживем».

Сейчас шевелю губами, перечитывая стихи юности, а в памяти встает другой Гитович — мой фронтовой друг, тронутый уже сединой, встречавший смерть на переднем крае то под Колпином, то под Красным Бором.

А тогда, на вечере, как восторженно мы встречали поэтов, ведь у каждого свой голос, каждый читал по-своему: Прокофьев с темпераментом, который он сдерживал, как буйного коня, Ольга напевно и непосредственно, Гитович — мужественно, чеканно.

Потом выступали стихотворцы от станка: кочегар электростанции Тихомиров, совсем молодой Павел Шубин и... я не мог поверить глазам — Вася Ульянов, скинувший балаганную маску Панфила Босого. В его стихах «неслись стремительные рельсы через пустынные поля...».

Мы вышли на Фонтанку, моросил дождик, однако расходиться по домам не хотелось, вскоре, промокшие до нитки, оказались у Александра Ильича Гитовича. В тесной квартирке почти не было мебели, ее заменяло множество книг. Сидели при свечах, расположившись кто на тахте, кто на ковре, поджав по-турецки ноги,

читали стихи по кругу, спорили, обсуждали, требовали новых стихов.

Откуда-то раздобыли ящик пива, на кухне, в большой кастрюле что-то клокотало: варились сардельки.

Рядом со мной сидели два незнакомца. Оба казались большими знатоками поэзии. Одного трудно было не запомнить, он был, как щелкунчик,— маленький, с коротким носом, жесткие волосы торчали с макушки вверх и вперед.

— Борис Белозеров,— сказал он, крепко сжав руку.

Он тоже прочитал небольшое стихотворение о ночной деревне, в духе «Столбцов» Заболоцкого. Приятель его веселился, но стихов не читал.

Через некоторое время, встретив Гитовича в Доме книги, я спросил о парне, который так походил на деревянного человечка из сказки.

— А,— сказал Александр Ильич.— Белозеров и этот другой, ну как же, это художники. Мировые ребята. ИЗОРАМ!

ИЗОРАМ — слово-то какое звонкое, радужное: из-за рам — новый свет какой-то. Названия такого я не слыхивал, и уж никак не мог предположить, что этот ИЗОРАМ скоро вторгнется в мою жизнь и совершит в ней переворот, в ожидании которого мучилась моя душа.

Захватывающую новость принес прыткий, все знающий Паша Жуков — черноглазый «жучок». Он работал теперь в картографии и имел много свободного времени. Оказывается, существует объединение молодых художников, они учатся и работают все вместе — пишут современные картины, рисуют агитационные плакаты, вообще шагают в ногу с сегодняшним днем...

— Ну, в общем, ТРАМ знаешь — это Театр рабочей молодежи, а ИЗОРАМ — Изо (искусство) рабочей молодежи — и как раз то, что сегодня так нужно!

ТРАМ, конечно же, был театром глубоко нашим, очень любимым. Сколько волнующих, незабываемых

спектаклей: «Клёш задумчивый», «Дружная Горка», «Целина»... Песни из трамовских пьес входили в жизнь.

А ИЗОРАМ?

Мы поспешили на выставку ИЗОРАМа, она как раз вернулась из итальянского города Монц-Милана, где, как сообщили газеты, имела грандиозный успех.

Да, картины изорамовских художников были смелы и современны. Точно построены, радостно удивляли необычностью. Они пульсировали, создавая видимость ритмического движения, хотя и была в них плоскостная плакатная условность. А с какой доподлинностью, скрупулезной выделанностью передавалась фактура ткани, металла, поверхности дерева...

Вот как выглядело одно из монументальных полотен выставки: на золотистом дворцовом паркете — нога в матросском клеше и увесистый приклад винтовки попирают разорванную ассигнацию и кусок розового кружева. Вот и все. Хотя, если вглядишься, то приметишь на заднем плане грозные стволы орудий «Авроры»...

Другие полотна изорамовцев назывались: «Старое и новое», «Эстафета», «Хоккей и фокстрот». Все картины были овеяны свежим дыханием времени и на меня произвели огромное впечатление.

Тут я заметил среди посетителей щетинистый ежик Белозерова. Художник прогуливался по выставке, может быть дежурил, давал объяснения любопытным.

Мы поздоровались как друзья.

— А кто написал вон ту картину «Из цикла „Октябрь"» с прикладом и кружевом на паркете? Замечательная штука!

— Ну, я автор,— сказал он, пожав плечами, будто стесняясь.— Да это неважно, гораздо важнее, что это мы — ИЗОРАМ.

Домой примчался я сам не свой и стал перерывать папки. Белозеров сказал, чтобы я непременно принес рисунки, и записал на бумажке мой адрес.

Оказалось, действительно они принимают молодежь комсомольского возраста, если, конечно, обнаружатся соответствующие данные. Я все переворошил, отбрасывал, сомневался, наконец, отобрал кое-что: два-три номера «Самокритикона», оба «радловских» натюрморта (там был еще другой — с бидоном и огурцами) и, подумав, прибавил портрет девушки, в которую совершенно случайно влюбился...

Теперь давайте представим себе подвал в двухэтажном особняке на Бассейной улице, дом номер 11, особняк этот с прошлым — бывший Дом литераторов, здесь когда-то выступал Александр Блок... Только не на Бассейной в новом районе, а на той, где жил Н. А. Некрасов (ныне улица Некрасова).

В те дни домик принадлежал ТРАМу — там размещалось многокомнатное актерское общежитие, репетиционный зал с зеркалами и концертным роялем. Была даже собственная столовая. Но все это было там, наверху...

А здесь был подвал, хитроумно приспособленный для жилья: комнатки-каюты, перегороженные фанерными стенками, высокие топчаны с матрасами, крытые солдатскими одеялами. Всюду полутьма и электрические лампочки: маленькие над ложем для чтения перед сном, над столом для работы — поярче. Для тепла и подогрева пищи имеются электроплитки. Есть тут подвесные полки для книг, папки для рисунков, на стене деревянные часы с кукушкой. Часы старенькие, сильно отстают, зато осуществляют связь с живой природой, ведь солнечные лучи в подвал не проникают, и приятно сквозь сон услышать в этой темноте глуховатое «ку-ку...»

У стен на табуретах стоят большие доски с натянутыми листами бумаги. Где-то уже намечен карандашом рисунок: голова юноши в красноармейском шлеме, напоминающая микеланджеловского Давида, этюды рук, ступней, глаз...

Вот что я увидел, когда пришел в ИЗОРАМ. И сердце мое заколотилось, я понял, как нуждаюсь именно в такой схимническо-отшельнической жизни. Пускай испытают, я был готов день и ночь сидеть за работой. Ведь так хотелось быть хоть немного похожим на этих самоотверженных молодых людей...

Все решилось в один вечер.

Помню внимательные, очень серьезные лица обступивших круглый стол изорамовцев: Володя Мейер, Костя Савищенко, Абрам Кукуев, Муся Малик, Борис Белозеров (я знал, что он за меня), Галка Соболева, Миша Белявский... Без всяких слов и тем более восклицаний мои рисуночки переходили из рук в руки.

Леонид Ипполитович Каратеев, один из руководителей, ироничный и высоколобый, сказал, озаряя все вокруг своей обаятельной улыбкой:

— Борис Семенов нам подойдет. Материал хороший. Кстати, карикатуриста у нас нет и вообще его нам надо.

Итак, я был принят единодушно. Единодушно!.. Как жаль, что это слово нельзя набрать самыми крупными афишными буквами, чтобы передать степень моего душевного взлета. Да, принят и не просто — приходи, присмотримся к тебе, будем вместе работать. Нет, меня зачислили в основную группу ИЗОРАМа, иначе говоря, приняли в свою семью.

Как сразу изменилось все вокруг: люди, обстановка, режим дня (времени словно прибавилось — здесь ложились спать не раньше двух часов ночи), я и так был неприхотлив, а тут готов был питаться как отшельник и спать, укрываясь веретьём...

Конечно, я поспешил перебраться из дома в общежитие: важно было соответствовать интересам общего дела.

Жизнь ИЗОРАМа протекала в первобытной простоте отношений. Денег нет — и не надо (правда, полагалась какая-то стипендия), вещи так же не были предметом единоличной собственности. Все принадлежало всем.

Здесь господствовал всеобщий закон братства, спаянность, трудолюбие и вера в необходимость своей работы.

Мог ли я ожидать такой скорой, просто свалившейся с неба, радостной перемены в моей судьбе?..

Скорой?.. Да нет, если хорошенько вспомнить, мучительно долгой.

Оказалось, что уйти из типографии было совсем непросто. Уже имелась бумага, где говорилось, что дирекция и фабком не возражают против моего перехода в ИЗОРАМ «для продолжения художественного образования». Не хватало одной подписи начальника производственного отдела. Надолго запомнился мне его скошенный лоб, крутые завитки проволочных кудряшек...

Он вечно был занят сверх головы, поймать его казалось невозможным делом. Улучив момент, я вошел к нему и положил свою бумажку на зеленое сукно:

— Вот, подпишите, пожалуйста.

— Как просто — подпишите,— сказал он.— Это еще надо подумать,— и спрятал бумажку в стол.

Мучительно долго тянулась неделя, другая, затем — категорический отказ. Не действовали ни мольбы, ни уговоры, ни скандалы. На все был один ответ:

— А кто мне его заменит?..

Но я не вешал носа и воспринял появление этой преграды, как ниспосланное мне испытание: хватит ли выдержки и пороху.

Долго длилась беготня и переписка. То изорамовский комсомольский вожак Мейер ездил к отсекру комсомола типографии, то оба они ездили в гороно, в обком профсоюза, то приходила бумага из Дворца труда с большими печатями...

Помог все-таки комсомол.

Из горкома приехали два очень спокойных и деловых человека — Гальперин и Вайшля, вызвали меня, посадили на стул в приемной возле двери кабинета с табличкой «Начальник производственного отдела».

— Сиди тут и жди, может, потребуешься.

Затем постучали и вошли.

Пролетело пять минут, дверь распахнулась, на пороге стоял, улыбаясь, товарищ Антифеев, провожающий горкомовских работников.

— Конечно, конечно,— говорил он,— раз такое дело, для комсомола и так далее, это мы мигом!..

Навсегда запомнился пронзительно холодный солнечный день, летящие по небу во все стороны белые облака, порывистый ветер с Ладоги, вышибающий слезу,— воздух свободы и радости.

Вот иду я со своей шелестящей в кармане бумажкой по набережной Невы и чувствую свою молодость, небывалый прилив сил, стремление к желанной работе.

Приближалась весна тридцать первого года. А было мне тогда уже двадцать лет.

Эх, что за дивное, раздольное житье было в ИЗОРАМе, в здании бывшей церковки на улице Жуковского, 16а, куда мы переехали из трамовских подвалов!

Верхний этаж — почти целиком занимал большой зал, где недавно совершалась церковная служба. Правда, уже не было ни клироса, ни святых врат, ничего церковного, кроме окон с византийским орнаментом решеток да навощенного паркета.

В высоком зале гулко звучали молодые голоса. Видимо, поэтому ребята любили горланить хором: «Ты, моряк, красив сам собою...» или «Шел козел дорогою, дорогою, дорогою...»

Впрочем, хоровое пение допускалось в те часы, когда работа не требовала творческих усилий, а шла грунтовка холстов или что-либо подобное.

В нижнем этаже размещались комнаты нашего общежития, там был и натурный класс. Маловато света, зато можно жарко натопить печку, чтоб не мерзла обнаженная модель.



Внизу, в бывшей дворницкой, ютились старушки-монашенки, было слышно, как они поют на два голоса, тонко и протяжно...

Моисей Соломонович Бродский — художественный руководитель ИЗОРАМа — был наделен какой-то сверхактивной силой и умел заряжать ею всех без исключения. А было ему лет под сорок; смугло-розовый, чубатый, русая бородка торчком. Одевался чисто, неброско, но элегантно: короткое кожаное пальто, красивый галстук, бриджи в клеточку...

Все знали его деловитость, замечательную реакцию, быстроту движений... И передвижений. Вот только что сидел он в раздумье, напевая под нос свое «пирби-парба, пирби-парба...», посреди зала на табуретке, расставив крепкие ноги и забирая в кулак бороду лопаточкой... Мгновение, и уж нет его, где-то катит в автомобиле на совещание в облоно, в горисполком или в театральные мастерские на улицу Писарева, ведь у ИЗОРАМа дел всегда хватает.

Совершенным контрастом Бродскому, взрывчатой его натуре, был Каратеев. Терпение его казалось безграничным, а знания литературы, живописи, архитектуры — неисчерпаемы. Хотелось постоянно общаться с ним, слушать

подсоленные юмором замечания и советы, ловить французские поговорки — образцы изысканного остроумия.

У нас были отличные педагоги — сладкоречивый соловей профессор С. К. Исаков (история русского искусства), художественный критик А. С. Гущин (западная классика) да и сам Бродский — замечательный эрудит — увлекал нас беседами об интереснейших открытиях современного искусства: о символике красок Ван Гога, о цветозвуковых опытах Архипенко... А главное, о французских пуристах: Метценже, Озанфан, Жаннере. Их искусство было близко нашему изорамовскому направлению, оно билось в ритме эпохи, отражало поступь века машин... «Я хочу построить свою картину, как машину» — эти слова Шарля Жаннере (или иначе Ле Корбюзье), художника, ученого и провидца, стали одной из творческих заповедей ИЗОРАМа.

С одинаковым энтузиазмом и легкостью кочевали мы из одной эры искусства в другую. Наши боги разгуливали по одной райской дорожке, любезно раскланиваясь и уступая путь друг другу. Великий Джотто приветствовал, скажем, Фернана Леже, который был дорог нам как единомышленник и личный друг Маяковского.

Дух Маяковского, дух ЛЕФа наполнял наши паруса.

Вот так и жили мы, наслаждаясь полнокровной деятельной жизнью, сочетая творчество с учебой, приправляя скуповатый ужин шуткой или озорной песней: «Нигде милого не вижу, ни в деревне, ни в лесу... В огороде садит сою, а пожнет, вишь, колбасу...»

Соевая колбаса была отменным угощеньем студентов.

С утра все дружно работали, соблюдая полное молчание. Кто писал панно или станковую картину, кто гнул спину, разрабатывая новый тип мебели для строящегося Дома культуры, а я принялся заниматься книжной иллюстрацией. Обратился к обожаемому Гоголю, к его «Невскому проспекту». Казалось бы, все так близко и

доступно. Давно и хорошо я знаю старый Петербург, так же, как знаю глуповатого поручика Пирогова и этих ремесленников-немцев, их щепетильных жен... Невский — тоже здесь под боком.

Но не тут-то было. Не по зубам оказался орешек. Уж батальон Пироговых выстроился перед мной в кокетливых позах, а гоголевского ничего в них не было. Так, пустота и пошлая карикатура.

Мой уголок зала, огороженный мольбертами и холстами, был завален грудами эскизов, рисунки и наброски фигур висели на стенах, в беспорядке валялись под ногами. Я пробовал рисовать углем, сангиной, гусиным пером, скоблил меловую бумагу скальпелем. И, сомневаясь с каждым днем все больше, простаивал часами над новым опусом, почесывая макушку.

— А что, если попробовать повернуть композицию вот эдак? — говорил какой-нибудь друг-доброжелатель. Иногда оказывалось, что совет разумен, а нет — так можно было «отстранить» советчика, поддав ему на прощанье коленом.

Случались в ИЗОРАМе авральные дни и недели. Моментально все до одного переключались на срочное и неотложное задание. Помню, с каким пылом бросились мы натягивать полотнища рулонного ватмана на узкие неудобные подрамники. Наносили карандашным легким контуром на этих бесконечно длинных бумажных пространствах буквально тысячи марширующих человечков. И каждого надо было нарядить в яркий спортивный костюм, каждой колонне дать свое, отличное от других знамя. Интересная, но кропотливая, просто мозаичная работа.

А все это вот почему: готовился первый городской парад физкультурников, и руководство поручило ИЗОРАМу разработать в эскизах весь церемониал, да еще так, чтобы цветовые сочетания чередовались в неповторяющихся вариантах.

А еще, помнится, была жаркая пора — одному крупному заводу потребовалась помощь для выполнения в срок промфинплана. Вся наша молодая энергия, выдумка, время — все было отдано горячей работе.

Изобретались новые оригинальные формы агитации — фотоплакаты, лозунги с лаконичным рисунком, остроумные призывы; злая карикатура тоже годилась в дело. Приходилось работать допоздна и даже ночевать в заводских стенах.

За первый же год пребывания в ИЗОРАМе я накопил в таких делах немалый опыт.

И вот однажды осенью в начале октября тридцать первого года Бродский собрал нас вечером на беседу и под конец сообщил, так, вскользь, между прочим, что в Заполярье, а именно в Хибиногорск, желательно направить молодого инициативного художника. На какой-нибудь месяц, не больше.

Сейчас туда отбывает бригада — четыре артиста Красного театра, хормейстер, баянист, и просто необходим художник. Нужно успеть подготовить к празднованию 7 ноября хибиногорскую самодеятельность, научить тамошнюю молодежь культурно писать лозунги, сделать по трафарету несколько броских плакатов, принарядить клуб — в общем, сориентироваться на месте.

Хибиногорск!.. Вот это да! Так и встали перед глазами островерхие седые горы, вереницы оленьих упряжек, сполохи невиданного северного сияния. Ужасно захотелось поехать: а вдруг больше никогда не представится такой возможности?

И я вызвался раньше, чем успел хорошенько подумать.

* * *

Я был очень доволен, что так удачно приоделся. Мягкая серая кепка, просторный макинтош, под ним вязаный пуловер соломенного оттенка (вискоза). В зубах

кривая трубочка, на ногах узконосые ботинки с крагами. В тот момент я не понимал, что наряд мой больше подошел бы для экскурсии по Крымскому побережью.

Забыл я еще упомянуть фасонистые, хоть и не новые лайковые перчатки. Не хватало только бинокля или подзорной трубы.

Ночной поезд назывался «Полярная стрела», и это придавало путешествию колорит особой роскоши. Хорошенькая проводница разносила янтарный чай, названия станций звучали красиво и непривычно: Медвежьегорск... Кемь... Лоухи...

На станцию Апатиты мы прибыли к ночи. Бархатная чернота неба и морозный жуткий скрип, прямо визг из-под ног,— спросонок я не успел хорошенько осознать, что попал совсем в другой — в свирепый климат, потому что через несколько минут в пузатом автобусе мы подъехали к бревенчатому домику, вроде дачки, с вывеской «Гостиница».

Дежурная сказала, что номеров нет и не будет, а на раскладушке в коридоре переспать можно. Кое-как обогревшись, я уснул возле самого жерла печурки.

Утром надо было спешить в райком. Вышел на улицу и обомлел от совершенно пронзительной синевы, от бешеного сияния солнца, от того, что дышать нечем — такой морозище.

— А ей-богу же, сегодня уже пятьдесят градусов будэ!..— пропел над самым ухом голос прохожего, он как бы дал мне незамедлительный ответ, сколько же градусов по Цельсию?

Уши, губы, колени — все сковал отчаянный холод. Перчатки задубенели и облепили коростой скрюченные пальцы. Припомнив Нансена и Джека Лондона, я сплюнул, но на снег упала все-таки не льдинка, а кружочек слюны.

И тут я пустился бегом до указанного милиционером рубленого дома, где помещался горком комсомола.

А милиционер-то — сущий чапаевец: угольно-черный тулупчик, лохматая папаха, высокие черные валенки, сбоку наган.

В горкоме все были в разъезде. Меня приняла Шура Савина — завженотделом. Красивая жгучая брюнетка, похожая на Фатьму Мухтарову — лучшую Кармен Большого театра. Поразило то, что в краю снегов такая субтропическая красота: смугло-матовый румянец, огромные глаза, мохнатые ресницы и брови. Хорош же, видно, был перед ней я — закоченевший зяблик в макинтоше.

Сейчас же была выдана бумага с лиловой печатью: обмундировать художника Семенова — полушубок, валенки, шапка-ушанка.

— Ночевать сегодня придется у меня, вот адрес. Завтра из Мурманска приедет Роговский — подыщем жилье.— Так сказала повелительница. Я вспомнил частушку: «Женотдел — мамаша наша...», схватил чемоданишко и помчался к складу.

Невдалеке помещалась редакция газеты «Хибиногорский рабочий», сквозь ледяные окна я услышал знакомый гудящий накат плоскопечатной машины, вошел и стал знакомиться. Здесь работали исключительно ленинградцы, симпатичные люди, кого-то из них я уже встречал.

Через какой-нибудь час мы с Анатолием Гореловым — редактором газеты — побывали на берегу горного озера Вудьявр, затем прошли по льду к обогатительной фабрике. Там довольно быстро отыскали для меня трех-четырех подростков из школы ФЗУ — больших любителей рисования. Для начала это было неплохо.

Хибиногорск в ту пору был мало похож на город, почти весь он состоял из двух улиц — Обогатительной и Хибиногорской, где стояли унылые бараки да десятка два рубленых двухэтажных домов. В промежутках между домами можно было видеть петляющую под обрывом

незамерзающую речку Белую, по берегу которой сновали пыхтящие паровозики.

Внизу, на окраине, кое-где люди все еще зимовали в ветхих домиках и утепленных землянках...

В послеобеденное время стало быстро темнеть, и я подумал, вот-вот завоет пурга, но оказалось, что с гор спустилась полярная ночь. В домах затеплились огни.

Я засиделся в редакции, слушал рассказы о каверзах злой природы, о горных обвалах, о нравах лопарей. Многие встречались тут с Кировым, а уж академика Ферсмана знал почти каждый.

Около полуночи под дикий свист ветра добрел я до барака и принялся открывать чужим ключиком чужую дверь. В темном коридоре стоял разноголосый говор жильцов, слышался детский смешок, из потемок доносился угарный дух самовара.

В тесноватой комнатке царила монастырская чистота и снеговая белизна всяких салфеточек, наволочек, отглаженной скатерти, пикейного покрывала. Все это можно было разглядеть, не зажигая огня. Тускловатый свет фонаря с улицы попадал в угол комнаты, освещая портрет Фридриха Энгельса.

Я канул в сон, как в омут, но среди ночи пробудился. В тишине постукивал маятник стенных часов, светились островки салфеток... А с постелью вровень, чуть пониже, спала, примостившись на составленных стульях (другого свободного пространства в комнате не было) прекрасная, как Шахразада, сама руководительница женотдела. Крупные завитки черных волос разметались по подушке, лицо было спокойно, она глубоко и ровно дышала. Никогда еще не приходилось мне любоваться так близко беззащитной женской красотой.

Неожиданно ее закрытые веки дрогнули, и она промолвила что-то невнятно, словно простонала.

— Что? — спросил я сдавленным голосом.

— Где... Где Артем? — повторила она отчетливо, но так же тихо, не открывая глаз.

Я промолчал и поскорее отодвинулся, думая, что пристальным взглядом могу разбудить ее. Вдруг сделалось стыдно так, словно бы я хотел только что украсть что-то недозволенное, мне совсем не принадлежащее. Руки нашарили лыжную бязевую рубашку, и я натянул ее задом наперед, тут же выправил положение, застегнул пуговицы на груди, напялил сверху свой желтый пуловер и вскоре заснул сном честного человека.

— Нет, ты понимаешь,— говорила поутру моя милая хозяйка, деловито расхаживая по комнате с дымящимся на сковороде поджаренным хлебом.— Да ты лежи, лежи, отдыхай... Понимаешь, поехала я вчера на попутке ночевать к подруге, а ее черти в Мончетундру унесли, вот и пришлось трусить домой по морозцу...

Этот ночной приют и саму Шуру Савину, ее необыкновенную красоту, святое доверие и гостеприимство я, конечно, не мог забыть уж никогда.

Через два-три дня я стал проводить занятия с небольшой группой ребят в одноэтажном заснеженном клубе горняков. Тут хозяйничал дикий холод, сидеть приходилось в пальто, в шубейках да кацавейках, не снимая даже шапок. Старшим ребятам было по пятнадцать-шестнадцать лет, а те, что помладше, вообще не видывали никаких красок и лазали пальцами в банки с гуашью, малевали на чем попало, наслаждаясь, что получается звезда, цветок или рожица.

Это были дети переселенцев с Украины, те, кто через годы станут получать здесь правительственные награды за доблестный труд и станут окончательно коренными жителями Хибин.

Хлопцы, кто постарше, старательно мусолили карандаши и рисовали картинки плакатного размера на заданную мной тему, например, красный трактор с размаху наезжает на разъяренного кулака...

Несмотря на объявления и на призывы диктора местного радиоузла, взрослые ко мне не шли, а топали мимо моей двери на репетиции хорового кружка. Всю нагрузку приходилось тянуть самому.

Правда, был у меня добровольный помощник, глуховатый плотник Авдюша, который, что бы ни начинал делать, принимался спорить или так снисходительно посмеивался, будто знал все лучше меня. Хотя надо признаться, старик ловко расчерчивал кумач для лозунгов, наклеивал бумажные буквы и даже на портретах аккуратно выводил галстуки и лацканы пиджаков. Это я мог ему доверять.

У меня в клубе было свое жилье — чулан с квадратным окошком и чугунной печуркой. Если ночью бушевала пурга, под утро через щелястое окно прямо на пол надувало порядочную горушку снега, похожую на сахарную голову. Удобство заключалось в том, что рудник был близко, а там я делал наброски, доставлял туда «свежеиспеченные» лозунги, пытался даже писать на морозе акварелью...

Не хочу подробно рассказывать о своей работе, ничего в ней особенного не было, но кому-то, видимо, нравилось, что я делаю все, что только возможно: поздравительные адреса, портреты ударников, диаграммы, шаржи, даже театральные декорации.

На тесной и неглубокой сцене клуба мне довелось (именно довелось) сделать оформление двух спектаклей — какого-то водевиля в стихах и широко известную «Наталку-Полтавку», комедию с пением и непременным гопаком в финале. Тут пришлось мне изрядно потрудиться. Раздвигающийся занавес открывал панораму уходящих вдаль высоких беленых хат со слюдяными оконцами, а громадные подсолнухи на переднем плане в такт песне ритмично раскачивались. В конце акта загорались огоньки в окнах крошечных хаток, и Авдюша по моему сигналу возносил на невидимой веревочке

оранжевый месяц, сделанный из промасленной бумаги...

Я здорово уставал от наплыва работы, от вечной стужи, наконец от придирок завклуба Мурсакова. Этот маленький тиран стал считать меня своим подчиненным. Краснолицый, сиплый, он именовал себя с иронической гордостью: «Бывший интеллигент». Доходило до того, что иногда я спасался бегством. Не отвечая на оскорбления, запирал чулан, вставал на лыжи и через час появлялся на улицах Хибиногорска. Здесь у меня был свой угол в доме, где жили друзья, два журналиста — чернобровый Левка Никаноров, обожатель старика Беранже, и силач Гриша Раков, по прозвищу Медведь рязанский. А за стенкой жил молодой поэт, красивый и несколько надменный Александр Решетов. Помню, велись споры, кто из поэтов сильнее — Решетов или Прокофьев...



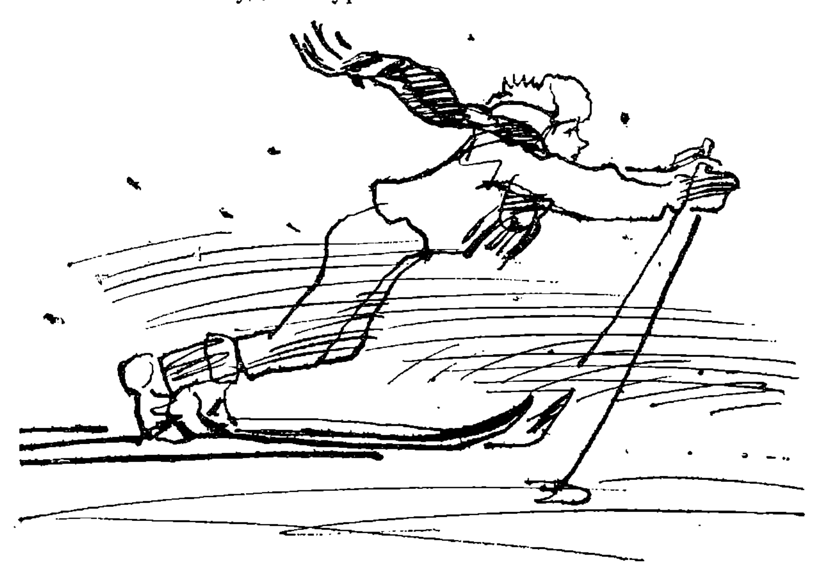
Тут на горизонте появился еще один юный стихотворец — неторопливый, белолицый, в телячьей куртке и в шапке-малахае с длинными ушами до самых колен. Стихи он читал глубоким, хорошо поставленным голосом: «...Будут звезды черпать апатит золотым ковшом Большой Медведицы...»

Он был по-московски говорлив, сыпал рифмованными экспромтами, мы сдружились и ходили повсюду вместе. Поэта звали Лев Ошанин, и песен он еще не писал. Напрасно Таня Ячина, златовласая фея из городской аптеки, и я старались приучить его к даль-

ним лыжным путешествиям. Ошанинская неторопливость приводила меня в бешенство...

В Хибинах провел я отчаянно долгую зиму. Вместо одного месяца прожил там полгода, не зная мук безделья, но страдая порой от ностальгии. Письма из Ленинграда приходили все реже. Особенно тягостной оказалась снеговая мгла бесконечной полярной ночи. Я принимался строчить в ИЗОРАМ письма, чтобы меня взяли поскорее обратно, но там посмеивались, выуживали юмористические интонации, я ведь считался у них большим шутником. К тому же и денег не присылали, так что уехать я мог разве что на своих лыжах через весь Карельский перешеек...

Я старался утешиться, перечитывая книги из роскошной библиотеки Михаила Ильича Гинзбурга. Работал в газете такой чудак журналист. Скитаясь по необъятной



стране, он возил с собой в складных ящиках бесценное собрание великолепных книг: все наши классики, все поэты были у него в лучших изданиях, все редкостные книги о русской старине, о Петербурге. По Хибиногорску он ходил, дымя махрой, в долгополом тулупе и выгоревшей на азиатском солнце до бумажной белизны мягкой фуражке с нетускнеющей красной звездочкой.

Но и книги Михаила Ильича не могли заменить мне голосов живых друзей, в хоре которых едва слышался один нежный и просто необходимый...

Игнашов! Вот, вспомнил, как его звали. Это был один из хибинских милицейских начальников. Мы познакомились на встрече Нового года у главного инженера ГРЭС. Помню, как выбегали из дома и под странный шорох раздвинувшего все небо северного сияния чокались бокалами шампанского... Тогда я и подумать не мог, что Игнашов, важная персона с орденом в красной розетке на высокой груди, когда-нибудь меня вспомнит.

Мы встретились случайно, кажется, в столовой ИТР. Он вонзил в меня свои острые глазки.

— Слушайте, вам что, действительно позарез нужно в Ленинград?

— Вот ей-богу, позарез,— сказал я.

— Ну вот что, если хотите, давайте завтра со мной, довезу бесплатно и с комфортом.

Утром чуть свет я прибежал к его подъезду. Игнашову полагалось двухместное купе в конце поезда. Я шагал к вагону впереди, а мой начальник размеренно шествовал за мной — строгий, стройный, в длинной своей шинели с торчащими углами воротника, словно вел меня под конвоем. Он показал проводнику документы, и мы заняли места, защелкнув дверь купе. С какой-то странной грустью смотрел я на эти навсегда убегающие за окном снежные холмы, равнины, гряды камней...

Полчаса спустя заглянул контролер, откозырял, уставился на меня. «Это со мной»,— буркнул Игнашов,

намекая, что везет не простого пассажира. Потом, ближе к вечеру, дверь снова приоткрылась и заглянул какой-то железнодорожный чин, должно быть начальник поезда: вероятно, его предупредили, что везут какого-то типа, может опасного рецидивиста. Игнашов в то время сладко спал, отвернувшись к стенке, а я сидел нога на ногу, покуривал его «Казбек» и читал книжку. Глаза железнодорожника округлились, он приметил на столике, среди стаканов и лимонадных бутылок, вороненый пистолет в расстегнутой кобуре. Я сердито замахал, показывая, что ведь спит же человек... Ничего не понимая, железнодорожник послушно закрыл дверь.

В Ленинграде на площади у вокзала дежурили все те же извозчики и их промокшие до костей лошадки, а в центре дремал на чугунном битюге царь-пугало Александр Третий.

Приближалась весна тридцать второго года.

В ИЗОРАМе жизнь била живым ключом. Шумел буйный ветер дискуссий, создавались полотна монументальных картин, начиналась подготовка к первомайским празднествам.

Никто особенно не удивился моему возвращению. Надо было поскорее включаться в общее дело...

Но долго мне еще снились Хибинские горы, мелькающие огни в штреках рудника, бесконечные снегопады. Нет, не прошла эта нелегкая зима для меня впустую. Многому я научился, обрел настоящих друзей, а каких только не навидался чудес природы!.. Разве забудется стремительный жаркий бег на лыжах по склонам Расвумчорра, когда летишь и горланишь среди белой пустыни. А как увидишь вдали оленью упряжку, все думаешь догнать ее, а она уходит, уходит, пока не станет как четкий рисуночек, вырезанный на моржовом клыке ненецким художником.

Итак, что же было дальше? В ИЗОРАМе произошли кое-какие важные перемены. Прибавилось несколько но-

веньких талантов: Мотя Усас, Илья Быстров, Люся Копылова. Появился свой бухгалтер — миниатюрный и сладкоречивый Блинов («Блинчик») — на ножках, обутых в детские ботиночки, и его толстуха помощница, вылитая Екатерина II. В среде старых изорамовцев произошло некоторое расслоение, стали распадаться давние дружеские союзы. Общество разделилось на твердокаменных аскетов (как и подобает истинным художникам) и на презренных женатиков. Один за другим подряд женились Белявский, Мейер, Савиценко, Ваня Харкевич... Неважно, что почти все они обзавелись женами из своего художнического круга, но с каким жаром стали устраивать гнезда, отгораживаться в отдельных комнатах общежития. И вот уже запахло оттуда домашним борщом, горохом... Вольный дух общины испарялся на глазах.

Будучи не столь уж молодым (все-таки двадцать два года!), я не мог представить себе свою будущую семейную жизнь. Просто никаких намерений и планов. И даже некоторое отрицание брака вообще. Хотя, признаюсь, любовь уже основательно мной завладела, и бороться с этим было бесполезно.



Ася — вот как ее звали. Тургеневское имя вполне соответствовало ее девичьему облику, большеглазости, живой, быстролетной натуре. Она была немного старше меня, училась в Консерватории, голосок был чистый, звонкий, казалось, созданный для оперного пения: «Каро мио бен-н-н, креди ми аль мен-н-н...» Закроешь глаза и слушаешь эту непонятную, но такую волнующую итальянскую арию, просто мед струится по жилам.

Буквально на каждом шагу меня преследовала и поражала ее многоликость. Именно в ней сочетались все чарующие женские образы. Читая Мериме, я замечал, что Ася — вылитая Кармен, способная вмиг увлечь кого пожелает. Но и робкая Лиза из «Пиковой дамы» также была она. Слушая «Царскую невесту» («...Иван Сергеич, хочешь в сад пойдем...»), я не мог отделаться от того, что Марфа — до малейших интонаций сладко струящегося голоса — доподлинная, живая Ася. И она же детски наивная Джильда, а завтра — хитроумная Розина или недостойная доверия, нежная Манон Леско.

Имелась у нее слабость или страсть: любила она «прилыгнуть», как говорила бабушка, то есть, приправляла фантазией даже не столь значительные факты. Если кто-то дарил цветы, то: «Вообрази, он засыпал всю мою комнату гортензиями и флоксами!» И я вспоминал ее крошечную каморку под крышей, где теснились вплотную стол, кровать и два венских стула.

Более всех благ, дороже денег, подарков, дорогих лакомств Ася ценила общение с известными людьми искусства, литературы, особенно с поэтами и музыкантами. Она могла часами вести остроумную беседу, ее ручки целовали журналисты и писатели, филармонийские скрипачи и консерваторские тенора... В записной книжечке тьма тьмущая имен всяческих знаменитостей: артисты Дальский, Аркадский, Оленин; композиторы Поль Марсель и какой-то эстрадный Дюбуа. Поэты — Рождественский, Шубин, Шмидт... Кто знает, какого избранника она искала в этой толпе?

Бывали черные дни, когда я огорчался до боли, видя невозможность отличить ее искренний порыв (так что слезы дрожат на ресницах) от хитро замаскированного обмана, я ведь чувствовал, что от меня утаивается что-то такое, может быть недостойное...

А впрочем, все изъяны Асиного характера искупались ее нерасчетливостью, добротой, способностью вот так,

сразу отдать все заболевшей подруге, заняться лечением грязного чердачного кота или вручить старику-нищему все свои деньги вместе с кошельком.

Я всюду таскался за ней, восторженный и нетерпеливый, как щенок на поводке, с грехом пополам успевая выполнять изорамовские задания.

Работал я тогда над картинками к новой книге Зощенко «Возвращенная молодость», и возлюбленная профессора в моих эскизах была одета и подстрижена как Ася, так же, как она, тонка и прелестна.

Каждый вечер бегали мы с ней по театрам, не имея лишнего рубля в кармане. Был прост и хорошо проверен единственный способ. Достаточно было иметь всего один рубль, этого, действительно, хватало.

Промаячив в вестибюле до последнего звонка, мы прорывались внутрь и, скидывая на ходу пальто, бежали налево к наименее занятой вешалке, подлетали к хорошо знакомому седому гардеробщику и, сунув в его ладонь рублевку, мчались наверх в самую крайнюю ближнюю к сцене ложу. Садились впотьмах где попало, вдвоем в одно кресло...

Ах, какое блаженство, если давали (пускай хоть в сотый раз!) «Севильского цирюльника», «Риголетто» или «Царскую невесту»...

Встречались мы, бывало, на Барочной улице у Нины Рациборской. Это была ближайшая Асина подруга, она обожала Оскара Уайльда, сочиняла певучие стихи, курила длинные «дамские» папиросы. На потолке у нее вместо абажура был подвешен светлый японский зонтик, а на стенах было много рисунков, подаренных ей художниками. Все говорили, что у Нины исключительный вкус и профиль античной камеи.

Помню, я заметил над ее секретером новые картинки, исполненные тушью и белилами на серой бумаге. Я и сейчас хорошо их помню. Это были изображения чертенят — коренастых, косолапых, находящихся в боль-

шом подпитии. Они кувыркались, задирали кривые ноги. Нельзя было смотреть без улыбки на эту буйную ораву.

— Это кто ж подарил такую прелесть?

— Да Юрочка Васнецов. Знаете такого?

Нет, я еще не знал этого художника и не мог подумать, что когда-нибудь буду с ним в дружеских отношениях. Помог случай: вскоре мы встретились как раз у Нины. Помню, как я засиделся до позднего часа, начал прощаться, но в передней столкнулся с двумя очень веселыми незнакомцами. Оба они покорили мое сердце с первого взгляда. Тот, что поменьше, голубоглазый и цветущий, в черном клеенчатом плаще и малиновом шотландском шарфе, был Васнецов. Рядом с ним выглядел каким-то моряком с разбойничьей шхуны могучий Гриша Шевяков. На нем была рубаха из плотной ткани в крупную красно-черно-зеленую клетку.

Уселись в кресла, стали припоминать общих знакомых. Выяснилось, что имеется один общий друг — Леня Каратеев.

У Васнецова мундштук папиросы был с зажимкой, как для елочных свечей. Иногда ради эксцентричной шутки Юрочка прикреплял мундштук к козырьку кепи и, держа в зубах кончик гибкой трубочки, гулял по бульвару, пуская дым коромыслом...

Гриша извлек неизвестно откуда пузатую бутылку, взяв за горлышко, покрутил ее по полу, хлопнул донцем по паркетине, и пробка вылетела сама собой.

— Выпьем за дружбу! — сказал Васнецов.— Гип-гип, ура!

И мы хлебнули по стаканчику какой-то терпкой жидкости.

* * *

Как раз в это время ИЗОРАМ взвалил на свои плечи громоздкую и ответственную работу. Мало того что ответственную, но и особо почетную.

— Друзья,— сказал торжественно Бродский,— на нас глядит сегодня весь Ленинград. Проект наш одобрен в самых высоких инстанциях!

Честно говоря, мы уже привыкли к тому, что «площади — наши палитры», и дружно принялись за дело.

В короткий срок требовалось воздвигнуть на мощенной булыжником Дворцовой площади многоплановую панораму. Объемное изображение фигуры рабочего в центре композиции должно вознестись выше дворца, а в ширину наша «изоустановка», как писали о ней газеты, простиралась почти на сто метров. Фасад Зимнего нужно закрыть, ведь завитушки барокко не созвучны эпохе первых пятилеток.



И еще мы думали, как быть с колонной, с этим Александрийским столпом, где у ангела, как известно, лицо Александра «благословенного». Было решено заказать на «Треугольнике» воздушные шары и увешать их гроздьями статую с крестом.

Коллективное произведение ИЗОРАМа называлось «Борьба двух миров» и в многогранной форме отражало момент международной обстановки. Правая часть композиции (ближе к улице Халтурина) должна была показать труд и мирное строительство Страны Советов. В середине, окру-

жая трибуну, алые знамена, колосящиеся поля, домны, электростанции.

Слева — сатанински-жуткий силуэт империалиста в цилиндре, лезущего с пушками и танками к нашим советским границам. За спиной этой хищной фигуры весьма наглядно и подробно были показаны яркие эпизоды классовой борьбы — стычки забастовщиков с полицией, угнетенные индусы, китайцы, негры.

Гротесковые образы и маски отрицательных персонажей приходилось рисовать и мне. Похожий на Кащея папа Пий, призывающий к крестовому походу против СССР, муссолиниевские молодчики в черных рубашках...

Но для создания Конструкции (так мы окрестили наше будущее произведение) требовалось не только рисовать, сидя за удобным столом, а главным образом делать черновую работу — увеличивать эскизы, чертить, кроить, высчитывать размеры, то и дело ездить в театральные мастерские...

На все это уходила уйма времени, ведь на счету был каждый час, каждая пара рабочих рук, дорога была каждая минута светлой весенней поры. Отоспаться хорошенько не было возможности.

А как же Ася? Помню, тогда она заболела свинкой, очень обижалась, что не прихожу, ничему не хотела верить и вообще поговаривала, что молодость быстротечна, а бедность заедает и вовсе не обязательно быть «подающим надежды» художником... Слушать это было обидно и тяжело.

Наш телефон находился среди жужжащей деловой обстановки, как на командном пункте. Неприятно было вести при всех интимный разговор, стараться говорить в юмористическом тоне...

Однажды под вечер помчался я в декорационный зал на улицу Писарева. Но сначала в аптеку за камфарным маслом, оттуда на Сенной рынок за сухим компотом и медом, потом в Управление райпромстрахкасс, где

накопились деньги за несколько моих шаржей для газеты.

И вот в самом счастливом расположении духа (так быстро обернулся, получил приличную сумму, купил все, что надо, и даже ее любимые конфеты «Эстампе») я взлетел по лестнице на самую верхотуру. Соседка отворила, притворно улыбаясь. В конце знакомого коридора я стукнул в низенькую дверь и шагнул. В комнате пахло табаком, на столе груда апельсинов, шоколадный торт, початая бутылка Карданахи, с ней рядом два бокальчика, и повсюду цветы — на окне, на столе, на полу у кровати. Кажется, это были гиацинты, или нарциссы, не имеет значения.

Со стула у окна поднялся некто полноватый, светловолосый, в полувоенном кителе с карманами на груди.

— Максим Лаппо,— сказал он с обаятельной усмешкой, протягивая мне широкую ладонь.

— Ну познакомься же, это Максим, друг моего детства,— сказала Ася. Она сидела в постели, разрумянившаяся (даже забинтованное горло не мешало ее очарованию)... Еще более прелестная и... ненавистная.

Я вспомнил, что в ее блокноте, который я изучил, не было никакого Лаппо. Сердце похолодело, я швырнул в угол мои покупки и, не замечая поданной мне руки, ушел отсюда навсегда.

А может быть, и не навсегда. Это ведь «гора с горой не сходится»...

Тем временем на площади уже возводились леса, конструкция стремительно увеличивалась вширь и ввысь. Почти с рассвета неумолчно стучали молотки и топоры плотников, покрикивали маляры и монтажники, подгоняя друг друга. Из-под арки Главного штаба подъезжали ломовые подводы, доставлявшие арматуру и бочки с краской. Всем этим управлял невидимый в несусветной толчее Бродский. Изорамовцы сменяли друг друга на

постах, наблюдали за подгонкой деталей огромной панорамы, за тем, чтобы все соответствовало эскизам.

Я уже привык ходить в заляпанном синем комбинезоне и был готов выполнять любые поручения. Стройка, растущая на глазах, захватывала и заставляла забывать обо всем постороннем.

Вот кто-то заметил, что голова гигантского рабочего повернута слишком круто, и не медля, вместе с Борисом Белозеровым, цепким, как матрос Кошка, я карабкался на самый верх исправлять положение...

Выяснялось, что «римский папа» чрезмерно желт — и надо было скорее мешать в ведре охру с белилами...

В один из горячих дней я заприметил с лесов, как Радлов медленно переходит площадь. Да ведь он тут и живет по соседству. Вот он остановился, оценивая беспощадным критическим взглядом нашу работу, отставил назад руку с тростью. Через минуту я появился перед ним.

— Ну что же, поздравляю,— сказал Николай Эрнестович, нисколько не удивляясь моему виду. Он обвел взором перспективу.— Я вижу, вы достигли поистине мировых масштабов. Мой скромный адрес еще не забыли?.. Заходите, поговорим,— и, величественно кивнув, удалился.

Забыть Радлова, дорогого человека и дивного мастера... Да разве я был способен на такую низость...

И вот, наконец, наступил долгожданный день, когда мы вплотную приблизились к финишу. Стояла ясная сухая погода, ни ветерка, ни тучки. Конструкция вполне сложилась в единое, крепко слаженное целое: заработали все ее детали, ожили многочисленные рельефные группы.

К концу дня приехала в открытых черных автомобилях первомайская комиссия. Машины медленно покатили вдоль конструкции, туда и обратно. В тишине было слышно, как четко и громко дает пояснения Каратеев,

Вскоре по радостно-возбужденным лицам наших руководителей мы поняли, что дело наше получило полное признание. Оставались пустяковые доделки — позолотить пику на знамени, укрепить буквы лозунгов, что-то докрасить...

Бродский почти всех послал отдыхать.

Ближе к вечеру шум на площади затих совершенно, только изредка слышался вроде бы стук дятла — кто-то из плотницкой бригады забивал для прочности последний гвоздь.

Ожидая, когда маляр над моей головой сделает завершающий мазок, я прилег на верхней площадке за спиной колоссальной фигуры фанерного красноармейца, там лежала целая кипа мягких ватников. Впервые за это время на меня накатила жуткая усталость. Это было удивительно: я хотя и не отличался мощными бицепсами и ростом, но считал себя человеком спортивным, закаленным и даже хвастал своей выносливостью.

Мой друг Новиков называл меня в ту пору не иначе, как «голодающий индус», особенно летом, когда я приходил к нему на чашку чая, довольно поджарый, дочерна смуглый в своей белой футболке.

Конечно, я не был исключением среди племени вечно голодных студентов. Да и где вы видели сытого, отъевшегося на пышных хлебах студента? Да, в самом деле, мы не были избалованы обильными яствами — кефир, брынза, пшенная каша, соевая колбаса... Бифштекс по-гамбургски (с яйцом) разрешался только в день выдачи стипендии. И никто не стонал, не падал духом...

Итак, проклятая усталость меня подкосила, я спал.

Нет, конечно, я бодрствовал, но как-то сквозь дремоту все еще разглядывал с высоты нашу конструкцию. И мерещилось, что я медленно, как рыба, плыву над ней, отыскивая придирчиво, нет ли каких-либо изъянов. Поплыл я и дальше над зернистым булыжником площади, вот уже вырулил к Исаакию, повернул к игрушечному

памятничку Николаю, сделал круг над ним и — вперед, вдоль проспекта, прямо к высокому угловому дому, где во дворе светилось оконце верхнего этажа.

Ася спала под пикейным одеялом, выронив на пол недочитанный роман. Я просунул в форточку руку и повернул выключатель.

Так и не пришла она ни разу на площадь, не поинтересовалась, что там творится моими руками.

Ну что ж... «Раз королю неинтересна пьеса, нет для него в ней, значит, интереса...» Не так ли сказано у Шекспира?..

Тут я вздрогнул и стряхнул непрошеный сон, как вцепившуюся собачонку. Сверху на помост закапала краска, старик маляр спускался по лесенке.

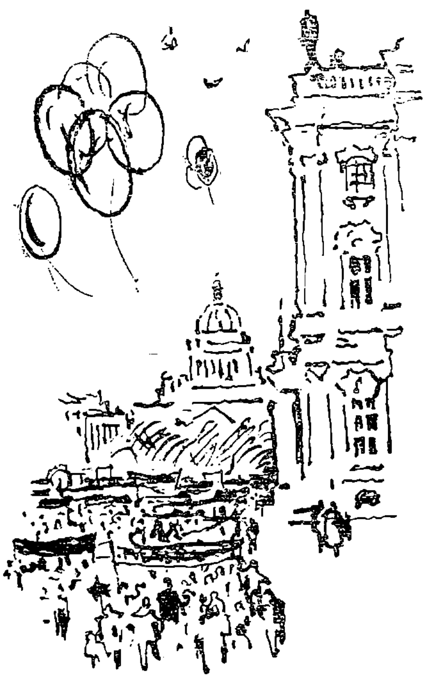
— Спи, спи, художник,— сказал он и, сняв ватник, укрыл мою спину.

Я стал думать о том, что в общем-то все беспокойства позади, что с любовью покончено и пора позабыть ее, что хорошо бы уехать летом на Кавказ, скажем в Пятигорск... И мне стал сниться Казбек, удивительно похожий на угрюмый хибинский Айкуайвентчорр...

Очнулся я на площадке под прорвавший тишину оглушительный гром духовой музыки, буханье больших барабанов, восторженное лязганье медных тарелок. В воздухе многократно отдавались трубные звуки, хохот, певучие женские голоса... Вверху в небе тоже что-то гулко хлопало: бум-бум! Это разноцветные пузыри, изготовленные на «Красном треугольнике», мотались по ветру, постукивая в бронзовый лоб ангела.

Вся площадь была похожа на гигантский движущийся цветник. Никому еще не приходилось видеть этого зрелища с птичьего полета. В окружении знамен и плакатов, в гуще многотысячной толпы двигались макеты турбин и пароходов, огромнейшие ботинки «Скороход» и калачи размером с двухэтажный дом, шагали ряженые на высоких ходулях...

Я вчитывался в надписи на транспарантах: завод «Вулкан», институт Лесгафта, «Красная заря», «Электросила»... А вот взлетело вишневое бархатное полотнище — «Технологический институт».



И припомнилось: «Сегодня на нас смотрит весь Ленинград!»

Невозможно было оторваться, уйти от этой бесконечной живой картины, хотя здесь, на высоте, ветер просвистывал мою одежонку. А я все стоял, глядел и терпеливо ждал, когда же на площади появится моя типография...

Нет, так и не довелось мне увидеть, как на площадь выехал открытый грузовик, на котором стоял Самсонов-Онегин в пламенеющей косоворотке. С каким пафосом обличал он прогульщика, пьяницу и бюрократа! Их, конечно, здорово могли сыграть артисты нашей «Живой газеты».

Я так и не повидал молодо шагающего моего наставника, седоусого Алексея Павловича, хохотушку Валю с ее подругами, широко улыбающегося старину Гуревича в очках-телескопах, Мстиславского, наконец моего Панфила Босого, сменившего кожанку на элегантный макинтош...

Не удалось повидать еще раз всех, кого я знал, кого любил и бережно сохранил в памяти на всю свою жизнь.

И вот я думаю: какое счастье, черт возьми, быть художником, пускай даже совсем небольшим...

Ведь когда я говорю, обращаясь к другу: «Вы хотите знать, каков был в жизни, скажем, старик Хрисанф или, допустим, Яков Алексеевич Конкин?» — то не трачу лишних слов, а беру хорошо отточенный карандаш и немедленно принимаюсь рисовать.

Что я и постарался сделать для вас в этой моей книге.

Вот уже пятьдесят лет отделяют меня от того радостного утра на Дворцовой площади. Вряд ли я загадывал тогда, что станется со мной впереди. Буквально все увлекало, манило, хотелось все уметь, и была убежденность: за что ни возьмись — все доступно.

Превосходно сказано: жизнь — это дорога, а над ней звезда.

Хорошо это чувствуешь в юности, когда жадно раздуваются ноздри, расширяется грудная клетка, а волосы трещат от обилия электричества, и веришь в свою счастливую звезду...

Действительно, пришлось заниматься почти что всем на свете, зарабатывать на хлеб насущный. Приходилось писать вывески на гремучем железе — «MODES ET ROBES», лепить из папье-маше бутафорию в «Молодом театре», писать «шикарные» фоны для фотографа на рынке, расписывать рельефной краской модные платья...

Летом 1937 года мы жили на Минеральных Водах — четверо друзей и одна девушка — и прожились там до копейки. Выручил великий человек — Валерий Павлович Чкалов. Он только что совершил изумительный перелет из Москвы в Америку. В течение двух суток я написал на огромных полотнищах портреты героев — Чкалова, Белякова и Байдукова. Заказ управления курзала был выполнен, и в Ленинград мы возвратились, запивая в вагоне-ресторане (отнюдь не нарзаном!) горячий жир котлет...

В дальнейшей жизни, особенно в годы Великой Отечественной войны, я убедился, что труд художника-ка-

рикатуриста — дело необходимое. Помню, как просиживал я, рядовой солдат блокады, студеные ночи над карикатурами, стараясь вложить в них горечь оскорбленной души. Мои рисунки появлялись и в армейской и во фронтовой печати; готовил я и антигитлеровские листовки для немецких вояк...

А еще вспоминаю, как мучительно бился когда-то над своей первой книжкой: рвал и сжигал варианты, стонал и плакал от сознания бездарности. И все же радостно было взять в руки верстку книги со слепо оттиснутыми отпечатками клише моих рисунков.

С той поры все чаще стал я окунаться в бесконечно мчащийся поток издательской работы. Не расставаясь со своим призванием — книжной иллюстрацией, четыре десятка лет провел я за широким столом художника-редактора. Эта работа — увлекательней самой интересной игры, и оторваться от нее нет никакой возможности. Каждый день несет что-то новое, всякий день видишь новых людей — художников, поэтов, типографщиков. И сам осуществляешь эту круговую связь...

Задолго до того как я сел писать свою книгу, странички моих блокнотов были усеяны заметками о прекраснейших людях, о тех, кто сделал жизнь мою действительно счастливой. Нет, бог не обделил меня друзьями, и почти никогда я не знал мук одиночества.

Нет возможности перечислить людей с поистине золотыми сердцами, каких встречал я за свою жизнь. Часто я записывал меткую фразу, мимолетное словцо, как щелкает на ходу, пытаясь остановить мгновение жизни, человек с фотоаппаратом.

Многие записи сложились в небольшие рассказы и были напечатаны в журналах. Некоторые из них я предлагаю вниманию читателя в несколько сокращенном виде.

Без этих портретов друзей и спутников моей жизни книжку свою я счел бы незавершенной.

ЛЕБЕДЕВ ИЗДАЛИ И ВБЛИЗИ

О великолепном художнике Владимире Васильевиче Лебедеве чаще всего говорят и пишут, как о создателе облика советской детской книги, выдающемся иллюстраторе.

Реже — как о блистательном живописце, мастере портрета. И пока совсем ничего — как о человеке. Мое знакомство с искусством Лебедева началось еще в раннем детстве. Запомнился хмурый ветреный день, немногочисленные прохожие на Невском, хлопающие красные флаги на домах...

Болтая о пустяках, мы с дядюшкой свернули за угол на Адмиралтейский проспект в сторону Исаакия... И тут, возле громадного окна, похожего на отвесную льдину, остановились.

Остановились и замерли.

За хорошо промытым стеклом на просторном щите красовался большой лист плаката такой ослепительной яркости, что просто глаза разбегались. Фигуры красноармейцев, матросов, рабочих в широких блузах и толстопузых буржуев воспринимались моментально, хотя и были составлены из простейших геометрических фигур: треугольников, квадратов и круглых плоскостей. Рисунки сопровождались короткими рублеными строчками стихов. Мне это диковинное «Окно РОСТА» врезалось в память, как окно в новый, неведомый мир.

Краски сами излучали сияющий свет: веселая красная киноварь, синий морской ультрамарин, золотисто-солнечная охра... Казалось, все нарисованное живет, двигается.

Меня соблазнила доступная игра, где из готовых фигур можно составить какую хочешь картинку. Этим я и занялся, придя домой: намалевал прямо на стене буржуя в цилиндре, пригвожденного красноармейским штыком.

— Да, время было горячее, но и мы работали неплохо...— так резюмировал мой рассказ об этом эпизоде много лет спустя сам Владимир Васильевич.— Мы — это Козлинский, Бродаты и я... Ну и, конечно, мой великий тезка.

Так называл он Маяковского, добрые отношения с которым завязались еще в сатириконские времена.

И думается, новаторский стиль лебедевских плакатов не мог не воздействовать на талант Маяковского, с которым они делали общее дело. Так явственно заметно в их творчестве той поры взаимопроникновение родственных стихий...

По прошествии многих лет, вырезая из журналов понравившиеся мне работы Владимира Васильевича, я хранил их в отдельной папке. Это были особенные рисунки: хотелось их рассматривать подолгу.

Рисунок Лебедева карикатурой не назовешь. Его сарказм совсем иной породы. Всматриваясь, вы все больше проникались язвительной и мудрой иронией художника-исследователя.

Подобно энтомологу, В. В. Лебедев с обстоятельной деловитостью накалывает на острие своей сатиры этих вредных насекомых — бюрократов, дремучих мещан, хулиганов, нэпманов. Он дает их крупным планом, поворачивает к зрителю разными сторонами, заставляя понять всю сущность уродливого явления жизни.

И сегодня мы можем рассматривать его диковинные экспонаты, удивляясь разнообразию видов и подвидов: спекулянты, скороспелые миллионеры, основатели липовых фирм... Вот их поганая спесь, раздутая самоуверенность, чванство. Вот он — их духовный мирок, где рес-

торанный джаз-банд и пошлая оперетка — Пантеон Искусств. А вот их алчные, закутанные в шелка любовницы и жены...

Шли годы, и вот, будучи студентом, я получил в подарок книжечку с портретом Лебедева на обложке. Автором карандашного портрета был Николай Андреевич Тырса.

Этот портрет помог мне узнать в лицо Владимира Васильевича.

Его можно было встретить то на солнечной стороне Невского, то в Доме книги, или на Литейном, в известном букинистическом магазине. Там случалось мне покупать не очень старые еще номера журналов «The Studio» или «Gebrauchs Grafik».

Однажды, заскочив в этот магазин, где по-музейному блестел паркет, а в простенках висели красиво окантованные гравюры, я начал рыться в журнальном ворохе и, случайно глянув в сторону, приметил совсем вблизи ладную фигуру В. В. Лебедева.

В это время ему заворачивали в хрустящую бумагу объемистый волюм в цветной суперобложке.

А Владимир Васильевич, беседуя с продавцом, попыхивал прямой короткой трубочкой, и скомканная синяя пачка «Доббельмана» лежала перед ним на стекле прилавка.

Не стараясь прислушиваться к разговору, я тем не менее поймал кудрявое словечко, вылетевшее у него вместе с облачком трубочного дыма: «Полайюоло...»

И сразу захотелось удержать в памяти, отыскать в книгах имя этого старинного художника. Если Лебедев о нем говорит, стало быть, это очень значительно, важно... Впрочем, произнесено могло быть совсем иное причудливое имя. Например, Дюнойе де Сегонзак, ведь с той поры прошло столько лет. Да и в имени ли дело?

Позднее, узнав Владимира Васильевича ближе, я не переставал удивляться его всеобъемлющему знанию ис-

тории искусства, его способности с легкостью передвигаться в разные эпохи, когда он с увлечением говорил о художниках Ренессанса, о барбизонцах или о наших Рокотове, Левицком.

И так почему-то явственно запомнилось мне это мимолетное мгновение жизни, что я, кажется, и сейчас вижу отчетливо и себя, присевшего у прилавка, и его — Лебедева... И так в нем полно все изящества, все гармонично: и «альпийская» лыжная шапка с широким козырьком, и ботинки «бульдоги» из грубой кожи с квадратными носами.

В одежде Владимира Васильевича ничего «артистического», бросавшегося в глаза не было, одевался он без какого-либо шика. Но вещи — куртка спортивного покроя, цветные его рубашки, брюки — все сидело элегантно на его атлетической фигуре.

Ходил он широко, быстро: отправлялся куда-нибудь на Острова и возвращался пешком, выделяясь в толпе своей ритмической походкой.

Мое знакомство с В. В. Лебедевым произошло в 1934 году. Был на Васильевском острове интересный дом — квартира на самой верхотуре многоэтажного здания. Громадная светлая мастерская, где четвертая стена состояла из сплошного окна, крутая лесенка с перильцами вела на антресоли, образуя нечто вроде капитанского мостика.

Хозяин этого дома был в самом деле похож на бывалого моряка: загорелое энергичное лицо, густые брови. Иногда он еще отращивал круглую «моряцкую» бороду, так, для интереса.

Таким был в те годы очень добрый силач Григорий Романович Шевяков, мой друг и наставник, которого звал я просто Гришей. Шевяков тогда уже был известный художник-иллюстратор, акварелист, автор чудесных литографий. Он был одним из воспитанников Лебедева.

В этом хлебосольном доме я познакомился и сблизился с замечательными людьми искусства — Е. И. Чарушиным, Э. А. Будогоским, Виталием Бианки, Т. В. Шишмаревой, Н. Ф. Лапшиным, В. И. Курдовым, С. М. Мочаловым. Тут еще по соседству, на 5-й линии, жил мало еще кому известный волшебник-сказочник Юрий Васнецов.

Хозяйка дома Ирина Борисовна была весьма оригинальной, остроумной художницей, милым человеком.

Мастерская Шевяковых с утра становилась студией. Тут художники в гулкой тишине занимались делом. Мы рисовали натурщиков и натурщиц, это были хорошо сложенные студенты-лесгафтовцы — гребцы, футболисты.

Натурные сеансы сделались обязательной частью повседневного режима. В этом доме вообще умели напряженно работать. Если необходимо, даже ночами... Но, закончив работу, умели и веселиться от всей полноты души.

Сюда слеталась дружная компания — художники, артисты, Гришины друзья-водолазы и просто хорошие люди.

Рассаживались на диванах, на антресолях, где были широкие матрацы, и начинались импровизированные спектакли с переодеваниями, танцами, устраивались шарады в лицах, отплясывали излюбленную «васнецовскую» румбу...

И вот настал день, когда я увидел Владимира Васильевича Лебедева. Он любил сильных людей, сам был крепок, как арабский мяч, естественно, что медвежья сила Шевякова вызывала у него восхищение.

Помню, как, едва переступив порог, Лебедев уже в передней схватился бороться с Гришей. Полетели в стороны зонтики, сапожные щетки... Схватка была недолгой. Хитрым приемом Владимир Васильевич уложил своего воспитанника на лопатки. Общий хохот, дружные аплодисменты...

Во время поединка я сидел на бетонном полу мастерской, чувствуя себя неловко. Передо мной простирались полотнища рулонной бумаги, на которых я писал шуточные изречения к встрече Нового года, да еще сочиненное мною пародийное меню, в котором склонялись и перерабатывались имена и фамилии в своеобразные блюда. Например, была среди прочих закусок икра мезернистая: ведь среди гостей ожидался художник Ю. Мезерницкий со своей сладкозвучной гитарой.

Мне, казалось, не следовало радоваться приходу В. В. Лебедева. Ведь меня он застал за таким несерьезным и глупым делом: какие-то намалеванные рожи, примитивные шутки...

Но оказалось, что, читая вслух стихи и каламбуры, Владимир Васильевич щурит глаза, смеется весело в нос, не разжимая губ...

Кто не знал близко Лебедева, вряд ли мог предположить, что строгая, гордая, даже неприступная его внешность скрывает прекрасно развитое чувство юмора, склонность к искрометной шутке, к розыгрышу.

Сатириконец Борис Владимирович Жиркович рассказывал мне, как однажды «Ave» (Арк. Аверченко) и «Ve-ve» (Лебедев), познакомившись на ипподроме с московским кутилой и лошадником, стали играть перед ним знатного иностранца — им был Владимир Васильевич — и болтливого переводчика — его изображал Аверченко.

«Переводчик» что-то врал, ругал по-русски невозмутимого «иностранца»... Уморительная импровизация была разыграна с таким блеском, что присутствовавший при этом Жиркович захлебывался от хохота, а «переводчик» и «чужестранец» все больше входили во вкус, пока Аверченко не сказал со скучной гримасой:

— А ну его... Поехали ужинать, надоело бесплатно бисер метать...

Так вот, о чувстве юмора: давайте вспомним, сколько создано Лебедевым очаровательно смешного, напол-

ненного детским весельем. Хотя бы к стихам одного только Маршака.

Лохматый озорник Петрушка (одновременно и непослушный мальчишка и кукла); Рассеянный с улицы Бассейной — двойник американского киноклоуна Бена Тюрпина...

А сколько безудержного юмора в его «Слоненке» или в сцене чаепития «Вчера и сегодня».

Есть этот светлый лебедевский юмор и в ряде живописных портретов, хотя бы в изображениях девочек с букетами, физкультурниц в кавычках.

Как высоко ценил Лебедев эпиграммы и шутки Маршака, как любил он повторять, например, вот это: — «Чего, чего, Чевычелов, чего в «Чиже» ты вычитал...» Шутка посвящалась бурной деятельности тогдашнего директора Детгиза. Или, как задорно читал он из Роберта Бернса:

— «При всем при том, при всем при том, награды, лесть и прочее не заменяют ум и честь, и все такое прочее...»

Этот лукавый, поддразнивающий рефрен очень пришелся по вкусу Владимиру Васильевичу, он повторял его, как детскую считалку.

Содружество Лебедева с Маршаком, фантастически остроумным, было неразрывным. Он называл его «Маршачок». Это звучало ласково, а услышать от Лебедева ласковую интонацию означало очень многое. Не такой он был человек, чтобы расточать нежности.

Впрочем, я несколько отвлекся от своего повествования.

В тот памятный для меня день в застольной беседе у Шевяковых выяснилось, что среди присутствующих один я могу рассуждать о современном боксе, как о хорошо знакомом предмете.

Все лето я жил на стадионе «Динамо», перезнакомился и завел дружбу с мастерами бокса, а там были такие

звезды, как Василий Серов, Виктор Шелягин, Гурий Гаврилов...

Владимир Васильевич сам боксировал, упражнялся с гантелями, и стал одним из членов судейской коллегии по боксу.

Как я был счастлив, что хоть в чем-то установил контакт с этим необыкновенным человеком. Рисунки мои уже давно печатались в журналах «Резец», «Юный пролетарий», но как посмел бы я лезть к Лебедеву, показывать ему недозрелые картинки? Это было боязно, достаточно представить себе взгляд его холодновато-стальных глаз...

Случилось так, что весной 1938 года мне была предложена работа в «Чиже». Генрих Левин покидал свой пост и выдвинул мою кандидатуру. И вот я стал художником-редактором известного детского журнала. Я вполне сознавал огромное значение двух самых главных художников, самых важных авторитетов издательской жизни Детгиза — Н. А. Тырсы и В. В. Лебедева. И если Николая Андреевича я знал совсем мало, то к Владимиру Васильевичу стремился попасть при каждом удобном случае. Ссылался, например, на невозможность прислать курьера и мчался к нему сам на улицу Белинского, летел, не переводя дыхания, без всякого лифта на шестой этаж.

Так интересно было оказаться в его мастерской — просторной, полной прохладного воздуха. В углах стояли рейки, доски, подрамники, ведра, столярные инструменты, а окна выходили в чистое небо.

Мольберт был неказист и невелик, а маленький, еще незаконченный портрет девушки светился, словно бриллиант, в этой аскетической обстановке.

Над рабочим столом — он был широк, как верстак мастерового,— висели боксерские перчатки Владимира Васильевича, словно два опустевших маленьких бурдюка. Тут же со стены смотрела литография прошлого века с изображением знаменитого негра-боксера.

Можно было постоять у мольберта, полистать редкостные издания в прекрасно подобранной библиотеке, разрешалось просматривать и подержать в руках рисунки из старой коричневой папки...

Бывало и так, что Владимир Васильевич при мне раскрашивал принесенный мной литографский оттиск. Я смотрел на его сильные руки в закатанных по локти рукавах, как на руки Зевса, который может создать все, что только пожелает. Умелые его пальцы действительно были способны на любую трудную работу, он сам сколачивал подрамники, натягивал холсты, строгал, чинил и склеивал мебель, и этими же руками создавал, будто из воздуха, свои рисунки, где вы не найдете ничего приблизительного, ни одной неверной нотки.

Иногда у меня звонил телефон:

— Хотите, поедем вечером на «Динамо», не пожалеете...

Разумеется, ради встречи с ним я отменил бы любое свидание.

Шагаем втроем по центральной аллее стадиона: Владимир Васильевич, Ирина Кичанова, большая любительница спорта, и я, идем, предвкушая хороший бокс.

Из горла репродуктора рвется все та же модная румба...

Лебедев то и дело кивает, раскланивается, пожимает руки. Здесь он среди своих и знает всех и каждого.

— Вон этот высокий, сердитый, львиное лицо,— это Шевалдышев, лучший тренер... А вон тот, видите, сонный детина. Это своего рода знаменитость — Бабин. Единственный боксер-любитель, кому удалось отправить в нокаут Макса Шмеллинга, любимца Гитлера, а случилось это в Берлине, средь бела дня на спарринг-тренировке...— И дальше Владимир Васильевич рассказывает так увлекательно, словно сам побывал на месте происшествия. И мы становимся как бы очевидцами того момента, когда чернобровый Шмеллинг пошел косолапо

на Бабина, молотя воздух перчатками. Однако русский боксер поднырнул и резко ударил одновременно левой в подбородок, а правой — в солнечное сплетение. Этот прием у него был хорошо отработан.

Будущий чемпион мира грохнулся на доски ринга, а Бабин в тот же вечер был выслан за пределы фашистской Германии.

Лебедев отлично знал бокс, его историю, иногда цитировал правила маркиза Куинсберри в смешном древнем переводе. Во множестве портретов и рисунков Владимира Васильевича мы видим мастеров советского спорта — борцов, боксеров, баскетболистов. Среди них он сразу выделил мужественного и умного боксера Ивана Князева, с которым дружил, не расставаясь до конца дней своих.

В портретной галерее современников, которую оставил нам этот большой мастер, вы не найдете «немых» портретов, созданных без участия его души; в его полотнах светится сила ума, художник всегда нелицеприятно выражает свое отношение к оригиналу. И если в мужском портрете он чаще всего любуется выражением силы, полнотой физического и нравственного здоровья, то посмотрите, какая сложнейшая гамма чувств пронизывает изображения женщин, девушек, детей. Как много здесь оттенков: обаяния женственности, наивного кокетства или ребячьего простодушия. Хотя нетрудно заметить, что художник, преклоняясь перед живописными достоинствами натуры, не всегда может утаить ироническую и порой язвительную улыбку.

И все-таки основная черта творческой деятельности В. В. Лебедева, особенно его портретной живописи,— страстное жизнелюбие, прославление жизни, еще вернее — восторг жизни.

Вот, пожалуй, главное, что роднит его с солнечным Ренуаром, а вовсе не стремление подражать великому французу, как пытался кто-то из критиков «объяснить»

искусство Лебедева. Оценивая достоинства его живописи, следует говорить о благородном вкусе, гармонии цвета, большом чувстве красоты...

Владимир Васильевич любил захватывающие зрелища, старался не пропускать футбольные матчи, ходил на каток, бывал в Таврическом саду, на французской борьбе и на эстрадных представлениях...

В цирк я попал с ним случайно. Поднимался к нему, нес свежий номер «Чижа», вдруг наверху хлопнула дверь.

— А я — в цирк. Давайте пойдем вместе?

Увлечение цирком — совершенно детское, азартное — не проходило у него с годами. Трудно сказать, кто ему больше нравился — силовые акробаты, канатоходцы, укротители?.. А может быть, конюшня П. А. Манжелли, где Владимир Васильевич знал поименно каждую лошадку?

Наконец, мы устраиваемся в ложе напротив оркестра. Меня тогда удивило, что он не захватил ни альбома, ни блокнота для набросков.

— А зачем? — говорит он с улыбкой.— У меня все что надо остается в памяти. Я ведь не просто созерцаю, я наблюдаю... Вот приду домой и постараюсь изобразить, что захочу.

Это была истинная правда. Все близкие друзья Лебедева хорошо знают, какой исключительной была его память.

Мне приходилось слышать примерно такой его разговор с художником в редакции.

— Вы ошиблись, у арабского коня спина прямая. Вот, смотрите,— говорил он, рисуя карандашиком силуэт коня.— А вы спинку сделали с прогибом, как у орловского рысака...— И на листе появляется арабский скакун с веерообразным хвостом.— Вот он, араб чистых кровей. Пользуйтесь случаем, берите!

С точностью мог Владимир Васильевич объяснить, чем отличался мундир околоточного от формы городово-

го, он показал бы вам с карандашом в руке, что у краба не восемь ног, а десять, или как выглядит странный прибор гальванометр.

Уж на что был опытный мореход Гриша Шевяков, но какой восторг вызвали у него замечания Лебедева по поводу его, шевяковских, иллюстраций к «Морскому волку» Джека Лондона.

— Чего же ты ликуешь, ведь столько предстоит исправлений...

— Да, повозиться придется, но поймите вы, это же Лебедев!..

Последняя моя встреча с Владимиром Васильевичем связана с журналом «Нева». Требовалось отобрать несколько работ для цветной вклейки. Особенно поразил меня портрет матери артистки А. Никритиной. В глазах старушки была вся ее жизнь... Да и другие портреты отличались разнообразием и проникновенностью.

Помню, в тот вечер я просил его подарить давно уж полюбившийся мне рисунок лежащей натурщицы из той объемистой папки.

— Да нет, он плох, я подберу для вас что-нибудь получше.

Я пробовал настаивать, напомнил, что в прошлый раз он говорил то же самое. И вдруг он снова блеснул своей феноменальной памятью:

— У вас ведь есть моя лошадка!

И верно, с давних лет хранится у меня его прелестная лошадка, упитанная, холеная, похожая на капризную девчонку...

Наступил вечер, я стал собираться домой. Не помню почему, мы вышли прямо в окно мастерской — на крышу.

Сплошной туман висел в воздухе недвижным плотным занавесом. Свет из мастерской выхватывал только маленький участок под ногами. Мы оказались словно бы

на островке. Снизу доносилось позвякивание трамваев, и слева над крышами вспыхивало и гасло то зеленое, то красно-лиловое свечение — это были огни цирка.

— Эффектно, правда? — сказал Владимир Васильевич.

Я отвечал, что тут в любое время чудесно и необыкновенно.

— Вам нравится? Вот и приходите почаще...

Мог ли я тогда подумать, что больше не увижу его живым...

ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ ХАРМС

Даниил Хармс. Каким обаянием звучит это странное имя, какой притягивающий интерес вызывает оно и в наши дни!

— Как, вы знали Хармса?

От кого только я не слышал этого вопроса!

Прошло более трех десятилетий, как оборвалась недолгая жизнь Даниила Ивановича, а мы не перестаем восхищаться прелестью его таланта. Каков же был в повседневной жизни этот фантастический шутник, оригинал из оригиналов? Об этом известно, к сожалению, очень мало.

Мои заметки о Хармсе накапливались в записных книжках долгие годы. Придется начать с того времени, когда наше студенческое общежитие помещалось в церквушке на углу улицы Маяковского. Церкви этой нет и в помине, как нет и многих обитателей окрестных улиц.

А были среди них странные люди — не рабочие и не служащие, так, «вольные стрелки», не связанные с явкой на работу.

Ежедневно мимо окон церквушки проплывал великан с рыжей гривой и бородищей. На груди у него болтался кусок картона с надписью «Смерть клопам!», а на помочах он нес лоток со множеством ящичков, заполненных порошками от вредных насекомых.

Жила по соседству тучная старуха, наряжавшаяся в кружевные накидки. Она разгуливала по солнечной стороне, заговаривала с прохожими по-французски, не обращая внимания на брань ломовых извозчиков. Рас-

сказывали, что это бывшая княгиня Барятинская, прятавшая в своей квартире народовольцев.

Встречался здесь художник Эйсснер, одетый по тем временам (шел 1931 год) с театральной роскошью: пальто-реглан, отделанное бархатом, перчатки с мушкетерскими раструбами и миниатюрные сверкающие галоши...

Пристальное любопытство вызывал загадочный человек, вид которого просто мучил воображение. Все было в нем интересно — и красивое строгое лицо, и кривая массивная трубка, и даже соломенное канотье с широкой черной лентой,— на другом человеке эта шляпа выглядела бы просто смешно.

А как ладно сидел на нем необычный костюм, предназначенный для дальних странствий: серая куртка с большими карманами, двубортный жилет и короткие брюки, заправленные в клетчатые чулки. Туфли у него были на толстенной подошве, но не шикарные, на белом, как свиное сало, каучуке, а просто рассчитанные на любые каверзы погоды. Я заметил у него еще карманные часы величиной с блюдечко для варенья — они держались на цепочке, увешанной брелоками. Нарядный галстук выглядывал из-под стоячего воротничка «Альберт» и был заколот булавкой в виде скарабея.

Он был одним из тех, кого называют первопроходцами. Сам Луначарский сказал, что Хармс является первооткрывателем веселой детской книги. Но тогда я этого не знал.

Иногда он шагал навстречу, ведя на поводке собачку, похожую на заводную игрушку... И однажды я наконец отважился:

— Простите, как зовут вашу собачку?

— Пожалуйста.— Он приподнял потертую соломенную шляпу.— Ее зовут Чти-память-дня-сражения-при-Фермопилах...— И поглядел на меня юмористически-сочувственно.

— А как же...

— А так, очень просто. Когда мы куда-нибудь торопимся, я зову ее сокращенно: «Чти» или даже фамильярно: «Шти!».

При этих словах собака осклабилась и посмотрела на меня с веселым любопытством.

Вот тут-то меня и осенило — да ведь это же Хармс, тот странный поэт в черном плаще и цилиндре, его бархатный голос, так восхитивший меня когда-то в Доме печати...

Я не мог и подумать, что шапочное наше знакомство перейдет в близкие, даже дружеские отношения. Однако это произошло как-то само собой, когда я стал работать в редакции детского журнала. К тому времени я уже знал наизусть его «Миллион».

Шел по улице отряд —
сорок мальчиков подряд:
раз,
два,
три,
четыре,
и четыре
на четыре,
и четырежды четыре,
и еще потом четыре...

Не менее ценным открытием был для меня «Иван Иваныч Самовар». Впервые я услышал его в чтении самого автора. Много раз я перечитывал и сегодня перечитываю с наслаждением эту прелестную вещь.

...На столе Иван Иваныч!
Золотой Иван Иваныч!
Кипяточку не дает,
опоздавшим не дает,
лежебокам не дает!..

Концовки стихов Хармса, сработанные на диво, всегда оригинальны, они поражают поистине искрометным юмором.

Однажды в вагоне дачного поезда Маршак рассказывал мне, как писали они с Даниилом Ивановичем «Веселых чижей». Стихотворение было создано на мотив аллегретто из Седьмой симфонии Бетховена. Этот напев Хармс любил повторять — вот и появились первые строчки: «Жили в квартире сорок четыре, сорок четыре веселых чижа...» Дальше рассказывалось, как чижи занимались хозяйством, музицировали и так далее.

Много написано было куплетов комического содержания, в конце концов соавторы стали укладывать пернатых друзей спать и разместили кого куда: «Чиж на кровати, чиж на диване, чиж на карнизе, чиж на скамье...»

Вот и всё: чижи мирно спят, наконец можно разогнуть усталые спины. За окном глубокая ночь, под столом черновики, папиросные коробки...

Но тут Хармс, уже выйдя в переднюю спящей квартиры Маршака, вдруг тихонечко пропел, воздев палец над головой:

— Лежа в постели, дружно свистели сорок четыре веселых чижа!

Что мог возразить Маршак?! Конечно, такой поворот представился ему замечательным, не могли же неугомонные чижи уснуть, не насвистевшись вдоволь... Пришлось воротиться к столу — дописывать концовку...

Вот строки из письма сдержанного в оценках художника Радлова: «...У нас дома то и дело повторяют: „А кошка отчасти идет по дороге..." Это необыкновенно мило, забыть невозможно...»

Н. Э. Радлов присылал из Москвы веселые рассказы в картинках, а Хармс сочинял к ним стихотворные подписи: требовалось дать читателю-дошкольнику текст, поясняющий содержание рисунка.

И снова Даниил Иванович изумил нас остроумной находкой. Вот этот маленький экспромт, всего по две строчки под каждую картинку:

Несчастная кошка порезала лапу,
Сидит и ни шагу не может ступить,
Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу,
Воздушные шарики надо купить.
И сразу столпился народ на дороге,
Шумит и кричит, и на кошку глядит...

На последнем рисунке кошка перебирает передними лапками по мостовой, в то время как задняя кошкина половина болтается в воздухе, подвешенная к воздушным шарикам.

...А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит.

Случалось мне наблюдать, как иногда в редакционной обстановке Хармсу приходилось придумывать подписи к картинкам. Даниил Иванович глубоко задумывался, вытягивал указательный палец правой руки, касался им переносицы и, медленно ведя палец вдоль носа, тянул какой-то еле слышный звук — вздох, похожий на стон, было заметно, как он впадает в оцепенение... Минута — и вот он уже расслабляется, быстро что-то записывает в книжечку и наконец возвращается к действительности — с улыбкой человека, ловко преодолевшего препятствие. Замечу кстати, что слово «ловко» было одним из выражений его одобрения чего-либо — метко нарисованного шаржа или смешного экспромта...

Что же касается искусства экспромта, то мне казалось, что стихотворные шутки рождались у Хармса, стоило ему лишь приложить кончик пера к чистому листу бумаги.

«Дорогой владыка денег...— писал он, быстро испещряя буковками листок на подоконнике в коридоре Детгиза,— надо в баньку мне сходить...»

Я в эту минуту стоял за его плечом, следил, с какой быстротой он пишет, и недоумевал: «Что за „владыка"? Какая там еще банька?..»

А он продолжал так же быстро водить пером:

А без денег даже веник,
Даже веник не купить!

Надо было иметь каменное сердце, чтобы отказать поэту, получив от него записочку с таким трогательным экспромтом, да еще за одну минуту до закрытия манящего окошечка в конце коридора, где помещался кассир — старичок с бородкой по прозвищу Риголетто.

— Вот она, сила поэзии! — сказал видавший виды старик, отсчитывая Даниилу Ивановичу деньги.

— Да, действительно, ловко получилось,— отвечал Хармс, все еще не до конца веря своей удаче...

Я вспоминаю утро в редакции, когда Маршак с помощью Эстер Паперной и Даниила Ивановича взялся переводить, что называется, «с ходу», матросскую песню. Он стал записывать ее с голоса нашего гостя, англичанина Ленни Уинкотта. Сперва пели и наши и английские песни, пока Ленни вдруг не затянул никому не известную «Русалку». Маршак загорелся, схватил перо, записал первую строчку по-английски, задумался.

— На рассвете мы вышли, подняв паруса... Подняв паруса...— Он умолк, постукивая пальцами по столу.— Та-та-та... От родной страны вдалеке...

— А может, лучше: оставляя маяк вдалеке...— предложил Хармс.

— Отлично! Оставляя маяк вдалеке... Вдруг мы видим — вдали русалка-краса...

— С круглым зеркальцем...— снова подсказал Хармс.

— Да, да! Прекрасно! С круглым зеркальцем и с гребнем в руке!..

Мое описание не отличается фотографической точностью, однако я точно помню, что предложенные Хармсом «вкусные» детали — маяк вдалеке... круглое зеркальце русалки... утлые шлюпки (так и слышишь, как хлюпает волна в эти шлюпки) — все хармсовское вплелось в замечательный перевод Маршака и было принято с признательностью.

В «Чиже» все любили Хармса. Даже юный выпускающий Саша Скородумов, застенчивый, как девица, при появлении Даниила Ивановича смотрел на него, полуоткрыв рот, ожидая чего-то небывалого.

Хармс в добром расположении духа действительно творил кой-какие чудеса. Например, с профессиональной ловкостью показывал фокусы с шариками. Это были разноцветные мячики пинг-понга — он сам их окрашивал анилином и покрывал дамарным лаком. Шарики летали и множились в его пальцах. Он их глотал, вынимал из ушей... Только что был один шарик, а вот стало уже четыре, шесть... Но вдруг — хлопок в ладоши... и снова в руках оставался единственный шарик, который оказывался... крутым яйцом. Даниил Иванович «по-колумбовски», с хрустом, ставил его на стол и, чтобы окончательно доказать, что это не шарик, облупливал его, затем доставал из жилетного кармана пакетик с солью и съедал яйцо в один миг.

Или, бывало, во время деловой беседы, отвернувшись на секунду, вставлял себе в орбиты сразу, как два монокля, два искусно сделанных, жутко выпученных глаза, потешаясь испуганным видом собеседника.

Даниил Иванович сознавал, что в «Чиже» он человек нужный. Это помогало жить. И тем, кто хорошо знал Хармса, не приспособленного к сидячей служебной жизни, было странно видеть его так часто на нашем горбатом диване, обитом воловьей кожей.

И мы привыкли к его регулярным посещениям, беспокоились, если несколько дней он не давал о себе знать.

Помню, как Евгений Шварц говорил, что у каждого из нас имеются какие-нибудь причуды и один только Хармс не скрывает своих. Ни грана фальши в его поведении, ни капли пересола в шутках, которые произносил он с назидательным видом. Всегда он был учтив, сдержан — никто не видал его хмельным, болтающим глупости...

Тщательно обдуманный костюм путешественника помогал ему жить обособленно, служил ему чем-то вроде домика улитки или власяницы отшельника, впрочем, очень удобной. В таком наряде можно было отправляться куда угодно: хоть пешком вокруг света, хоть в лучший театр мира, а то и на книжные развалы толкучего рынка.

Я не могу припомнить, кто бы еще мог с такой радостью и восторженным подъемом, как Хармс, открывать прелесть жизни. Праздничным событием для него была возможность принять у себя двух-трех друзей, отправиться в путешествие на мирно дымящем пароходике в Петергоф или получить контрамарку в Капеллу...

Из глубины непосредственно-чистой натуры — его сопричастность к миру детей, его любовь к игре, к перевоплощениям, стремление сделать жизнь многообразнее, ярче.

При знакомстве с ним вам бросались в глаза детали его приметной фигуры, например, трубки: одна пенковая, французская, с нагромождением фигурок, затем трубка кривая, сильно прокуренная, с двойным серебряным пояском. И была еще одна — большая кривая трубка — туда можно было натолкать осьмушку табаку. На известном снимке Генриха Левина Хармс запечатлен с этой любимейшей трубкой.

Бывали дни, когда дверь «Чижа» запиралась на ключ и редакция отправлялась к дошколятам. Такова была

маршаковская традиция — проверка журнальных материалов в читательской аудитории. В кругу детей обсуждались обложки и рисунки, читались рассказы, стихи. Требовалось еще привезти в гости живого писателя, и часто с нами ездили Виталий Бианки, Евгений Шварц, Лидия Будогоская и уж, конечно, никогда не отказывающийся Хармс. Затолкавшись в такси, мы катили в один из детских садов, чаще всего на улицу Стачек, к детишкам рабочих Кировского завода. Тут было обширное помещение, множество зеркал, пальмы в кадушках, была даже сцена в небольшом зальце. Все шло как по расписанию. Рассевшись по кругу, дети внимательно слушали чтение рассказов и сказок... Потом я показывал ребятишкам рисунки наших художников. Приятно было чувствовать себя Гулливером, сидя на низком стульчике с разложенным на коленях альбомом, и рисовать то автобус, то бабу-ягу — все, что тебе закажут.

Читать им вслух было для Хармса одной из любимых его игр. Он давал отлично поставленный маленький спектакль, где все было импровизировано и все точно рассчитано. Тут Хармс демонстрировал, как он умел управлять массой разгулявшихся, невообразимо буйных детишек. Вот он поднимается на сцену среди страшного гомона — длинноногий, чопорный, спокойный. Не машет руками, не кричит: «Тише, дети! Перестаньте шуметь!..»

Даниил Иванович молча выходит на середину сцены, поправляет манжеты и становится еще выше ростом. Как это у него получается, непонятно. Загадочный вид, необычный костюм, трубка в зубах (хотя она сейчас и не дымит) сами по себе действуют успокаивающе. Шум затихает, все повернулись к сцене и уставились на молчащего человека. Не торопясь, он вынимает из нагрудного кармана красивую записную книжечку в сафьяновой красной обложке с золотым обрезом, быть может, у самого дедушки Крылова была еще такая кни-

жечка, и говорит негромко, не напрягая свой красивый голос:

— Сейчас, дети, я прочитаю вам стихи о том, как мой папа застрелил мне... кхм... кхм...

Фраза начиналась отчетливо, ясно, звучным голосом и вдруг... последние слова пропадали, словно уходили в воронку.

Зал начинал дико шуметь и невообразимо громко вопить.

— Кого? Кого? — кричали одни. — Кого застрелил папа?

Другие начинали стучать ногами, потому что название показалось захватывающе интересным.

Хармс опять поднимал к глазам книжечку и повторял ту же фразу с «утопающим» окончанием. Снова в зале возникал невероятно оглушительный гвалт. Только на третий раз Даниил Иванович произносил отчетливо всю фразу целиком: «...как мой папа застрелил мне хорька». И принимался в тишине читать, как всегда четко, ритмично и выразительно:

— Как-то вечером домой возвращался папа мой. Возвращался папа мой поздно вечером домой... Папа смотрит и глядит — на земле хорек сидит...

Кто-то из писателей досадовал, что Хармс позволяет в этом стихотворении убить беззащитного зверька, однако ребята-дошкольники сразу усваивали, что никакая это не охота всерьез и ружье-то не взаправдашнее, и хорек — скорее всего тряпичная игрушка.

Папа, хоть и взрослый, но явно дурачится, завидев хорька:

— Папа сразу побежал, он винтовку заряжал, очень быстро заряжал, чтоб хорек не убежал...

И правда, папа ведет себя как клоун на манеже:

— Мчится, сердится, кричит и патронами бренчит. «Подожди меня!» — кричит.

Это охотник-то умоляет дичь не убегать! А дальше

ружье стреляет само собой, папа в сторону бежит (сам перепугался), а «хорек уже лежит».

— Тут скорее папа мой потащил хорька домой. Потащил хорька домой, взяв за лапку, папа мой...

При этих словах Даниил Иванович намекал, что хорек не ароматный цветочек,— он слегка отворачивал нос от вытянутой руки, которая держала на весу воображаемого хорька. Охотничье приключение заканчивалось тем, что из хорька сделали чучело, и вот:

— Перед вами мой хорек — на странице поперек!

Здесь Хармс обводил взором слушателей и показывал зрительному залу развернутую книжечку, где «на странице поперек» был нарисован малюсенький силуэтик размером с копеечную монету...

Дети толпились, стараясь рассмотреть хорька, но книжечка закрывалась и укладывалась в нагрудный карман.

Приходило в наш дошкольный журнал немало писем от взрослых читателей. Среди них были послания Даниилу Хармсу. Многие не понимали его стихи, называли поэзию Хармса «тарабарщиной».

Помню, как посыпались возмущенные письма по поводу напечатанной в «Чиже» песенки «Веселый старичок».

Жил на свете старичок
маленького роста.
И смеялся старичок
чрезвычайно просто...

«Старичок» вызвал и другой поток корреспонденций. День за днем в письмах стали присылать яркие детские рисунки. На них кувыркались, плюхались на траву, валялись среди цветов смешные бородатые гномики. Я наклеивал эти рисунки на полотнища бумаги и вскоре опоясал ими всю редакцию. Забежавший полюбоваться Евгений Шварц, окинув взглядом веселую пестроту, сказал, что выставке нужно дать подходящее название. Со-

щурился и сказал: «Вот какое — „Перстами младенцев...”»

У Хармса во всех его детских стихах царит добродушный юмор, которому чуждо какое-либо мучительство. Однажды, восхищаясь рисунками В. В. Лебедева к сказке Маршака о глупом мышонке, он сказал:

— А жаль, что Самуил Яковлевич в конце не оставил хоть крошечную лазейку, чтобы мог спастись мышонок, — как-никак, это единственный сынок у мышки-матери...

Припомнив пожелание Хармса, Маршак создает «вторую серию» о мышонке, где малыш избегает кошачьих когтей.

Когда я вспоминаю скромное жилище Хармса, на мысль приходят замечательные строки Пастернака, где он говорит о певчих дроздах:

...Они в неубранном бору
Живут, как жить должны артисты.
Я тоже с них пример беру...

Комната Хармса имела такой же необычный вид, как и облик хозяина. Входя сюда, вы попадали в особый климат. В этой комнате все пропиталось давно устоявшейся смесью запахов, где к приторному запаху трубочного табака примешался дух столярного клея и вкусный запах кожи: может быть, от корешков книг — так пахло в старину в лавочках букинистов... Да ко всему еще, несколько освоившись, вы различали терпкий запах духов, особенно любимых хозяйкой дома.

Комната широка и просторна. Слева, поближе к окну, стояла монументальная фисгармония. К ней притулилась высокая этажерка, неизвестно как державшая на своих бамбуковых плечах тяжкий груз нотных альбомов, музыкальных сборников... На книжных полках Даниила Ивановича хранились редкие издания, были среди них и настоящие уникумы. Книгам не хватало места,

они гнездились без всякого порядка где попало: на полках вдоль стен, на подоконниках, на столе и под столом, среди хрустальных флаконов на ночном столике. Были всевозможные словари и справочники, произведения Лукиана, Овидия; книги, посвященные оккультным наукам, самоучители хиромантии и френологии, оракулы, письмовники, поваренные книги...

Рядом с домашним лечебником XVIII века стоял справочник таксидермиста, и вы начинали напряженно вспоминать: что за наука — таксидермия?.. К «Флорентийским чтениям» Леонардо примыкал Мартын Задека — толкователь снов. Раскрыв эту пухлую книжку на букве «А», вы могли узнать, что если увидите во сне арбалет, то вскоре вам придется танцевать фанданго. И Хармс, обнаружив эту старинную глупость, смеялся и даже показывал, как полуграмотный недоросль, прочитав это место в соннике, никак не может произнести замысловатое словцо: фангнагдо или даже—фадгнанго...

Пушкин стоял у Даниила Ивановича под рукой, в одном из лучших советских изданий — в белых картонных переплетах...

Стены комнаты были увешаны окантованными лубочными картинками. Но здесь красовались не те народные лубки восемнадцатого века, что украшают квартиры артистов и студии художников. Совсем наоборот — это были наивно-глуповатые олеографии конца прошлого века. Во всех этих картинках, изображавших «всерьез» библейские события, вызывала неудержимый смех невольная пародийность, масса нелепостей, натужное старание подделаться под образцы исторической живописи.

Жилье Хармса было электрифицировано с большой изобретательностью. Он гордился созданной им новинкой и, говоря с вами, обходил комнату, поминутно щелкая незаметно устроенными выключателями. И в каждом уголке — над письменным столом, в простенке меж окон, внутри стеллажей — всюду вспыхивали новые и но-

вые лампочки. А над широкой тахтой (там располагалась вечно мерзнущая шемаханская красавица Марина, жена Даниила Ивановича) можно было зажечь сразу три-четыре лампочки в разноцветных колпачках... И когда напоследок над обеденным столом наливался лимонно-желтым светом атласный абажур, похожий на монгольфьер, иллюминация была в полном блеске и вся комната феерически преображалась, становилась неправдоподобно нарядной и праздничной...

Застолье открывалось следующим образом: извинившись перед гостями, Хармс расстегивал верхние пуговицы жилета, затем пуговицы сорочки и вытягивал серебряную цепочку, на которой был подвешен аметист величиной с грецкий орех. Этот лилово мерцающий амулет погружался в чарку — тут Даниил Иванович прищуривался, быстро шевелил губами, делая вид, что бормочет слова заклинания... Затем камень извлекался, а содержимое чарки быстро выпивалось.

Аметист — по известному поверью — оберегал своего владельца от излишнего опьянения.

Постепенно небогатая пирушка оборачивалась концертом. Уже взлетали над столом музыкальные шутки, слышались обрывки знакомых мелодий, как это бывает в театре за несколько мгновений перед поднятием занавеса... Даниил Иванович присаживался к инструменту, все затихало, внутри фисгармонии слышались два-три тяжелых вздоха, и комнату заполняли прекрасные переливы органной музыки.

За столом сиживали известный музыковед Иван Иванович Соллертинский, прославленный органист Е. М. Браудо... Здесь мне удалось послушать вблизи замечательного камерного певца Анатолия Доливо, а также лучшего исполнителя Моностатоса в «Волшебной флейте» Николая Чеснокова.

Пожалуй, неверно было бы называть музыкальные вечера у Хармса концертами. Сам Даниил Иванович не

знал, что будет стоять у него на нотном пюпитре. Непременно исполнялись Бах и Моцарт — он поклонялся великим музыкантам и сумел привить любовь к ним всем своим близким. Я бесконечно благодарен Хармсу, научившему меня понимать значение Баха, не тускнеющую современность его музыки.

В этом упоительном слушании музыки и состояла прелесть музыкальных сборищ вокруг магической фисгармонии Хармса.

Хранилась у Даниила Ивановича редкостная вещь — это был предмет особой гордости: залоснившийся замшевый футляр, в котором помещалась реликвия — медальон, заключенный в золотую рамку. Сквозь густую паутину трещин на черном лаке можно было различить строгое лицо человека в седом парике.

— Вот это и есть сам Иван Севастьянович! — говорил Хармс, глядя с нежностью на уникальный портрет Иоганна Себастьяна Баха.

Любили мы распевать у Хармса шутливые песенки восемнадцатого века и среди них песни шведского поэта Бельмана. Множество этих песен знала Эстер Паперная, она обладала прекрасным сильным голосом. Она же была запевалой и автором фуг в стиле Баха, которые пели они с Хармсом бесподобно. Текст фуги-импровизации состоял из трех-четырех слов, а мелодия начиналась с известной музыкальной фразы:

— Я поклонник добрых дел,— задавал тон Даниил Иванович,— я поклонник добрых дел...

— Дел поклонник, дел поклонник,— вторило ему чистое глубокое контральто,— дел поклонник добрых я...

Фраза эта варьировалась, мелодия усложнялась — все было всерьез, и так эти «поклонники» заразительно весело пели, что если у вас был хоть какой-то музыкальный слух, вы не могли подавить желания поскорее включиться в это развлечение.

Вспоминается зимний вечер — конец напряженного дня в редакции накануне сдачи номера в типографию. Работы невпроворот, а из коридора доносятся беспокойные шаги и постукивание трости Хармса. Он ждал, когда я освобожусь, покашливал, просовывал в дверь руку с часами...

В этот вечер в филармонии давали «Реквием» Моцарта. Попасть на это событие — действительно чрезвычайное — было невозможно, но Соллертинский, которому предстояло открыть вечер, обещал, что устроит нас двоих на свободные места.

Примерно за час до начала, проникнув через контроль, сидим как на иголках возле стойки служебного гардероба.

Соллертинский уже здесь. Мы видим его импозантную фигуру. На крупном лице Ивана Ивановича полнейшее спокойствие и наслаждение закулисной суетой, приветствиями, улыбками и щебетом разрумянившихся дам...

— Слушай, Иван,— говорил с дрожью в голосе Хармс,— ну что же, когда нам дадут места?

— Сидите, сидите,— с ленцой сквозь зубы отвечал Соллертинский и продолжал неторопливо расхаживать, подхватив под руку какую-то знаменитость, может быть самого дирижера.

Наконец, когда раздался уже третий, угрожающе резкий звонок, Иван Иванович бросил, точно ненужную обузу, своего собеседника и подскочил к нам:

— Ну что же вы тут сидите? Скорей, скорей! — и он погнал нас галопом, затем вырвался вперед, все время восклицая: — Эти двое со мной!

Мы помчались вверх по узкой лестнице, затем сквозь артистическое фойе, где толпились черные фраки оркестрантов и, наконец, оказались возле портьеры, отделявшей нас от зрительного зала. У нас хватило еще времени, чтобы сменить ритм бега на деловитую походку

и не особенно спеша приблизиться к одному из красных диванов, где издалека были видны пустующие места...

Я посмотрел на Даниила Ивановича: куда девалась его стойкая невозмутимость — он так и сиял от удовольствия...

Помню, как ждали мы в редакции от Даниила Ивановича заказанных ему стихов.

Наконец он пришел, устроился на диване, лукаво поглядывал, набивая трубочку своим «староматросским» табаком. Это была имеющая приятный аромат смесь дешевого табака с аптечной ромашкой.

— Сел, понимаете ли, писать для вас стихи, а получилась пьеса... Хотите прочту? «Макаров и Петерсен» называется.

Мало кому известно, что Хармс был создателем особенного жанра драматических сочинений. Это не были пьесы в привычном понимании: коробка сцены, список действующих лиц... Все его пьесы предельно кратки. У автора они объединялись вместе с маленькими рассказами в папке с надписью: «Случаи».

И вот еще приметная черта: читая миниатюрные пьесы Хармса, вы обязательно заметите, как связаны они с творчеством ближайших друзей Даниила Ивановича — со стихами молодого Николая Заболоцкого, сказками Евгения Шварца, горько-иронической поэзией Н. М. Олейникова...

По сути, все это явления одной школы, гармонично расположившиеся в одном ряду, в сочетании удивительном.

В пьесах Даниила Ивановича полно парадоксальных ситуаций. Иные из драматических сцен пародийны, а другие носят характер трагикомического гротеска. В них вскрывалась нелепость отмирающего мещанского мира, высмеивалось автоматическое бытие, преисполненное мелочей и предрассудков.

«Макаров и Петерсен» — одна из характерных его пьес. Совершенно невероятное событие здесь происходит. Заспорили два друга. Скептик Петерсен подшучивал над своим приятелем, насмехался над его ученостью... пока вдруг не превратился в шар. Да, да, в полированный гладкий шар.

Совершенно ясно, что автор не собирался показать, что Петерсен достиг идеального совершенства. Совсем нет, образ шара здесь — символ безликости, обтекаемости, тупого педантизма.

В итоге шуточная пьеса приобретает смысл очень житейский, нечто вроде народной притчи.

Хранится у меня среди памятных подарков рукопись Маршака с его автографом. В послевоенные годы я бывал в Москве у Самуила Яковлевича, сиживал в кресле у его стола, слушал переводы из английских поэтов. Да и читал он захватывающе в полном смысле слова.

Прослушав «Балладу о королевском бутерброде» А. Милна, я попросил разрешения переписать ее в свой блокнот. Не мог же я вернуться в Ленинград без этой новинки! Маршак сказал, что если она мне так понравилась, то вот, пожалуйста. Сел и надписал на заглавном листе несколько приятных слов. Протягивая мне эти странички, сказал грустновато:

— А правда, похоже на нашего Даниила Ивановича? — И, помолчав, прибавил: — Да, как видите, Хармс не кончился...

С чувством благодарности я вспоминаю эти слова Маршака. Конечно, Хармс не кончился. Он ведь работал на будущее.

Разрослось и разветвилось чудо-дерево веселой детской поэзии. Посмотрите, сколько наследников появилось у Хармса за эти годы! И какие все отличные мастера — изобретательные, разные: Эдуард Успенский, Нонна Слепакова, Александр Шибаев, Эмма Мошковская. Можно долго продолжать перечень поэтов, рабо-

тающих сегодня в русле прекрасных традиций Хармса. Он дал нам образцы непосредственно-легкого, брызжущего светлым юмором свободного стиха, он учил детей смеяться на все лады.

На этом я был готов закончить мои заметки о Хармсе, если бы не фотография, о которой рассказать необходимо. Это был снимок «кабинетного» формата, который извлек Хармс из бювара крокодиловой кожи. Фотография восхитила и запомнилась так, словно я видел ее на этих днях.

Прямо в объектив смотрит худенький, коротко остриженный, большелобый мальчик лет шести-семи. Он сидит на табуретке, наклонясь вперед. Рубашка с матросским воротником усеяна значками, крестами и медалями. Фон снимка — оштукатуренная стена с окном без занавесок. Нарядному костюмчику ребенка не соответствовала кухонная табуретка... На фотографиях того времени дети сидят в креслах с бомбошками, да и в руках у него не сабелька в жестяных ножнах и не золоченая труба, а простая балалайка.

И откуда бы взяться бархату портьер, стильной мебели и прочему благоустройству быта в семье вернувшегося из сахалинской ссылки народовольца Ивана Павловича Ювачева, чьим сыном был удивительный мальчик Даня, будущий писатель Хармс...

Бесстрашный мечтатель, дух которого не сломила царская каторга, наделил мальчика богатствами своей творческой натуры — вдохнул в него поэтический дар, научил летать в просторах фантазии. Хочется верить, что эта фотография отразила момент вот такой увлекательной игры, когда сочетается все самое разное, противоположное. Ведь даже в одиночку можно затеять захватывающую игру, где будут и тайны, и чудеса, и погони...

Придумать новую игру можно с помощью карандаша. Стоит только присесть к столу и написать первую строч-

ку. Ну, скажем, так: «Из дома вышел человек с дубинкой и мешком и в дальний путь, и в дальний путь отправился пешком...»

Взять и сыграть в эту бесконечно продолжающуюся сказку, где черные леса сменяются солнечными долинами, раскаты грозы — птичьими голосами, где все полно восторгов, падений, взлетов, бурь, волшебных превращений...

И уже не выходить из этой игры до конца своих дней...

После войны я вернулся к себе домой на Садовую. Крыша дома была разрушена снарядом, погибли мои книги, папки с рисунками, письма друзей.

От целого вороха посланий Хармса — коротких стихов, смешных перифраз, экспромтов — сохранилась одна записочка. Он оставил ее когда-то в «Чиже», не застав меня на месте: «Борис Федорович, дорогой, что же Вы спрятались? Я искал Вас и под диваном, и в шкафу, но нигде не нашел. Очень жаль. Д. Х.». Всего лишь крохотный листочек бумаги, умещающийся на ладони...

ПОЭТ АЛЕКСАНДР ВВЕДЕНСКИЙ

Я познакомился с Александром Ивановичем Введенским летом 1936 года. Было это на новоселье у Генриха Левина — художника-редактора журналов «Чиж» и «Еж». В раскрытые окна глядело закатное небо, гремел патефон, беззаботно веселились гости.

Откуда-то из чулана подавалось к столу холодное пиво.

— Экспортное! — восклицал Генрих, поглаживая «шкиперскую» бородку, а два остроумнейших тамады — Николай Макарович Олейников и нарочито важный Введенский состязались, провозглашая тосты в честь виновника торжества:

...Да здравствует отныне
Яйцо куриное с желтком посередине...
Последний тост за Генриха, за неугасший пыл,
За все за то, что он любил!..

Задолго до этой пирушки я встречал А. И. Введенского. Мне даже посчастливилось когда-то попасть на вечер «обереутов».

Шел 1929 год. Я был еще подростком. Мой старший друг и просветитель Вася Ульянов повел меня в Дом печати. Одет я был неподходяще — брюки с оттопыренными коленками, серая рубашка... Однако стремление увидеть настоящих поэтов пересилило все.

Пройдя анфиладу раззолоченных гостиных, мы очутились в зале, где собралось человек полтораста слушателей рабфаковского возраста. Нельзя сказать, что здесь

царила тишина. В задних рядах кто-то посмеивался, аплодисменты сопровождались свистом.

В полумраке сцены высился платяной шкаф, возле которого прохаживался человек в плаще и цилиндре, с трубкой в зубах — Даниил Хармс. Он читал стихи, разделяя строфы паузами, пускал в зал кольца трубочного дыма. Из-за кулисы выглядывал пожарный в медной каске, вызывая оживление и аплодисменты. В кратких перерывах публика шумела.

Стихи звучали необычно остро. Содержание их несколько пугало, но странные слова были плотно сжаты в кулак, и впечатление создавалось достаточно яркое.

Хотелось слушать, что будет дальше.

Литературный вечер вел миниатюрный Вольф Эрлих, поэт, не принадлежавший к обереутам, и было заметно, что, представляя публике выступающих, сам он остается на нейтральных позициях.

Когда Хармс кончил читать, дверцы шкафа раскрылись и оттуда появился замотанный шарфом Александр Иванович Введенский, со свитком в руке. Развернув свой папирус, он принялся за чтение. Тем временем Хармс оказался на шкафу и продолжал пускать в воздух дымовые вавилоны.

У Введенского был рокочущий голос. Читал он очень торжественно, на одной ноте. Его чтение увлекало не то чтобы значительностью содержания, а скорее невероятным сплавом лирического и заумного. Прекрасные женщины летали по воздуху, свистели зеленые бобы, а певчие птицы преображались в чоботы...

С высоты шкафа монотонно звучали окончания строк, повторяемые Хармсом...

Вечер обереутов привел меня в возбуждение. Назавтра я пытался показать и рассказать услышанное своим близким, но натыкался на хмыканье и насмешки.

И в самом деле — каких только поэтов и художников не перевидали те, кто был старше меня. Футуристы —

ниспровергатели богов, имажинисты с раскрашенными физиономиями, «ослиные хвосты»... А тут еще какие-то озорники-обереуты.

Между тем ОБЕРЕУ (Объединение реального искусства) было интересным явлением. Основателями этой литературной группы были богато одаренные, совсем тогда еще безвестные Н. А. Заболоцкий, Д. И. Хармс, Н. М. Олейников и А. И. Введенский.

Называя сегодня эти имена, мы отчетливо представим себе и острую эмоциональность поэзии Заболоцкого, и диковинный юмор Хармса, пленяющий лиризм Введенского, и раблезианский гротеск Олейникова...

ОБЕРЕУ, примыкавшее к левому фронту в искусстве двадцатых годов, объявляло войну литературной ржавчине, мещанской сентиментальщине, высокопарности, затертости слов и понятий.

Порвавшие со всем отжившим, обереуты создавали удивительные экспериментальные стихи, поэмы, пьесы... В их произведениях громоздятся один на другой поражающие воображение образы, то реально ощутимые, то загадочно остраненные.

И надо же было найтись тут, как раз в нужное время, такому человеку — знатоку людей, открывателю талантов — С. Я. Маршаку! Ведь это он разгадал возможности Введенского, Олейникова, Хармса.

Наставник? Нет, он стал для них вроде старшего брата, умудренного жизнью. Поддержал, указал дальнейший путь, привлек к детской книге.

Воображаю радость, тронувшую сердце Маршака, когда прочитал он впервые вот эти стихи, полные свежести, почти детского восприятия:

По вторникам над мостовой
Воздушный шар летел пустой.
Он тихо в воздухе парил,
В нем кто-то трубочку курил.
Смотрел на площади, сады,

Летел спокойно до среды,
А в среду, лампу потушив,
Он говорил: — Ну, город жив!

Это воистину волшебное стихотворение, поражающее небывалой оригинальностью, написал юный Даниил Хармс — вчерашний обереут и насмешник.

Но разве это только детские стихи? Вслушайтесь, каким вздохом облегчения, радостью жизни, уверенностью в завтрашнем дне звучат заключительные строчки этого маленького гимна доброте и покою, словно адресованные в будущее...

Удивительно, до чего были непохожи, различны были эти два поэта, задушевные неразлучники, почти родственники. Несхожесть в привычках, во вкусах, в поведении, в одежде...

Хармс эксцентричен с головы до пят. Он сам в оригинальном своем обличье — человек-спектакль.

Введенский же ничем не выделялся, хотел быть, как все. Один и тот же серый костюм, кепка с пуговкой, ленивая походочка — никаких тростей, крахмальных воротничков. Единственная любимая вещица — серебряный мундштук с кавказской чернью.

Привязанности: Хармс всем существом любил хорошую музыку, не мог жить без нее. Введенский уходил в начале концерта. Он вообще не давал увлечь себя в Филармонию, Академическую капеллу, даже на выступления всемирно известных музыкантов — скрипача Яши Хейфица или дирижера Эрнста Ансермэ.

— Нет, нет, увольте,— говорил он,— я там сразу же усну, как муха — кверху лапками (хотя обладал хорошим слухом и, подыгрывая на гитаре, напевал хрипловатым баритоном: «Я простая девка на баштане...»)

Хармс не понимал смысла карточной и другой азартной игры. Он просто терпеть не мог картежников.

Введенский был по-гусарски азартен — вот я уже другой раз повторяю словечко, подходящее к облику

Александра Ивановича, не зря. Действительно, было что-то гусарское в его цыганистых глазах, да и в пристрастии к рискованным спорам «на пари».

Деньги не задерживались в его руках, они просто испарялись из его потертого бумажника.

Впрочем, как раз в этом они с Хармсом были похожи.

Что же касается общих вкусов в литературе, в искусстве, то здесь очень определенные оценки и мнения всегда у них совпадали точно, в чем я убеждался с некоторым даже удивлением.

Приезжая из Харькова в Ленинград, иногда вместе с белокурой женой и малым сынишкой, он поселялся в Европейской гостинице. Потом, через неделю, съезжал на Невский в «Гермес», где цены были скромнее, а затем, когда с деньгами было совсем плохо, жил у знакомых, преимущественно у Леонида Липавского, бывшего обереута.

Был случай, когда с крупного гонорара Александр Иванович позвал Хармса и меня обедать в ресторан на крышу Европейской гостиницы. Шутил с официантом, разыгрывая гурмана, вроде Стивы Облонского.

Приступили к обеду.

— Дайте хороший коньяк. Нет, сегодня непременно коньяк! Дайте армянский, самый лучший. Нет, не то, дайте подороже!

В это время кто-то, проходя между столиков, узнал Даниила Ивановича, остановился, стал задавать вопросы...

Между тем Введенский исчез. Ну, должно быть, вышел в туалет руки сполоснуть.

Сидим, закусываем вдвоем. Несут котлеты по-киевски, шампанское в ведерке... Нет и нет Александра Ивановича. Волнуемся, конечно, и Хармс и я, ведь денег-то у нас нет.

Мороженое пылающее несут сразу два официанта, шампанское открывают. На всякий случай проверяю в

боковом кармане наличие паспорта, в крайнем случае объясним, что товарищ наш пропал неизвестно куда...

И вдруг в проеме двери медленно появляется его четкий профиль, заметная издалека фигура.

— Ну что вы тут закисли? Я всего две партии на бильярде сгонял. Налейте-ка шампанского, я честно его заслужил, вот, глядите! — Он вытащил из кармана смятую пачку тридцаток...

— Вы представьте кого обыграл-то — самого Крючка!

Крючок, а может быть, Жучок, уж не помню,— так звали известного бильярдиста, личность довольно темную...

И вот какая противоречивость между тем Введенским, каким он был на людях: заядлым горожанином, обитателем прокуренных редакций, завсегдатаем шумных сборищ и... трогательным лирическим поэтом, богато наделенным чувством природы... Великолепный пейзажист Н. А. Тырса, неоднократно иллюстрировавший стихи Введенского, высоко ценил его поэтический дар и говорил, что Александр Иванович заставляет видеть то, о чем пишет.

Поэзия Введенского всегда душевно-обаятельна, в ней блещут неувядаемые краски. Его стихи способны заставить взрослого читателя улыбнуться в минуты усталости или недуга. Они могут вернуть милую сердцу страну раннего детства.

...К медведю в берлогу хотели б мы влезть
И рядом с медведем хотели б мы сесть.
Валежник бы громко под мишкой трещал,
Нас дивным бы медом медведь угощал...

Дальше говорится, как медведь рассказывает ребятам свои дремучие сны...

Пусть жарко в берлоге и тесно,
Но слушать его интересно.

Ручаюсь, что, прочитав это, вы не смогли бы удержаться от улыбки, как бы подслушав интонацию детского восклицания: «Но слушать его (глубокий вздох) интересно!..»

Поневоле веришь всерьез в эту гостеприимную берлогу, из которой так и пышет теплом и уютом...

Часто я вспоминаю, с какой суровой взыскательностью относился Александр Иванович к тем молодым поэтам, кого он «выводил в люди»,— к Юрию Владимирову, Гале Калининой... С легкой руки Введенского начала успешно работать в тридцатых годах сперва в «Чиже», а впоследствии выросла в отличного писателя молодая Сусанна Георгиевская (задорный ее облик известен по слегка ироничному портрету В. В. Лебедева). Мне случалось быть свидетелем того, как был требователен к ней Александр Иванович, как был он неумолим:

— Вы, я вижу, порядочная лентяйка! Работайте без устали, не давайте себе пощады, сократите рукопись вдвое...

Доходило до слез — куда ж там сокращать, когда рукопись состояла из четырех листочков, но... разве можно усомниться, не поверить вкусу требовательного учителя?

Во многих произведениях Введенского живут звери и животные преимущественно домашние: собаки, поросята, котята, индюки. Он любил возиться с животными, считал себя знатоком семейства кошачьих, хвастался, что выкормил из соски хищника — камышового кота. Показывал даже туманную фотографию. Правда, потом кто-то хохотал, узнав на этом снимке любимого кота Евгения Шварца. Бывало, сидя на редакционном диване, Александр Иванович пускался в рассуждения о кошачьем разуме, высказывал собственные наблюдения.

— Попробуйте-ка сосчитайте,— говорил он,— сколько сложено о кошках и котах сказок, песенок, басен. Вот, смотрите: «Кот в сапогах», «Кот-скорняк», «Кот и повар»... А «Усатый-полосатый» — это кто, по-вашему?

И ведь не случайно говорят: кошачья душа — потемки. А почему? Вы загляните кошке в глаза (тут он брал за жирный загривок детгизовского кота Рыжика), сколько тут мудрости и, главное, независимости...

— Александр Иванович, там ведь, в пословице, не кошачья душа, а чужая.

— Нет уж, извините, я знаю, что именно кошачья. Так было еще при дворе фараона Псамметиха...

Пословица «Кошачья душа — потемки» надолго вошла в нашу обиходную речь.

Мой друг, художник Э. А. Будогоский, рассказал мне, как однажды летом повстречал Введенского, который переходил Невский возле Гостиного двора. Он пробирался сквозь перезвон трамваев и гуденье автомашин, таща на веревке колченогую козу.

— Куда вы ее ведете? — спросил Эдуард, и первое, что пришло ему в голову: Введенский выиграл у кого-то козу в карты.

— Подержите веревочку, пока я закурю. Видите ли, в трамвай с козой не пускают, в такси она не лезет, вот и веду ее прямо в Лесной. Дай, думаю, подарю дочке одного приятеля...

Трудно вообразить, какой долгий путь предстояло пройти Александру Ивановичу в отдаленную местность. Оказалось, что карты здесь ни при чем и козу Введенский выкупил, встретив на Черной речке толпу цыганок, которые тащили животное на продажу не то мяснику, не то живодеру...

Назойливым спутником Александра Ивановича было вечное безденежье. Долги он заносил в блокнот и, получив гонорар, начинал вычеркивать кредиторов.

— Материализм заедает,— говорил он, прикидывая, на какой срок можно растянуть оставшуюся сумму. А она была невелика, надо было приниматься за новые дела.

Иногда выручала случайность. Вдруг понадобились детскому журналу стихи на одну страницу. Хорошо бы

повеселее, с изюминкой... Вот они перед вами, эти очаровательные стихи-загадка. Введенский доставил их в редакцию в кратчайший срок.

Этот маленький ребенок
Спит без простынь и пеленок,
Под коричневые ушки
Не кладут ему подушки,
На его четыре ножки
Никогда, нигде, никто
Ни галоши, ни сапожки
Не наденет ни за что.
Не дадут ему фуражки,
Не спекут ему блинов,
Не сошьют ему рубашки,
Не сошьют ему штанов...
Он сказать не может: — Мама,
Есть хочу, — а потому
Целый день кричит упрямо:
— М-м-м-у-у-у!

Хочу обратить внимание читателя на то, как забавно звучит здесь множество отрицаний «не» и «ни». Блестящая работа!

— Хотите, сделаем вместе одну вещицу,— сказал он мне как-то весной.— Заработаем денежку без особой затраты пороха.

Я сказал, что готов хоть сейчас взяться за дело. Вскоре Александр Иванович сообщил скороговоркой по телефону:

— Будем делать диафильм, полсотни кадров минимум! Завтра же заключим договор, встречаемся ровно в пять в Доме медицинского работника!

Я удивился: при чем тут медицина, но вспомнил, что в семье Введенских лучшими друзьями всегда были врачи, ведь мать Александра Ивановича была человеком заслуженным, имела звание доктора медицинских наук...

В назначенный час я вошел в вестибюль зеленого особнячка и огляделся. Старинные люстры заливали све-

том экспонаты обширной выставки. Здесь была выполненная в объемной форме печень алкоголика ужасающей величины, затем довольно крупных размеров язва желудка, также натурального вида; была тут и палочка Коха, увеличенная тысячекратно, и всевозможные стрептококки и спирохеты в огромном количестве.

В центре экспозиции высилась алебастровая статуя покровителя искусств Аполлона Бельведерского, как бы предостерегающая зрителя плавным движением руки от этих напастей.

Вскоре появился Александр Иванович и повлек меня наверх, где нас ожидало ответственное лицо. Это был скучный старичок, который, перед тем как подписать договор, жужжал долго о том, что диафильм, который мы обязуемся представить, предназначен не только обучать молодежь правилам санитарии и гигиены, но и кое-чему еще.

— Вот послушайте...— Он вынул из папки испещренный каракулями листок...

Я ужаснулся: оказалось, нам придется отразить в наглядном виде борьбу с такими неприятностями, как дизентерия, трахома, дифтерит... Стало понятно, кто организовал выставку внизу в вестибюле.

Введенский слушал указания, деловито кивая головой и что-то записывая. На этом и закончилась наша встреча.

Выйдя на улицу Ракова, мы сникли. Но Александр Иванович, вдруг просветлев, сказал:

— Волчанка — трахома — гастрит — дифтерит... А ну его! Все равно будем делать по-своему! — Он разорвал конспект старика на мелкие кусочки и швырнул их на ветер.

Петушков и Гребешков. Так мы назвали историю про двух приятелей. Петушков был атлет, гигиенист. Дру-

гой — недотепа, грязнуля, зимой и летом в шапке-ушанке.

В первых кадрах были даны портреты героев, затем шло повествование об их привычках и правилах поведения. Крепко доставалось от нас беспросветно темному Гребешкову: «Мигом вскакивал с постели утром бодрый Петушков; мог в постели две недели проваляться Гребешков...»

Крепкий, закаленный Петушков делал гимнастику, принимал душ, а его незадачливый друг

...В теплом ватном пиджаке
Гребешков подходит к крану,
Словно к бешеной реке.
Смочит щеки еле-еле
И опять спешит к постели...

Чего мы только не напридумывали. В какие только передряги не попадали неразлучные друзья. Вредный Гребешков, не соблюдая гигиены, заболевал сам и заражал Петушкова гриппом. Но вот суровая зима миновала...

Дует теплый ветер с юга,
Солнце по небу плывет,
И весною оба друга
Отправляются в поход.

И в походе следует беда за бедой. Гребешков теряется в ночном мраке, затем отравляется немытыми фруктами, проваливается в пропасть... Петушков, крепкий, тренированный, выручает товарища.

Хармс, проведавший о нашей работе, стал подкидывать по почте пародийные сюжеты. Он посылал Гребешкова то на пивной завод и топил его в чане, то отправлял друзей в тропики к людоедам...

Наконец, стихотворная часть была готова. Стихи были похожи на частушки, они отлично запоминались. С картинками я возился, запаздывал и работал ночами.

Введенский одолевал по телефону:

— Умоляю, спешите, иначе не оплатят, пока не увидят всё вместе.

И вот настал срок сдачи. Все выглядело неплохо, смущало лишь то, что не удалось отразить дифтерит и трахому...

В кабинете на месте старичка нас ожидала монументальная дама в пенсне. У нее был неприступно строгий вид. Она сказала, что готова просмотреть, как он там называется... диафильм.

Номер у нас был отработан. Мы устроились напротив дамы, я стал показывать кадр за кадром картинки (они были наклеены на листы картона крупной величины), а Введенский с выражением и жестикуляцией, как с эстрады, читал куплет за куплетом, сопровождая синхронно каждый рисунок...

И когда в конце концов мы заметили, что дама, сняв пенсне, улыбается, поняли, что наш упорный труд не был напрасен.

Дня через два-три мы получили приличный аванс, и было это (я отчетливо помню) в начале июня. Помню, как мы гуляли белой ночью в полупустых аллеях парка на Островах. Любовались, как одна заря сменяет другую...

Начиналось слишком жаркое лето 1941 года.

ПОКЛОН УЧИТЕЛЮ

Все это было, кажется, недавно, словно вчера. Двери моей редакционной комнаты открылись, на пороге стоял желанный гость — Алексей Федорович Пахомов. В руках у него была солидная книга, обернутая в коричневую бумагу.

Усевшись поудобнее и откинув переплет заманчивого фолианта, Алексей Федорович написал на заглавном листе: «Первый экземпляр — дорогому Борису Федоровичу — первому, кто заставил меня взяться за перо. 20.II.72 г.»

И поставил крупно свою подпись.

Книга называлась: «А. Ф. Пахомов. Про свою работу».

Когда я сейчас не без гордости показываю друзьям подарок замечательного художника, то бахвальства с моей стороны тут нет. Ведь вся моя заслуга в том, что я с давних пор любил беседовать с Алексеем Федоровичем, любил расспрашивать и слушать его рассказы о детстве на Вологодчине, о начальной поре его рисования, о первых учителях — Савинове, Добужинском...

Память у Алексея Федоровича была богатейшей копилкой. Память на лица, на события, приметы обстановки... Перечитываешь его книгу — и вслушиваешься в точную обстоятельную речь с характерными паузами для обдумывания, как бы поточнее завершить ход мысли.

Однажды (дело было вечером, зимой) сидел я в парголовском домике у Пахомовых, и как-то к случаю по-

просил Алексея Федоровича рассказать о жизни незаслуженно забытого художника Петра Ивановича Соколова. И снова мне удалось услышать одно из интереснейших воспоминаний. Перед глазами у меня предстала старинная петербургская квартира с лепными потолками на улице Пестеля, где обитали молодые художники Пахомов и Соколов... И даже сам Петр Иванович, мечтательный и мешковатый (которого я никогда не видывал), появился перед моим внутренним взором.

Я и прежде много раз советовал Алексею Федоровичу записывать все, что он рассказывает, а тут уж стал с превеликим жаром уговаривать его приниматься за работу — писать книгу о своей жизни в искусстве. Пусть она пополняется хотя бы в день по страничке.

И при каждом удобном случае напоминал ему об этом его долге, все пилил его, пока не услышал однажды в телефонной трубке, что «воз тронулся».

Теперь, когда эта книга лежит передо мной, приятно сознавать, что была и моя доля в усилии двинуть тяжелый воз в путь-дорогу...

Трудно сказать, когда мы познакомились. Сам Алексей Федорович полагал, что впервые мы встретились в 1930 году во Дворце культуры им. Первой пятилетки.

Помню, как отправился я в недостроенный еще тогда Дворец, пугавший неуклюжестью архитектурных форм. Я вошел и стал подниматься по захламленной лестнице, пролезая сквозь нагромождения столов, бочек, пюпитров...

Алексей Федорович завтракал, сидя на табурете в голубом выцветшем комбинезоне. У него было узкое аскетическое лицо подвижника, подстриженные волосы торчали, как стерня, косым ежиком, усиливая странное впечатление.

На другом табурете перед художником на расстеленном платочке были расположены бутылка кефира, граненый стакан, половинка батона и два-три сваренных

вкрутую яйца — скудный натюрморт в духе раннего Петрова-Водкина.

За спиной Алексея Федоровича тянулась высокая стена серого цвета, и на ней простиралась необозримая фреска с поющими, приплясывающими, устремленными вперед, причудливо одетыми фигурами ребят всех стран и народов. На полу были разбросаны скрюченные листы картона с фрагментами хоровода. Фреска не была завершена, лишь отдельные плоскости были заполнены переливами сдержанных красных, синих, лиловатых тонов, и вблизи фреска оказалась не такой уж крупномасштабной, хотя первым было именно впечатление монументальности. Сам Алексей Федорович не был доволен работой и подробно объяснял, почему дело плохо подвигается. Он влезал на стремянку и что-то поправлял кисточкой, привязанной к палке, сетовал на качество клеевых красок, на невозможность добиться цветового соответствия с замыслом...

Теперь-то я припоминаю, как немного позднее, год или два спустя, разглядывал в его комнате несколько дивных копий античных фресок, писанных самим Алексеем Федоровичем.

Там был грот Полифема с фигурками купальщиков, весь светящийся — сизо-голубой, и зеленоватый, и розовый — словом, красоты необычайной... Не знаю, где теперь эти чудесные работы.

А вот еще одна из давних встреч, запечатлевшаяся с удивительной отчетливостью. Стояла осень 1931 года. Москва была слякотная, булыжная. Настойчивые звонки трамваев, щебет воробьев на опустевших бульварах...

Помню невдалеке от «Метрополя» пустынные палаты общежития, ряды коек, заправленных серыми солдатскими одеялами. Здесь поселили делегацию ленинградских художников, приехавших на пленум Федерации художников РСФСР. От нашего ИЗОРАМа прибыли Леонид Ипполитович Каратеев, Володя Мейер и я. Соседя-

ми по общежитию оказались представители общества «Круг» Давид Загоскин, Вячеслав Пакулин и Алексей Федорович Пахомов. Важно заметить, что для нас — авангардистов, работавших на чистом энтузиазме (так как никто из нас, кроме руководителей, высоким профессионализмом не отличался), единственно правильным, своим, революционным по духу, был Пахомов.

Алексей Федорович ездил в совхозы и на фабрики, работал на полях, его новаторские приемы и стремление овладеть новой тематикой — все это находилось и в нашей изорамовской программе.

Вышло так, что койка Алексея Федоровича и моя находились в ближайшем соседстве.

И помню, как поздним вечером, после затянувшегося заседания, я стал рассказывать Пахомову об исключительной роли нашего молодежного движения для развития пролетарского искусства, и почему нашему направлению близки основатели французского пуризма: Леже, Озанфан, Жаннере...

Алексей Федорович, укрывшись одеялом, внимательно слушал, а я, продолжая свой монолог, с пылкостью приводил мудрые высказывания пуристов... и вдруг увидел, что он крепко спит и, должно быть, уже давно. Я смутился, повернул выключатель и долго курил и ворочался в темноте.

Пленум длился три дня, и перед отъездом в Ленинград все мы собрались обедать (или ужинать?) в Доме Герцена, в полупустом писательском ресторане. Над каждым столом светилась лампа под абажуром, освещая малое пространство. Подавали пиво в длинных бутылках, а за столом шел спор. Спорили о борьбе с натурализмом, о том, что же есть истинный реализм...

Горячился темпераментный Загоскин, а добродушно-ехидный Вячеслав Пакулин посмеивался, вставляя в разговор шпильки своих парадоксов.

Пахомов же в это время, прищуриваясь, чертил в своем блокноте. В зал между тем вошла пара: изысканно одетая девушка и, чуть позади, коренастый, черноволосый мужчина в темном костюме. Сразу было видно, что он чувствует себя здесь своим человеком. Они заняли столик рядом с нашим и сидели молча.

Алексей Федорович пристально смотрел через мое плечо, и его карандаш забегал по бумаге гораздо живее.

— Интересное, необычайное лицо,— сказал он, когда я придвинулся поближе, чтобы не заслонять объект его внимания. Спустя минуту я осторожно обернулся. Красавица сидела, упираясь подбородком в кулачки, а ее лобастый черный спутник с жадностью прислушивался к интересному диспуту художников, и лицо его действительно было прекрасно. Как сейчас, помню его горящие огнем пронизывающие глаза.

И я увидел, что Алексей Федорович рисует не красавицу, а именно его, человека загадочного вида.

— Да это же Юрий Олеша! — зашипел я от изумления, что благодаря рисунку узнал прославленного писателя, автора «Зависти», «Списка благодеяний»...

В наброске Алексея Федоровича, сделанном мимолетно, был схвачен не просто оригинальный облик Олеши, но я бы сказал — мятежный огонь души, незаурядность сложного характера...

Перелистывая вновь старые журналы, я подолгу рассматриваю рисунки Пахомова, в которых нахожу все новую прелесть. Ведь все, что публиковал Алексей Федорович, было в высшей степени художественно. Изображения живых, словно бы лично знакомых людей, впечатывались навсегда в вашу память.

Вспомним, например, иллюстрации к рассказу А. Пантелеева «Часы», скажем, тот рисунок, где голый мальчишка-беспризорник выпячивает пузо перед онемевшим от испуга врачом. Наглядевшись на эту сценку, вы запомните ее на всю жизнь...

Когда я начал работать в журнале «Чиж», то с первым замыслом обложки обратился к Алексею Федоровичу. Вспоминаю, как мы сидели в опустевшей редакции, исчеркали стопу бумаги и наконец отказались от парадных знамен и фанфар. Пусть на обложке будет такая картинка: группа ребят преподносит в подарок комсомолке парусный кораблик, разукрашенный цветными флажками. Приближался торжественный день 1938 года — двадцатилетие комсомола, и обложка журнала должна была соответствовать праздничной дате. А времени было в обрез, но я считал, что Пахомову, с его колоссальным опытом, ничего не стоит присесть за рабочий стол и с легкостью нарисовать несколько фигурок, не утруждая себя подыскиванием маленьких натурщиков.

— Совсем наоборот,— сказал он,— живая натура всегда помогает ускорить работу.

И еще добавил, что жизнь преподносит необходимые подробности, каких сам не придумаешь, даже если работаешь над несложным рисунком, а тут ведь обложка!

Итак, ему на этот раз позировали... Да нет — не то слово, разве заставишь позировать непоседливых малышей! Замечательным материалом для художника были эти ребятишки из детсада на Озерном переулке. Нашлись у них и кораблик, и даже морская фуражечка для одной из воспитательниц (замечу, что и эту славную девушку, и других работников детсада художник изобразил с замечательным сходством, так что впоследствии «чижовцы» приезжали на Озерный как долгожданные родственники).

С «Чижа» началось сотрудничество Пахомова с Сергеем Михалковым и с другими литераторами. Из них он выделял Алексея Ивановича Пантелеева, иллюстрировал его рассказы с удовольствием.

Летом 1940 года у Алексея Федоровича накопился отличный цикл крупноплановых «физкультурных» рисун-

ков. Он пришел в редакцию и стал раскладывать их на моем столе: слева на рисунке был зайчик, присевший в кустах, а на рисунке справа — девочка присела на корточки в «заячьей» позе, и руки ее на макушке с вытянутыми пальцами изображали ушки зайца.

По замыслу Пахомова книжка должна была увлечь ребят занятиями физкультурой. Готово было для нее даже название: «Мы тоже можем так!»

Редакционные сотрудники толпились вокруг стола, одобряли затею художника, кто-то предлагал дать рисунки крупно, без всяких подписей — и так, мол, детишки разберутся... Но как раз в эту минуту, словно по щучьему веленью, на пороге появился веселый московский гость — молоденький, безусый Сергей Михалков.

Ну конечно же, он сразу увлекся рисунками Пахомова и предложил написать стихи. Вот и появилась физкультурная игра под названием «Так!» сперва в «Чиже», а затем и отдельной книжкой.

С пятиэтажной высоты, из окна редакции были видны фасад Русского музея и вереница посетителей. Бывало, Алексей Федорович приглашал меня в мастерскую, которая помещалась во дворе музея.

Я сидел на низкой скамеечке, глядел, как пишет он свою праздничную картину для предстоящей выставки во Франции.

Работал он в свежей рубашке без галстука, с засученными рукавами, молча, вдумчиво, словно решал трудную шахматную задачу. Он отрывался ненадолго, боясь потерять драгоценные светлые часы, присаживался с кружкой чая рядом, советовался о какой-то мелочи.

Эта нарядная («парижская», как он ее называл) картина, полная мажорного звучания, нравилась мне безоговорочно, и как я мог советовать... И кому? Самому Пахомову!?..

Иногда я находил на столе записку, узнавая тонкий почерк: «Заходи вечерком, если не занят... А. П.»

Это означало, что у него есть что-то новое: редкостная монография, или он хочет показать что-нибудь из давно забытого. А это было интересно, приближало к его юности, вызывало любопытные воспоминания.

И конечно, на столе будет стоять ваза, наполненная краснощекими яблоками. Не помню, как назывался этот сорт, а только он очень любил, чтобы дома было много яблок.

Соседом Алексея Федоровича на Кировском проспекте был староватый, но все еще легкий Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. Он крепко пожимал руку, остро поглядывал, обжигая сверканьем пристального взгляда. Помню, приносил он свои африканские и другие заграничные фотографии, а рассказывая что-нибудь о прошлом, цитировал стихи древних поэтов...

Я смотрел на него во все глаза, как, вероятно, смотрел бы на живого Сезанна или Ван Гога.

Запомнилось, что терпеливый Алексей Федорович постоянно помогал Кузьме Сергеевичу: ходил к нему со своей портативной лесенкой, носил ему холсты и рамы... Присутствуя при этом, я чувствовал отечески ласковое отношение Кузьмы Сергеевича к своему младшему собрату.

Вскоре нашу жизнь перевернула война. Уже в июне 1941 года я отправился на фронт и долго не знал ничего о судьбах близких людей. Поздней осенью 1942 года случайно повстречал художника С. М. Мочалова и от него узнал о гибели Н. А. Тырсы, Н. Ф. Лапшина и других. Узнал я еще, что Пахомов в труднейших условиях работает над циклом станковых рисунков, посвященных обороне Ленинграда.

И наконец-то мне довелось повидать Алексея Федоровича. В жаркое утро сорок третьего года на Кировском проспекте возле дома № 19 остановилась полуторка с фургоном, из которой высыпала группка смеющих-

ся девчат. Все они были в новехоньких гимнастерках, в пилотках и в начищенных сапожках. Выскочили следом и мы, два офицера: одним был я, а другим был майор Владимир Александрович Лифшиц, до войны работавший литконсультантом в «Чиже», детский поэт, многие его стихи иллюстрировал Алексей Федорович. Конечно, девочки (это были танцовщицы нашего армейского ансамбля) могли подождать нас в машине, но узнав, к кому мы направляемся, запротестовали:

— Мы тоже хотим к Пахомову!

Побежали во двор, затем вверх по крутой лестнице, стали звонить в дверь квартиры, но... безуспешно. Тогда женский голос снизу сказал, что Пахомов дежурит на крыше. Мы поднялись по узенькой лестнице и вылезли на грохочущее под ногами железо.

Небо над нами было заволочено облачной дымкой, и в утреннем воздухе слышалось приятное гудение едва заметного в высоте нашего патрульного самолета. На крыше находились незнакомые люди. Они смотрели вниз на улицу, никто не обратил на нас внимания. Я огляделся и заметил обнаженного человека в черных трусах, который лежал ничком на синем в полоску матрасике. Он приподнял голову, и я увидел, что это и есть Алексей Федорович.

Тут я должен развеять недоумение читателя: что за артистки, да еще такие нарядные, появились тут на крыше?

Эти подростки были воспитанниками Ленинградского Дворца пионеров. Они погибли бы, вероятно, от голода в страшную зиму 41-го года, если бы не Политуправление фронта, взявшее их под свою опеку. Начищенные сапожки, сияющие золотые пуговки были не приметой щегольства — ведь они прибыли в город, чтобы дать концертное выступление перед бойцами ПВО. А мы, взрослые, воспользовались оказией и в этом же фургоне приехали из Усть-Ижоры по заданию начальства.

Потом все сидели за столом, пили не крепкий, но все-таки настоящий чай и слушали, как Пахомов рассказывал о своей работе, о том, как мастерскую разрушил снаряд, и как приходилось самому строить временную стенку. Обо всем этом он говорил обыденным тоном, с великой скромностью.

В тишине мы рассматривали его последние, не вполне еще законченные рисунки — правдивые и волнующие. Ведь у каждого из нас было и горе войны с ее страшными тяготами, и утраты близких, и у каждого в глубине души теплилась вера в грядущую Победу...

Уже тогда было ясно, какой пример поразительного бесстрашия явил этот художник, один из сплоченной блокадной семьи, истинный певец детей, поэт, которому была чужда тема войны, жестокости, насилия...

В 1947 году журналу «Костер» исполнилось десять лет. В юбилейном номере напечатана фотография, запечатлевшая Пахомова в рабочий момент над скульптурной группой. Алексей Федорович удивительно молод на этом снимке: прямая спина, густые темные волосы, одет по-студенчески — в спортивную куртку, и, думается, не моложавость, а молодость сохранил он еще на долгие годы. Знаю, как неприхотлив он был в еде, много ходил пешком, любил повеселиться, перечитывая Зощенко, Чехова, Свифта. Еще я вспоминаю, как хохотал Алексей Федорович на домашних представлениях, которые разыгрывали его изобретательные домочадцы.

Открывался занавес — и выплывали один за другим живые дружеские шаржи: Ю. Васнецов, Н. Костров, В. Курдов, И. Харкевич. Это были крупные объемные головы, очень похожие и смешные, насаженные на плечи исполнителей, они изображали всех приглашенных и даже самого хозяина.

Все прямо стонали от смеха. Я тоже смеялся до упаду, когда появлялась моя личность — желтая с толстенной дымящей папиросой во рту. Требуется пояснить, что

авторами этой вереницы скульптур были дети Алексея Федоровича и талантливая его жена Элен Феликсовна...

А как любил Алексей Федорович оставаться наедине с природой. Отправлялся на дальние прогулки — через холмы, все дальше от дома, по направлению к живописным Юккам...

В морозную стужу, укутавшись до глаз, сиживал на озере — ловил окушков. И был случай, когда, проходя по тонкому льду, он провалился, ушел под воду с головой, и всякий бы растерялся, но он не поддался чувству страха, стал выкарабкиваться... Откуда-то тут взялся физкультурного вида парнишка, подполз поближе, швырнул поясок, затем конец доски, сам чуть не ухнул в воду, но ловко подхватил Алексея Федоровича, обледенелого, тяжелого... Парнишка, убедившись в том, что «утопленник» жив-здоров, бесследно исчез.

— Вышло все так,— говорил Алексей Федорович,— как в «Рассказе о неизвестном герое» Маршака (который, как помним, всегда печатался с рисунками Пахомова), в том самом, где героя «ищут пожарные, ищет милиция...».

Среди множества подаренных мне рисунков Пахомова есть маленькая картинка, где три-четыре школьницы с портфелями переходят Прачечный мост у заснеженного Летнего сада.

И так дорога мне эта незамысловатая картинка жизни, ведь здесь каждый штрих дышит незабываемым колоритом блокадных лет, положительно все будоражит память: и целина снежного покрова, и пустынное пространство набережной с бредущими фигурками, мелочь любая, не говоря уж о предрассветном состоянии дня, которое так метко зафиксировал талант мастера.

Ценность рисунка еще и в том, что над верхним обрезом тонким карандашом начертано: «Другу Боре. А. П. 45 г.»

Свою книгу Алексей Федорович завершает размышлениями о развитии и обновлении искусства. И есть там главная мысль — в искусстве повторять себя не полагается.

И разве не заметно было тем, кто хорошо знал, наблюдал работу Пахомова, что в его творчестве в последние годы происходило новое поступательное движение, появилась свежесть, открылось второе дыхание. Это проявилось в новом художественном подходе, в иной трактовке окружающего мира. Таковы сочные акварели к стихам И. А. Бунина или живопись в сказке «Морозко» с пышным великолепием русской зимы.

Заканчивая эти строки, с болью сердечной вспоминаю последнюю встречу в саду, скамеечку в тени деревьев, посаженных Алексеем Федоровичем.

Он говорил о еще не прочитанных книгах, о замыслах, которым воплотиться было не суждено.

И часто вспоминаю я Маршака, великого друга художников, его слова, прозвучавшие когда-то на редакционном совещании в Детгизе:

— Алеша Пахомов — явление уникальное!

Время подтвердило эту справедливую оценку.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Федорович Семенов

ВРЕМЯ МОИХ ДРУЗЕЙ

Воспоминания

Редактор *Л. А. Плотникова*
Художник *М. Е. Новиков*
Художественный редактор *Б. Г. Смирнов*
Технический редактор *В. И. Демьяненко*
Корректор *Л. М. Ван-Заам*

ИБ № 2167

Сдано в набор 06.07.81. Подписано к печати 26.01.82. М-17424. Формат 70×108 1/32. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,30. Усл. кр.-отт. 13,30. Уч.-изд. л. 13,50. Тираж 65 000 экз. Заказ № 228. Цена 1 р. 10 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Семенов Б. Ф.

С30 Время моих друзей: Воспоминания.— Л.: Лениздат, 1982.— 304 с., ил.

«Время моих друзей» — первая книга известного ленинградского художника Бориса Федоровича Семенова. Она состоит из повести о жизненном и творческом пути автора, его первых учителях и наставниках, а также из очерков об интересных людях — художниках, писателях, с которыми встречался и дружил Б. Ф. Семенов.

С $\frac{4702010200-106}{М171(03)-82}$ 170—82 84.3(2)7

1 р. 10 к.